

Маверик Д.

Опрокинутые Зеркала

NORD VIND
2011

Публикуется с согласия автора (Маверик Джон).

Текст, опубликованный в настоящем издании, является интеллектуальной собственностью автора и защищается ч. 4 Гражданского Кодекса РФ, ст.ст. 138, 1259 ГК РФ, ст. 146 УК РФ и гарантируется нормами ст. 44 Конституции РФ.

Исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение) принадлежит автору.

Копирование и использование текста настоящего издания возможно только с письменного согласия автора. Любое несанкционированное использование текста в коммерческих целях и без согласия правообладателя запрещено и в случае нарушения преследуется по закону.

UBBN 160005CE0M00152-0B80C

Маверик Д.

Опрокинутые зеркала

рассказы

© 2009-2011 Д. Маверик

johnmaverick@freenet.de

NORD VIND

<http://nordvind.ucoz.net>

nordvind.mail@gmail.com

2011

Оглавление

Черная собака.....	5
Февральский подснежник.....	16
Графоман.....	41
Я и мои злые гномики.....	45
Ангел смерти.....	51
Маленький музыкант.....	66
На краю степи.....	72
Опрокинутые зеркала.....	85
Серое небо Йоника.....	105
Сказки для Алекса.....	131
Таракан разумный.....	144
Виртуальные человечки.....	150
Желтые бабочки.....	155
Девочка и степь.....	165
Я расту.....	173
Каменный цветок.....	176
Просто так.....	179
Танец осенних исчезновений.....	182
Зимняя сказочка.....	188

Черная собака

Говорят, что жизнь, как зебра - то белое, то черное, то хорошо, то плохо. Бывает и смазано, не контрастно: то светло-серое, то темно-серое, чуть получше или чуть похуже. А по короткой полосатой шерстке, точно осколки елочных игрушек по ватному снегу, раскиданы цветные искры, словно зебра пробежала сквозь радугу. Это мгновения радости, чистой, яркой, той, что даже самых угрюмых взрослых превращает в хохочущих малышей. Перед лицом счастья все мы - дети.

Я сижу один в комнате, передо мной чистый листок бумаги, светлое пятно на зеркально-лакированной поверхности стола. Всегда работаю так - в полумраке, не жалея глаз, потому что свет мешает внутреннему зрению и не дает заглянуть в тот темный колодец, который легкомысленные поэты почему-то именуют душой. В моем представлении душа - это яркая прозрачная субстанция, легкая, как облачко, способная течь и парить. Она живет в свете и состоит из невидимых фотонов любви. Может объять вселенную или сжаться до размеров звездной точки на небосклоне.

«Когда руки становятся крыльями, - пишу я, старательно выстраивая едва различимые буквы по тусклому пространству листа, - а сердце готово лететь к облакам, словно воздушный шарик - БОЙТЕСЬ ЧЕРНОЙ СОБАКИ».

Мои первые воспоминания, смутные и теплые: я, пятилетний, на коленях у сестры. Одной рукой она придерживает меня, другой - раскрытую книжку. Все сказки давно прочитаны вдоль и поперек, я знаю их наизусть, но хочется чего-то нового, и Лора сочиняет истории по картинкам.

- Вот дурень Ханс, он только что вернулся домой вместе с прекрасной принцессой... Показывает ей огород, садик, курочек... Сейчас они пойдут в избу и познакомятся с родителями Ханса, а пока стоят на крыльце и любуются... э... закатом.

- Закатом? - с любопытством переспрашиваю я.

На черно-белой иллюстрации не возможно различить ничего, даже отдаленно напоминающего закат. Зато на крыльце деревенского дома и в самом деле стоит обнявшаяся парочка, парень в длинной, подпоясанной кушаком рубаше и тонкая девушка, лица которой не рассмотреть - она приклонила голову парню на плечо. Рядом на перилах дремлет свернувшаяся клубком кошка, в левом углу картинки, возле поленицы, выклеивают что-то из низкой черной травы цыплята. На дровах восседает петух с разноцветным хвостом. Хвост я ему сам раскрасил, фломастерами, а еще гребешок - огромный, оранжево-красный. От поленицы к крыльцу тянется прорисованная легкими штрихами дорожка, а справа картинки из-за угла дома высовывается оскаленная собачья морда.

- Да. Смотрят, как садится солнце, - объясняет сестра. Я разглядываю красный гребешок петуха, и он у меня почему-то ассоциируется с этим самым закатом, на который любитесь парочка. Наверное, из-за цвета. - Посмотри, как они счастливы, - добавляет Лора.

Киваю и сам жмущусь от удовольствия. Сестра - самый близкий для меня человек после мамы, а может, и ближе. Такая же умная, ласковая и заботливая, но при этом - как и я - ребенок, хотя ей уже исполнилось четырнадцать. Скоро она станет совсем большой, говорит папа, выйдет замуж и уедет от нас, но пока мы оба - по одну сторону баррикад.

- Они очень-очень любят друг друга, принцесса и Ханс, - продолжает сочинять Лора, и ее глаза становятся большими и мечтательными, - а все зверюшки радуются вместе с ними... курочки, петушок... кошечка.

- А собака? - требую я.

- Э... собака... Да, черная собака.

- А что она делает?

Лора, слегка нахмурившись, изучает иллюстрацию, и я вижу, что лоб сестры над самой переносицей неожиданно пререзает тонкая вертикальная морщинка.

- Это нехорошая собака. Она подсматривает из-за угла, потому что хочет украсть у Ханса и принцессы их счастье.

- А почему? - удивляюсь я, озадаченный. «Украсть счастье» - это уже не из сказки. Скорее, из жизни. В тот момент, я еще не могу этого понять, но чувствую легкий диссонанс, словно что-то злое и чуждое вторгается в волшебное пространство моего детства.

- Из зависти, - отвечает сестра.

- А что такое зависть?

Лора морщит лоб.

- Ну, это когда у тебя есть что-то, а у меня, например, нет. А я тоже хочу.

- Но зачем красть? Ведь можно попросить, - возражаю я, не в силах даже представить себе нечто такое, чем мне было бы жалко поделиться с любимой сестрой.

Она улыбается и слегка ерошит мне вихры на затылке.

- Конечно.

Странная Лорина сказка надолго запала в сердце. Черная собака поселилась где-то в потайном чуланчике памяти, в самом темном его уголке, и постепенно росла, крепла, набиралась злости и сил. Ее глянцево блестящая в тусклом подвальном свете шерсть становилась шелковистее и длиннее, зубы заострялись, глаза разгорались дьявольским огнем, а с языка капала тягучая слюна. Я стал все чаще задумываться: чего ей не хватает? Что она может мне сделать? Украсть игрушки? Я ревниво сгребал в кучу плюшевых зайчиков, оленей и мишек и прятал их вглубь огромного пластмассового ящика, плотно придавливая сверху тяжелой крышкой. Нужен ли черной собаке мой мячик? Мой яркий, красно-белозеленый, резиновый мячик? Однажды, когда я, мама и сестра гуляли в городском

парке - а этот парк мы так между собой и называли: «собачьим» - я увидел серебристого пуделя, который забавлялся с мячом. Подбрасывал, пытаясь поймать раскрытой пастью, кусал, бросал на дорожку, отталкивал от себя и бежал вслед. И снова подбрасывал. Я застыл, испуганный, мгновенно поняв, что моя любимая игрушка в опасности. Хозяйка пуделя, неправильно, истолковав мой страх, придержала собаку за ошейник и ласково успокоила меня: «Иди, иди, он не кусается. Лорд любит детей».

Глупое счастье крошечного ребенка! Конечно, черную собаку не интересовал мой мячик.

Я поднимаю взгляд и мне кажется, что из темноты на меня смотрят сотни глаз: внимательных, добрых, веселых, дружелюбных, пустых, отчаянных, осуждающих. Разных. Собственно, так оно и есть - стены комнаты сплошь обклеены фотографиями, между которыми лишь кое-где виднеются узкие полоски обоев. Я как будто живу на дне сказочного грота воспоминаний или внутри калейдоскопа, в котором при каждом повороте из разноцветных стеклышек складываются все новые и новые узоры. Мои родители, совсем юные, с тонкими свечами в руках и почти одинаковыми смущенно-взволнованными взглядами. Мама в белом шелковом платье и белых перчатках до локтей, отец в строгом костюме. Нет, они не венчались в церкви, просто позировали для фотографа. Мои родители были красивой парой.

Снова они, со своим первенцем - Лорой. А вот мы уже вчетвером, сидим на скамеечке под цветущей акацией. У меня на коленях обезьянка. Я зажмуриваюсь и снова чувствую пальцами теплую шерсть, слышу голос молодого фотографа: «Улыбнулись! Внимание... Раз, два, три!».

Хорошо помню то лето. Наше последнее семейное путешествие. Море, заплыванный семечками пляж. Сестра в пестром купальнике и я - с формочками и лопаткой, делал куличики из горячего песка, смачивая его прозрачно-зеленой морской водой. В песке попадались крупные витые ракушки, косточки абрикосов и обгрызенные кукурузные початки. Мы тоже иногда покупали кукурузу, фрукты или хот-доги, но не закапывали объедки на берегу, а относили в мусорные бачки, которые ютились на краю пляжа.

Как-то - это было за день до окончания нашего «отпуска» - я направился к помойкам, чтобы выкинуть недоеденный хот-дог. Она лежала в тени бачка - черная собака - и выкусывала застрявшие между когтей комочки грязи. Я чуть не наступил на нее, а увидев, остановился, как вкопанный. Собака, впилая в меня голодным взглядом, угрюмо вильнула хвостом и потянулась к булочке. В этот момент что-то случилось, я даже не понял, что. Карамельно-прозрачное небо вдруг помутнело, а солнце подернулось едкой дымкой мошкары и заблестело медно и тускло, как упавшая на дно колодца монетка. Цвета померкли, умерли, как будто съеденные вспышкой молнии, а мир сделался плоским, точно на картинке.

Хот-дог выпал из моей руки. Я повернулся и побежал обратно, по раскаленному пляжу, и мне казалось, что ракушки и камешки превратились в полчища ос и жалят мои босые пятки.

В поезде, по дороге домой, мы с Лорой играли в карты, а отец держал маму за руку и, почти не отрываясь, смотрел в глаза. А когда приехали и разобрали вещи, вдруг заявил, что уходит к другой женщине. Да, ему жаль... но так получилось. Конечно, виноват.

Я сидел в спальне и, дрожа, вслушивался в долетавшие из кухни обрывки разговора.

- Дети? Но у нее тоже ребенок. Давно, да. Я понимаю. Нет, не оправдываюсь, какие оправдания... Но и ты пойми: она не выдержит одна, сломается. А ты, Мари, ты сильная!

Голос матери, обычно спокойный, раскололся, как тонкий ледок на поверхности лужи, и тут же взвился до вопля, до истерики.

- Убирайся! Не приходи больше никогда! Я запрещаю тебе видеть наших детей! Я...

«Мама, мама, зачем ты так? - чуть не вырвалось у меня. Наверное, то же самое почувствовала Лора, которая, как и я, съезжилась в своей комнате в уголке кровати. - Ведь мы его любим».

Мне очень хотелось оказаться рядом с сестрой, но нас разделял коридор, по которому, точно ядовитые змеи, скользили злые, полные обиды слова.

Наступили трудные времена. Конечно, денег не хватало - мама ни за что не хотела брать у отца - но главное, что исчезло что-то важное, то, что связывало нас воедино и делало семьей. «Мы должны держаться вместе», - все время твердила мать, как мантру, как заклинание. Но вместе не получалось. Каждый выстроил стены из своей боли и замкнулся в них, как в тюрьме. Мать впала в глубокую депрессию. Стала неряшливой, раздражительной, и одновременно странно-равнодушной ко всему вокруг. Ее больше не интересовали ни мои отметки в школе, ни первые влюбленности Лоры... И она все время что-нибудь читала. Без разбора, все, что попадалось под руку: газеты, рекламные проспекты, старые туристические брошюры, инструкции от электроприборов. Бесцельное чтение, которым она пыталась заглушить воспоминания, казалось, высасывало из нее все соки. День ото дня наша мама становилась все более изможденной, слабой, худой. Усыхала и пригибалась к земле, словно из ее позвоночника кто-то вытянул невидимый стержень.

Лора тоже отдалилась от меня, наверное, считала маленьким, не способным понять, что происходит. А я понимал, даже лучше, чем кто-либо другой. Я знал, кто виновен в нашей беде.

Не отец. Не его новая жена или любовница. Позже мне рассказали, что она всего на пять лет младше моего отца и на два года старше матери. «Что это было, любовь? - с грустью думал я через несколько лет, разглядывая фотографии некрасивой сорокалетней женщины с большим мясистым носом, промятым на

переносице дужкой от очков, лучистыми серыми глазами и мягкой улыбкой. - Любовь... та неведомая сила, которая прибывает людей друг к другу, как обломки разбитого о рифы корабля...»

Но тогда мы трое, как один, презирали разлучницу. Иначе, чем молодой шлюшкой, ее не называли. Подлая шлюшка, позарившаяся на чужие деньги и чужое счастье. Олицетворение черной собаки.

Не скажу, что когда-нибудь плохо относился к животным. Скорее, наоборот. Но я мечтал вырасти и перебить всех собак в городе. А еще лучше - в мире.

Я ненавидел ее больше, чем молодую шлюшку, укравшую у меня отца. Больше, чем измятые, зачитанные в лохмотья, газетные обрывки в руках у матери. Куда бы я ни шел, меня везде преследовала ее тень с понуро опущенной мордой и поджатым хвостом. Всюду я натыкался на ее голодный, униженный взгляд, паривший в воздухе, как улыбка Чеширского Кота. Черную собаку не удавалось как следует рассмотреть, она всегда пряталась - то схоронится за углом, то заползет за мусорные бачки, под скамейку в городском парке, пролезет в подвальное окошко или в канализационный люк. Смотрит оттуда. Наблюдает и ждет.

Одинокая, тощая, облезлая, не единожды битая, она ходит за нами по пятам, и завидует. Черной завистью завидует. Похищает тепло наших слов, нежность прикосновений, аккуратно слизывает с шершавого асфальта те крохотные крупички радости, которые мы дарим любимым. Нечаянно оброненный смех. Рукопожатие. Наши маленькие победы. Ее презирают баловни судьбы и клянут неудачники, а боязливые стучат по деревяшке и плюют через левое плечо. Но собаке все равно. Она привыкла к злобе и плевкам. Ей нет дела до человеческих суеверий и страхов. Черная собака - жалкое воплощение уродства - выслеживает все молодое, красивое, сильное, чтобы погубить и обокрасть.

Я вдруг заметил, какой яркой и красивой стала моя сестра. Раньше не обращал внимания, к человеку, который живет с тобой под одной крышей, привыкаешь и не видишь, как он меняется. А тут - взглянул и испугался. Бывает красота, которая словно дар этому миру, расцветивает и дополняет его гармонию. А бывает другая - назло, наперекор. Красота отчаяния.

Коралловая помада на губах, мягкие каштановые локоны коротко острижены, потравлены перекисью водорода и выкрашены в пронзительный золотой цвет, над веками - ядовито-зеленые тени. Гармония нашептывает тихо, не глазам, а сердцу. Отчаяние кричит.

Каждый вечер я допоздна не ложился спать. Стоял у окна и вглядывался с мокро блестящую асфальтовую дорожку, по которой щедро расплескался голубой свет фонаря, и в темную, похожую на утыканный шипами хребет дракона, грядущую кустов. Ждал, когда вернется Лора. Она приходила после одиннадцати, а порой и за полночь, усталая и растрепанная. Я знал, что не засну, пока сестра не пожелает мне спокойной ночи, и она проскальзывала в мою комнату, шепотом сердилась, что я еще не в кровати, потом наклонялась и целовала в лоб. От нее остро пахло

табаком, цветочными духами, иногда алкоголем, и еще чем-то, мне незнакомым, но очень неприятным. Но я все равно радовался, что Лора здесь, со мной. Без нее я чувствовал себя потерянным и одиноким, как малыш, которого завели в дремучий лес и оставили там одного.

Меня все чаще мучали страхи. Даже не так - смутные предчувствия. За резко очерченным в полумраке углом дома, в черноте кустарника, мне мерещилось зыбкое движущееся пятно. Воображение дорисовывало стоящие торчком уши, впалые бока, глаза-угольки, тлеющие в темноте красными огоньками сигарет. Я решился поговорить с сестрой.

- Лора, помнишь, ты рассказывала... про черную собаку, ну, ту, завистливую? Я видел ее вчера, в кустах... Нет, не только вчера, я каждый вечер ее вижу.

- Глупый, - засмеялась сестра и как тогда, пару лет назад, легким движением взъерошила мне волосы. - Это была сказка... всего лишь сказка. Как ты запомнил? Я ее просто так выдумала, чтобы тебя развлечь.

- Лора, - повторил я упрямо, - нет... Не смейся, пожалуйста. Она тебя выслеживает... она... может что-то очень плохое сделать.

- Дани... все будет хорошо. Не грусти. Это сейчас так, потому что мама болеет... Вот, доучусь, пойду работать, и... знаешь, как мы тогда заживем?

Сестра печально улыбнулась. А мне хотелось плакать от обиды и бессилия, от того, что вот сейчас мне не верят, а когда поверят - станет слишком поздно.

Следующей ночью Лора не вернулась домой. Я прождал ее у окна до рассвета. Первые серые лучи пробились сквозь загроможденный далекими промышленными постройками и фабричными трубами горизонт и, словно клочки тумана, развеяли мою надежду. Я повалился на кровать, захлебываясь слезами, и не заметил, как заснул. Днем позвонили из полиции, и пригласили маму на опознание тела. Лору убили. Какой-то подонок заколол ножом, спяну, просто так.

Но я-то знал, что не просто так.

Не буду описывать, как схлопнулся для меня мир. Горе - это что-то настолько интимное, что выставлять его напоказ не просто нехорошо - неприлично. Я выживал и кое-как выжил... Одна мысль не давала мне покоя: если человек не имеет права быть счастливым, к чему он должен стремиться? Я твердо решил скакать по жизни если не на вороном, то хотя бы на гнедом коне. Никаких белых полос. Никаких искорок. Но они вспыхивали все равно - маленькие поводы для маленькой радости - сначала окутывая сердце теплом, а потом заставляя сжиматься от страха: вот сейчас меня обокрадут, ударят, накажут. Блик солнца на заиндевевом стекле, горячий кофе с булочкой по утрам, запах талого снега, разговор с симпатичной девочкой на перемене. У каждого свои разноцветные мячики под кроватью.

Я закончил школу и устроился грузчиком на мебельный склад. Неинтересная и тяжелая работа, за которую вдобавок мало платили. Женился на самой некрасивой бывшей однокласснице, Лене Коркс, даже не серой мышке, а

неприметной букашке, которую никто из мальчишек не воспринимал всерьез. Помню, как она удивилась, когда я неожиданно позвонил ей и попросил выйти за меня замуж. Вам когда-нибудь приходилось делать предложение руки и сердца по телефону?

Вероятно, несчастная испугалась и с перепугу нажала не на ту кнопку, потому что в трубке пошли короткие гудки. Через пять минут перезвонила сама и сказала: «Даниэль, это плохая шутка».

«Да какая там шутка, я серьезно. Не могу тебе объяснить, может быть, потом поймешь». Она помолчала... потом не то всхлипнула, не то хрюкнула и прошептала, еле слышно, но я разобрал: «Ничего не объясняй. Я согласна».

Через месяц мы расписались в мэрии, скромно, без Мендельсона, белого платья и свадебных букетов. К невесте я не испытывал ничего, кроме тихого от- вращения. Но случилось странное. Невзрачная девушка, тихоня и грязнуля с пепельно-серыми косичками и рябым от веснушек лицом, расцвела, раскрылась, как дождавшийся своего часа бутон. А в моей душе проросло что-то нежное и тонкое, такое хрупкое, что казалось, могло сломаться не только от неумелого прикосновения, но даже от слишком пристального взгляда. Еще не любовь - ожидание любви. Я почувствовал, что готов бороться, защищать это уязвимое что-то, ставшее вдруг таким важным, что сохранить его нужно было во что бы то ни стало. Любой ценой. Хоть ценой собственной жизни.

- Я увезу тебя туда, где нет никаких собак, - говорил я, обнимая свою жену. Мы часто бродили вдвоем, держась за руки, по скользким, как замерзшие реки, улицам. - Далеко-далеко, в другой город, в другую страну, в другой мир. Ведь есть же где-то такое место... Должно быть...

- Какие собаки? - недоумевала Лена. - При чем тут собаки?

- Долгая история, - по привычке отмахивался я. - Не бери в голову, - добавлял великодушно, не желая взваливать на нее свой страх, который гнул к земле, давил на плечи, горькой слюной скапливался во рту. Мне все труднее и труднее становилось держать это в себе.

Однажды я рассказал ей все. Лена слушала, не удивляясь и не перебивая. Не так, как Лора. Я чувствовал, как глубоко проникает ей в сердце каждая моя фраза, но не понимал, хорошо это или плохо, потому что, как ни банально звучит, человек это то, во что он верит. Моя жена поверила в черную собаку, как я, много лет назад. Поверила - и растерялась.

- Какая зависть, Даниэль? - спрашивала она, пытаясь заглянуть мне в глаза. - Чему завидовать? Мы - такие же, как все, обычные люди... У нас нет ничего такого, чего нет у других. У нас, - Лену охватила дрожь, - совсем ничего нет... кроме нас самих.

Она испуганно прижалась ко мне.

Вот так и сказала, как человек, распахнувший двери своего дома со словами: «У меня нечего красть». Моя жена ошибалась. У каждого есть, что украсть. Помните детскую сказку, «отдай мне то, что дома не знаешь?»

Через три недели мы узнали, что у нас будет ребенок.

Он появился на свет в последний месяц осени, когда смертная усталость влекла к земле разноцветные листья, а небо по ночам наливалось влажным серебром. Я встречал их из больницы - Лену и новорожденного сына. Ранние ноябрьские сумерки, морозящий дождь, тусклые желтые пятна на черном асфальте и белый, ослепительно белый, словно светящийся изнутри сверток на руках у жены.

Вместе с ним родился новый и удивительный мир - мир нежности и заботы о ком-то беспомощном и маленьком, мир бескорыстной доброты друг к другу. Мы словно заново открывали сами себя... но не таких, как раньше, не эгоистичных, одиноких, замкнутых на собственных бедах и проблемах, а себя - настоящих, Мужчину и Женщину, соединившихся в высочайшем акте творчества. Теперь мы гуляли вдвоем, по запорошенному осенней грустью городу, и были счастливы, да, счастливы, пока черная тень под коляской вдруг не потекла, не отряхнулась, встав на дрожащие лапы, не ощерилась тусклыми бритвами клыков.

Я вздрогнул и отшатнулся, так резко, что чуть не потерял равновесие на склизкой от раскисшей листвы дорожке. Нет, померещилось. Никого там не было.

- Что с тобой?

- Ничего, Лен, поскользнулся...

- Осторожней... держись за меня.

Я отогнул край одеяла и взгляделся в лицо спящего сына. Красная вязаная шапочка до бровей, побелевший от холода носик, заостренный, словно выточенный из слоновой кости, щеки с желтоватым отливом. Ребенок тихо дышал во сне, но мне чудилось, что это не живой мальчик, а как бы буратинка, деревянная кукла.

Я встряхнул головой, прогоняя наваждение. Лена обняла меня сзади - ее волосы мягко шуршали о мою куртку - заглянула через плечо.

- Как он спит... милый... Как ты думаешь, Даниэль, что ему снится? Может, та сказочная страна, где он жил раньше, до того, как пришел к нам? Та, откуда мы все родом... как у Ричарда Баха, помнишь?

Не зная, что было у Ричарда Баха, я неуверенно улыбнулся, поправил одеяльце и покатил коляску дальше. Простуженное небо вконец рассопливилось. Холодный ветер отхаркивал нам в лицо белые сгустки тумана.

Ночью мне приснился сын, только не двухнедельный, а пяти или шестилетний, очень похожий на меня, маленького. Он брел в пустоте, по тонкой, прочерченной светом тропинке, уходя все дальше и дальше. Я не мог его окликнуть, потому что в том мире был нем, как дерево, и так же неподвижен. Мои ноги корнями вцепились в землю и не давали сдвинуться с места.

В то же время, сквозь сон, я слышал, как мучительно ворочается в кровати буратинка, как скрипит и стонет, судорожно пытаюсь вздохнуть. Утром мы нашли его замотавшимся в одеяльце, скрюченным и... холодным.

Все, что было дальше, помню смутно. Как Лена застыла с ужасом в глазах. Как пыталась разбудить мертвого ребенка. Как билась в истерике... Как тихо плакала... Как говорила мне, что есть такие приборы, которые ночью следят за дыханием ребенка... значит, больше такое не повторится, этого малыша не смогли уберечь, но ведь у нас будут еще дети... обязательно... Или это я говорил? Вряд ли. Вокруг сновали какие-то родственники жены, а я сидел в уголке, отчетливо сознавая, что все закончилось, и твердил про себя, как заводной попугай: «Мы - обычные люди. Мы такие же, как все. У нас нет ничего такого, чего нет у других».

«Но ведь обычным людям позволено иметь детей. Не каждого младенца похищает черная собака. Почему же мы... почему же у нас... Почему у других получается, а у нас никогда... никогда... никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети, возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее...» Я понял, что держу в руках и читаю инструкцию по эксплуатации электрочайника. Черт ее знает, откуда взялась, сам чайник уже полгода как выкинули.

Меня поразил тот же странный нервный недуг, что много лет назад - мою мать. Видно, наследственное. Мне казалось, что если читать все подряд, не важно что, глупые газетные заметки, рекламу, книги - пусть того же Ричарда Баха, или кулинарные рецепты, или застольные анекдоты - не вникая в содержание, без передышки, до рези и помутнения в глазах, то буквы сами собой начнут складываться в слова истины. Я жил в мире печатных символов и бессвязных, горячечных мыслей, лишь изредка выныривая на поверхность и замечая, как все меняется. Сына похоронили - в своем бреду я даже не заметил, как. Лена переехала к родителям... Нет, она, конечно, пыталась меня растормошить, уговаривала обратиться к врачу - наверное, я и в самом деле выглядел нездоровым - но ей самой было слишком плохо, она не могла вытягивать еще и меня. Первое время - в моменты просветления - я боялся ее звонка, потом - стал его ждать. Проходили недели, месяцы, а может, и годы - время слилось в бесконечную мутную полосу - марево боли постепенно развеивалось. Невроз отступил. Я больше не гипнотизировал взглядом молчащий телефон. Только представлял себе, как наберу знакомый номер, буду краснеть и запинаться, как тогда, в первый раз, а она уронит трубку, затем перезвонит и скажет: «Это плохая шутка, Даниэль».

Плохая, да. В одну реку не войти дважды. Я упустил момент, когда можно было что-то исправить.

Если очень долго сидеть в темноте - мрак начинает переливаться красками. Тишина разбухает и проклеивается чистыми музыкальными нотами, а из пустоты, словно цыплята из яиц, вылупляются образы. Они порхают по комнате и наполняют ее радостью и блеском. Рассаживаются по стенам, как любопытные

бабочки. Я даю всему больному и черному стечь на бумагу, а затем вытягиваю вперед руку и позволяю светоносным гостям опуститься ко мне на ладонь. Они чуть колышутся от моего дыхания и щекочут пальцы - разноцветные живые огоньки, которых не видит никто, кроме меня.

Я встаю из-за письменного стола и отдергиваю занавеску. Худенькая, словно прорисованная карандашом фигурка в сером луче фонаря благодарно виляет хвостом и жадно слизывает с асфальта радужные пятнышки - отблески моего света. Раньше я ненавидел ее.

Дней десять тому назад меня окликнула соседка по лестничной площадке, престарелая фрау, фамилию которой я никак не мог запомнить. Не то Вольфсберг-Кальтенбург, не то Вольфсбург-Кальтенберг.

- Господин Циммер, вас спрашивала девушка... высокая такая, брюнетка. Сказала, что ваша сестра.

Что? Сестра? Я остолбенел. Хотя и не верил никогда ни в зомби, ни в призраков, ни в прочую чертовщину, сразу представил себе Лору, каким-то жутким волшебством воскресшую, с бескровным лицом и комками глины в спутанных волосах.

- Назвалась Ниной Циммер. Вот, оставила телефон, просила позвонить.

Нина... незнакомое имя, славянское, как будто. Мало ли Циммеров в Германии? Но я уже понял, кто это. У меня должна быть еще сестра... или брат. Как я мог забыть?

Нина коротко и, как мне почудилось, сухо сообщила о смерти отца. Поинтересовалась, не могу ли я приехать - остались кое-какие вещи, фотографии. Ничего ценного, но, может быть, я захочу взять что-то на память?

Конечно, хочу. Память - единственное, что у меня осталось.

Нина Циммер оказалась симпатичной девушкой, моей ровестницей или чуть помладше, с глазами черными, как у отца, такими же, как у него, густыми, сдвинутыми к переносице бровями и ямочкой на левой щеке. Совсем не похожая на Лору. Рассказала, что последние пару лет отец был частично парализован и почти не выходил из комнаты.

- С ним случился инсульт... сразу после смерти матери. Он плохо ходил, левую ногу совсем не чувствовал. Вот, здесь он умирал, в этой спальне...

- Почему ты не сказала мне раньше? - спросил я растерянно. - Почему меня не пригласили на похороны?

Нина опустила глаза.

- Так получилось. Я не смогла тебя сразу найти. Отец часто вспоминал тебя и Лору... говорил, как виноват перед вами, и что, наверное, вы его никогда не простите.

- Лоры больше нет.

- Да, я уже знаю... Пойдем в его комнату. Там все вещи... - она смущенно тискала одной рукой другую, сжимала и разжимала тонкие пальцы.

Мы прошли в маленькую спальню. Аккуратную, я бы даже сказал - уютную, если бы уместно было сейчас это слово. В ней совсем не пахло ни старостью, ни болезнью, о том, что здесь умер человек, говорило только занавешенное светлой тканью зеркало на двери. Кровать, небольшой шкафчик, пара книг на тумбочке и тут же маленькая бумажная иконка, измятая, затертая в углах.

Я немного постоял, осматриваясь, не решаясь присесть на единственный в комнате стул, и с удивлением вдыхая чистый и легкий, как будто золотой воздух.

- Как здесь... светло.

- Да, - эхом откликнулась Нина. - Отец... Он все время молился за вас... очень хотел, чтобы у вас все было хорошо.

Вот оно что. Я понял, что напоминала мне комната отца. Храм. Намоленное пространство. Оно затягивало и обволакивало, обнимало мягко, но настойчиво, и в нем, как кристаллики сахара в воде, растворялись мои детские обиды.

Мы еще поговорили немного. О последних минутах отца, о Лоре. Я ушел от сестры, унося в кармане пару старых цветных фотографий, а в сердце - готовность полюбить этот мир, в котором человек может умереть с достоинством. Мир, в котором совершаются и прощаются ошибки.

Я стою у окна, рассеянно наблюдаю, как вылизывает с мокрого асфальта крошки света черная собака, и думаю о том, как она, в сущности, одинока. Жалкая, промокшая под холодным дождем, воняющая псиной и отчаянием - мелкая завистница. Она не понимает главного: из осколков чужого счастья не склеить целого - своего.

А хочешь, поднимайся ко мне, я впущу тебя в дом. У меня самого мало, но я поделюсь тем, что есть. Немножко тепла. Мисочка супа. Ты любишь суп, собака? А затем почитаю тебе свои сказки, говорят, они хорошие... только, пожалуйста, не надо у меня ничего красть... я почитаю просто так. Сам. В подарок.

Февральский подснежник

Глава 1

«Маленький Дик протянул к звездам дрожащие зеленые ладони.

- Папа, почему деревья не летают, как птицы?

Отец - высокий дуб, кряжистый и седой от лунного света - покачал головой.

- Летают, сынок, крылатые. А те, у кого есть корни, должны держаться за землю.

В его густой кроне играли в прятки любопытные цикады, а в расщелине ствола, бережно укутанный листвой, спал молодой ветер. Отец был стар и мудр, и знал, как устроен мир.

Но маленький Дик затаил дыхание и, встав на цыпочки, заглянул в полную серебряных мотыльков огромную перевернутую чашу - и мотыльки вдруг полетели ему в лицо, и он опрокинулся в небо, заплутал на Млечном Пути, распахнул ветви, как крылья, и выпустил землю из корней...»

Рики снял очки, щурясь, протер их рукавом свитера и сунул в карман, потом закрыл толстую книгу - раскладушку с тисненными иллюстрациями и одухотворенно-хрупким силуэтом юного дубка на обложке.

«И это детская сказка? - подумал он недовольно. - Какие-то намеки, вычурные метафоры, иносказания, пустая псевдофилософия... Для детей надо писать просто. Я, взрослый человек, и то ничего не понимаю.»

Рики лукавил. Метафоры сказки были ему ясны - пожалуй, даже слишком - а его сына Морица они не интересовали. Ребенок нацепил на пальцы левой руки разноцветные наперстки и сосредоточенно рассматривал их, слегка поворачивая кисть, так, что наперстки один за другим вспыхивали в лучах закатного солнца. Он мог делать это часами. С утра до ночи, вытянувшись на спине в кровати или сидя за маленьким столиком у окна, он без усталости превращал сочащийся сквозь тюлевые занавески свет в яркие цветные горошины. Иногда Рики казалось, что в этом занятии есть смысл, вот только он никак не мог догадаться, какой.

Сколько он помнил сына - тот всегда играл с чем-то блестящим. Сначала с металлическим гребнем. Потом с большим синебоким волчком - ребристым, с толстой пластмассовой ручкой и оранжевыми окошками. Волчок танцевал по комнате и плевался лимонными искрами, а Рики и Марайка облегченно вздыхали. Все в порядке, мальчик развивается нормально. Все дети забавляются с волчками, ну, а что не говорит - так младший брат Марайки в четыре года произнес первое слово. А дальше как пошло... Лиха беда начало.

Но первого слова от Морица они так и не дождались. На смену волчку пришло карманное зеркальце, которым ребенок ловил отражения тормозящих у подъезда велосипедов и машин, да только оно вскоре разбилось. Осколки Рики

забрал от греха подальше и спустил в мусоропровод. Вот тут-то Мориц и показал характер. Он орал так, что слышно было за два квартала. Даже не орал, а выл, как полицейская сирена - ни на децибел ни сбавляя громкости - и непонятно было, как в худеньком пятилетнем теле умещается столько крика. Оно как будто само обратилось в крик и судороги - от непропорционально удлиненных ступней, до масляно-черных вихров на голове.

В дверь ломились перепуганные соседи, а Рики и Марайка метались из детской в гостиную и обратно, сваливая в кучу возле зашедшегося в истерику мальчика мельхиоровые ложки, стеклянные пуговицы, серебряные подносы и бокалы, обрывки фольги, компьютерные диски, перламутровые броши, елочные шары - все это тут же с размаху летело в стену, гнулось и раздиралось на куски или билось вдребезги. Полная сверкающего хлама комната напоминала не то городскую свалку в погожий день, не то сокровищницу Али Бабы.

Вдруг Мориц успокоился. Выбрал из груды обломков семь металлических наперстков, надел на пальцы, обернулся к родителям, словно поблагодарив их коротким взглядом, и по его губам скользнуло подобие улыбки. Это казалось тем более удивительным, что прежде ребенок никогда не улыбался и не смотрел в глаза.

В тот день на виске у Марайки появилась белая прядка - легкая, как струйка дыма.

- Ладно, сынок, спи. Завтра еще почитаю, - грустно сказал Рики, встал и положил книгу на тумбочку в изголовье кровати. - А то магазин закроется. Я обещал маме купить минеральной воды.

Марайка, босая, в сером байковом халате с темными полосками на спине, похожая в нем то ли на барсука, то ли на линялую зебру, сидела на кухне и курила, стряхивая пепел в пустой спичечный коробок. Рики неуверенно потоптался в дверях. Он хотел сначала поужинать, а потом идти в магазин, но не мог сообразить который час. Взглянул на будильник: полшестого. Нереально яркий, золотой день лип к оконным стеклам, словно переводная картинка, не желая уступать место сумеркам.

Марайка подняла голову.

- Я уже поела, - сообщила равнодушно. - Сколько можно тебя ждать. Да ни к чему все это, сам знаешь. Он тебя даже не слышит.

- Нет, не знаю, - упрямо возразил Рики. - Он не реагирует, да, но это совсем не означает...

- Хорошо, только не начинай опять, - устало отмахнулась Марайка. - Сгоняй лучше за минералкой, иначе чем я его завтра буду поить? Пьет, как лошадь, сын твой.

«Мой», - подумал Рики. Взял портмоне и ключи от машины, накинул легкую куртку и вышел на заплеванную бычками лестницу. Ему сразу представилась Марайка - как она курит, перегнувшись через перила - и соседка с нижней площадки фрау Бальтес, которая первое время не давала им с женой

прохода - мол, грязь развели такую, что в дом не войдешь - а потом оставила в покое. Только перестала здороваться.

Поддавив мгновенное раздражение, он сбежал вниз и распахнул дверь подъезда. Едкий уксусный запах птичьего помета, горячего битума и цветов - крепкие, привычные ароматы - обжег ноздри. Блеск и звон, точно разбилось стекло - и не успел Рики перешагнуть порог, как что-то толкнуло его в грудь. Он потерял равновесие и упал, не назад, а слегка вбок, на усталое синим половичком крыльцо. Тихо звякнули о каменную ступеньку ключи. Боли Рики не почувствовал, но сильно закружилась голова, и, как огромные пласты почвы сдвигаются во время землетрясения, в ней что-то неуловимо переместилось.

Две серебряные капли света, так похожие на слезы, что хотелось сморгнуть их с ресниц, неподвижно висели над линией горизонта - не то звезды, не то огни далекой стройки. Такая же серебряная, из-под ног в темноту ныряла узкая асфальтовая тропинка, обрамленная черными кляксами травы. Рики поднялся, отряхивая брюки и недоуменно озираясь. Поблизости никого не было.

Он растерянно похлопал себя по карманам, поднял воротник куртки, потому что ветер неприятно охлаждал шею, и сделал пару неуверенных шагов. Асфальт мягко пружинил под его подошвами, изгибался и вспучивался, и у Рики возникло удивительное ощущение, будто ступает он не по твердой земле, а по навесному мосту.

Инстинктивно раскинув в стороны руки, точно эквилибрист, идущий по канату, он двинулся вперед по бледному асфальтовому лучу, и крадущийся по пятам мрак растворил его следы.

Над входом в аптеку горел газовый рожок. Рики поколебался с минуту, разглядывая выставленные на витрине пузатые клизмы и грелки, и тюбики с кремами, и чучело белки, застывшее над горкой золоченых бутафорских орехов, и миниатюрный ландшафт с плюшевыми холмами, железной дорогой, пенопластовым зданием вокзала, тоннелями, речкой и мостом через нее. На самом высоком холме красовалось выведенное крупными буквами слово «Lefax», а из тоннеля, как мышка из норы, выглядывал красный паровозик. Рики попытался собраться с мыслями, но мыслей не было, а были хаос и муть, похожая на жидкую снежную кашу, из которой, если потянуть за невидимые ниточки, удалось бы выудить обрывки фраз, несколько размокших фотографий, стопку пыльных газетных вырезок и, если уж очень постараться - пару риторических вопросов.

Например, что он должен купить? Рики смутно помнил или ему казалось, что помнит, как Марайка посылала его за чем-то, протягивая десятиевровую купюру и мятый полиэтиленовый пакет - где он, кстати? - и перечисляла, загибая пальцы: «Вот это возьми, вот это и вон то...» Хлеб, молоко, йогурт для Морица? Нет, ерунда. В аптеке не продают хлеб.

Градусник? Парацетамол?

Он крепко зажмурился и представил себе Морица с обметанными лихорадкой губами, горячего, будто только что вынутый из духовки пирог. Почувствовал потную ладонь в своей руке и нетерпеливо рванул дверь.

Внутри было холодно, как в склепе, и тускло мерцали расставленные на полках пузырьки. Заспанный сутулый бородач в белом фартуке, больше похожий на повара или на лаборанта, чем на аптекаря, зевая, вышел из-за прилавка.

- Вообще-то мы закрылись, - проворчал он, устало сверкнув покрасневшими белками, - полчаса назад. Но если у вас что-то срочное... Ладно, что вы хотели?

- Срочно, да, - сказал Рики. - Мне нужно жаропонижающее для сына. И что-нибудь от кашля, у мальчика бронхит.

- Сколько ребенку?

- В смысле, лет? - глупо переспросил Рики. - Шесть месяцев. Ой... - в голове у него снова что-то сместилось, - я имел в виду, полтора года.

- Так шесть или полтора?

- Три, я хотел сказать, - пробормотал окончательно сбитый с толку Рики. - Моему сынишке три года. Извините... я не очень хорошо себя чувствую.

Только теперь он понял, что его шатает от слабости, а в глазах двоится.

- Вот, - два бородатых аптекаря сняли с полки и поставили на прилавок две бутылочки с мутной жидкостью, в которой болотными огоньками плавали золотые искры.

- Спасибо, - усилием воли Рики соединил двух аптекарей в одного и, опустив руку в карман, извлек оттуда мелочь. - Посмотрите, этого хватит?

- Да, - продавец хищно сгреб монетки в подол фартука, а Рики взял бутылочку с лекарством и вышел из аптеки.

Вернее, хотел выйти. Аптечные полки закончились, начались уставленные стиральными порошками, отбеливателями, и прочей бытовой химией стеллажи, за ними - стеклянные шкафы с бижутерией, зеркала и стойки с одеждой. Рики шел по огромному безлюдному супермаркету, которому, казалось не было ни конца, ни края. От слабого, тошнотворно желтого света и запаха пыли его мутило, ноги заплетались, выписывая по скользкому паркету немыслимые кренделя. Стеллажи кренились, то ложась горизонтально, а то и переворачиваясь, и тогда Рики казалось, что он не идет и даже не стоит, а висит вниз головой между землей и небом, и отраженные от пола лучи огромных квадратных люстр сверкают ему в глаза.

Последнее, что он увидел, был вставший на дыбы черный кожаный тренажер, который, точно бык на корриде, несясь навстречу, грозил посадить незваного гостя на рога.

«Что-то здесь не в порядке с гравитацией», - подумал Рики, споткнулся и, пытаясь сохранить равновесие, схватился за полку, которая под его тяжестью хрустнула и отломилась - и Рики опрокинулся в темноту.

Глава 2

Сон длился долго, и Рики брел по нему наугад, как по трясине, проваливаясь на каждом шагу в гнилой ил и решая в уме математические задачи. Что-то вроде «из пункта А в пункт Б», только пункты А и Б не были четко определены, носили труднопроизносимые и какие-то нечеловеческие названия и вдобавок постоянно меняли координаты на карманной карте.

Мучительное своей бессмысленностью занятие.

Он проснулся от ощущения, будто кто-то ласково обнимает его за плечи, гладит по волосам, елозит горячими пальцами по шее, лбу, губам, подбородку. Кто-то мягкий и уютный, как нагретая щекой подушка. Рики приоткрыл глаза и понял, что это солнце. Мохнатый оранжевый шар, купаясь в голубизне, медленно плыл по небу и казалось, играл в прятки с верхушками тополей - то погружался в зеленую пену, то выныривал из нее, отряхивая с боков изумрудные искры. Рики последовал его примеру и стряхнул с себя остатки сна - липучие, точно семена чертополоха. Он сидел на скамейке в городском парке. Слева высилось похожее на костел здание готической архитектуры, из приоткрытой двери которого доносились тягучие звуки органа.

Рики отчетливо вспомнил вчерашний вечер: головокружение, тьму и старомодный фонарь у аптеки. «Что это со мной было?» - спросил он себя и только теперь заметил, что его пальцы по-прежнему стискивают бутылочку с болотной зеленью, в которой, точно облепленный ряской утенок, трепыхается комочек света.

«Отравление, не иначе. Не надо было вчера есть эти огурцы. Говорил Марайке, банка вздутая...»

Рики взглянул на этикетку и решительно зашвырнул бутылочку в урну, пробормотав: «Простите, из возраста Алисы я давно вышел». Вскочил со скамейки и решительно направился по аллее в сторону костела, обогнул его и очутился на центральной улице, по левой стороне которой тянулись трамвайные рельсы. Это казалось странным - насколько Рики помнил, трамвай в городе ходил в семидесятых годах прошлого века, а потом маршрут сняли, не то за нерентабельностью, не то из-за жалоб обитателей ближайших к линии домов на вибрацию и шум. Так что рельсы старые. Но главное - Рики не мог понять, в какой части города он находится. Похоже на Северный Мальштадт, тогда костел - это, должно быть, Сант-Йохан... Однако, к Сант-Йохану ведь не примыкает парк? «Парк есть в Арнуале, или на Эшберге... - рассуждал Рики, - но это у черта на рогах, вряд ли меня могло туда занести. И костел опять же... Не сходится что-то.»

«Невероятная глупость - заблудиться в двух шагах от дома», - ругал он себя, шагая по жирно лоснящемуся тротуару и высматривая припаркованное такси, автобусную остановку или телефонную кабину на худой конец. Марайка его

высмеет, это точно. А может быть, наоборот, закроется в ванной, открутит кран и будет плакать под шум льющейся воды.

Ему вдруг очень захотелось узнать, чем закончилась сказка про маленького Дика, достиг ли молодой дубок того, что желал, и что ему открылось среди звезд. Почему-то это представлялось важнее, чем успокоить Марайку, пообедать дома, отдохнуть, выспаться, пойти с утра на работу. Голода Рики не чувствовал, впрочем, как и усталости, только легкое чувство тревоги гнало его вперед, заставляло потерянно озиаться, читая смутно знакомые и незнакомые в то же время вывески контор и магазинов. Он петлял по гибким, перепутанным, как медная проволока, улочкам, возвращался по собственным следам, расспрашивал прохожих.

- Извините, как пройти на Эгон-Райнерт-штрассе?

- Это которая? А... Так это, молодой человек, совсем не здесь. Вам надо пройти вот по той улице до торгового центра, сесть на автобус. Линия пятнадцать, идет до Аэровокзала, ну, вы знаете. Но вы сойдете на три остановки раньше, потом пройдете триста метров до красного кирпичного здания... это министерство лесного хозяйства, ну, вы знаете, там еще на крылечке викинг рога-тый стоит... и свернете. Ну, спросите там.

- Спасибо.

- Хэлло, Эгон-Райнерт-штрассе, я правильно иду?

- Да вы на ней стоите.

- Разве?

- А, нет... Вон, за угол повернуть.

- Э... Вы не подскажете, до Эгон-Райнерт-штрассе далеко?

- Где-то полчаса. Если идти пешком, но если на автобусе, то десять минут.

Через полчаса у Рики возникло стойкое ощущение, что город пере-страивается каждую секунду на его глазах. Можно было пройти до конца улицы, затем вернуться - и очутиться совсем не в том месте, из которого только что ушел. Иногда ему казалось, что дома играют в прятки за его спиной. «А ну-ка, отыщи меня, я только что стоял здесь!» «А ну-ка, угадай, что изменилось!» Стоило Рики отвернуться, как арки затягивались кирпичной кладкой, брусчатка прорастала газонной травой, а газоны, наоборот, покрывались толстой скорлупой асфальта. Переулки текли, как дождевые потоки в пустыне, то и дело меняя русло, то разливаясь площадями, то сужаясь до тоненьких ручейков, и тогда Рики приходилось буквально протискиваться между серыми шероховатыми стенами. Поневоле он заглядывал в чужие окна - так низко те находились, примерно в полутора метрах от земли - и видел семьи, собравшиеся за столом, играющих детей, читающих газеты стариков и старушек, подростков за клавиатурой компьютеров.

Неясная тревога сменилась недоумением, недоумение - растерянностью, растерянность - отчаянием. Рики без сил опустился на теплый парапет, уперся локтями в колени и спрятал лицо в ладонях. «Есть в этом городе хоть один полицейский, будь он неладен? Хоть кто-нибудь, кто может помочь?»

- Полицейский тебе не поможет, - раздался мелодичный голос откуда-то снизу. Рики вздрогнул и отнял руки от лица.

Он сидел на толстой, метра три высотой бетонной стене, а под ней среди молодой зелени палисадника стояла худенькая девушка в белом летнем платье с красным пояском.

- Да, бывают здесь и такие казусы, - сказала девушка. - Прыгай, не бойся, только не на камень. Хоть и высоко, но ничего плохого не случится.

- Разве это высоко? - отозвался Рики и спрыгнул, приземлившись на горку распаханной земли. Он никогда не был особенно спортивным, но сейчас во всем теле ощущалась почти мальчишеская гибкость и легкость.

- Меня зовут Стелла, - представилась девушка, и Рики заметил, что подол ее платья порван и запачкан, а на ногах выдавшие виды кроссовки. Зато рыжие волосы полны солнечного света. - Ты один из заблудившихся. Я сразу поняла - по глазам видно. У всех заблудившихся необычные глаза - в них отражается вечность.

- Да ну? - рассмеялся Рики, потом назвал свое имя. - Фредерик.

Стелла ему нравилась и даже напоминала бывшую одноклассницу, девочку, в которую Рики когда-то давным давно был влюблен. Только повзрослевшую, вернее такую, какой она могла бы стать, повзрослев. Та девочка родила в девятом классе первенца - крошечного, недоношенного мальчика, а после школы - еще двоих. Располнела и поскучнела.

- Фредерик! - хихикнула девушка. - Моего предыдущего спутника звали Фрэнк. Похоже, да? Мы бродили вместе, и он все объяснил мне, о жизни, и об этом мире. мы целыми днями ходили и разговаривали. А потом я его потеряла.

- Мне очень жаль, - сказал Рики.

- Не о чем жалеть, - беспечно откликнулась Стелла. - Человек находится и теряется, когда приходит срок. Так говорил Фрэнк, а он не стал бы говорить зря. Он был очень старым, Фрэнк, хотя выглядел, как ты, лет на шестнадцать. На самом деле ему было восемьдесят или около того.

- Разве я выгляжу на шестнадцать лет? - удивился Рики.

Вместо ответа Стелла сунула ему под нос карманное зеркальце. Вернее, не зеркальце даже - заляпанный отпечатками пальцев осколок с отшлифованными краями. В нем Рики увидел себя - но не тридцатидвухлетнего, начинающего лысеть мужчину, а мальчика с округлым детским подбородком - еще не знавшим бритвы и покрытым тонким пушком. Даже след от очков на переносице исчез, и волосы на висках завились блестящими черными колечками. В школе его дразнили «пуделем» или - непонятно почему - «десятым негритенком».

Рики долго и недоверчиво вглядывался в свое отражение.

- Должно быть, мы умерли, - сказал он, наконец. - И сами не заметили как.

- Вовсе нет, - возразила Стелла. Разговаривая с Рики, она накручивала на палец конец пояса, а левой ногой делала странные изящные движения, как будто танцевальные «па». Слегка сгибала ее в колене и плавно отводила в сторону, прочерчивая носком кроссовки полукруг в пыли. - Смерть - это совсем другое. Так говорил Фрэнк. Но я и сама знаю. У мертвых свои пути, они не пересекаются с путями живых. А мы постоянно встречаем обычных людей. Друзей, знакомых, соседей... Правда, не надолго, их тут же относит в сторону. Ты обратил внимание, какой здесь сильный ветер, Фредерик? - спросила Стелла.

Ветер перебирал ее волосы - бережно, точно золотые струны - и шевелил красные головки тюльпанов.

- Нет, - ответил Рики. - По-моему, такой же, как и везде.

- Ну, ты еще увидишь. Ты пока не понимаешь, как здесь все устроено. Но скоро поймешь. погоди, я расскажу, как это было у меня. Я тогда от депрессии страдала и не то чтобы не хотела жить... но было очень больно. Буквально от всего. Вот, как улитке, которую вытащили из раковины, и она постоянно на что-то жесткое натыкается. Как будто - знаешь - раньше думалось, что жизнь мягкая, как плюшевая игрушка, и вдруг оказалось, что она вся полна острых углов.

- Это не депрессия, - улыбнулся Рики, - когда больно. Депрессия - это когда ничего не хочется, на дворе дождь, а за шкафами пыль идохлые тараканы. Или когда, например, уронишь яблоко, оно закатится в угол, а у тебя нет сил поднять. Не физических, а внутренних сил нет, душевных. Хотя и не такая великая работа для души - наклониться за яблоком, но ты и этого не можешь. Ходишь мимо и смотришь каждый день, как оно съеживается, чернеет, как у него проваливается бочок. Наблюдаешь за ним, но все равно не можешь заставить себя нагнуться и подобрать с пола. Вот что такое депрессия. Про яблоко - это в переносном смысле, конечно.

- Здесь у тебя не будет ни шкафов, ни тараканов.

- Будут, - упрямо мотнул головой Рики. - Куда же без них? Стелла, извини, пожалуйста, но мне пора домой. У меня там жена и сын маленький. Пока!

Он кивнул девушке и направился к дороге, боковым зрением увидев, что стена, на которой он только что сидел, выгнулась разъяренной кошкой, истончилась до дыр и превратилась в ажурные, увитые плющом ворота. Но Рики уже не было дела до ее метаморфоз, потому что из овощного магазина на другой стороне улицы вышла, толкая перед собой громоздкую сумку на колесах, сухонькая, прямая, как флагшток, старушка в темном войлочном пальто.

- Фрау Бальтес, подождите! - Рики бросился к ней через проезжую часть, чуть не угодив под паркующуюся у обочины машину и чудом вынырнув из под колес красного микроавтобуса с рекламной надписью на боку. - Здравствуйте, вы домой? - выпалил он скороговоркой, задыхаясь, и тут же сообразил, что начал

разговор неудачно. Фрау Бальтес его, наверняка, не узнает. Но отступить было некуда. - Я двоюродный брат Фредерика Циммера, вы помните, наверное?

Старушка чинно кивнула и строго посмотрела на Рики.

- У меня, между прочим, память получше, чем у некоторых молодых.

- А у меня нет, - признался Рики. - Так давно был у брата, что забыл дорогу. Заблудился, то есть. Можно, пойду за вами, вы ведь соседи с моим братом, если ничего не путаю?

- К огромному сожалению.

Одарив его презрительным взглядом, старушка повернулась и зашагала по огнедышащему тротуару, вдоль уставленных безделушками витрин. Тяжелая сумка, катясь под горку, увлекала ее вперед, точно навозный шар жука-скарабея.

- Куда ты убежал? - выдохнул кто-то у Рики над ухом. - В последний момент догнала... И как это бабке не жарко в пальто?

Рики обернулся через плечо и увидел Стеллу. Девушка запыхалась и вспотела, силилась улыбнуться, но губы дрожали, а в глазах плескался испуг. И вечность в них отражалась, но не холодная и пустая, какой ее обычно описывают в книгах, а прозрачная, яблочно-зеленая - живая вечность.

- Она и летом так кутается, старая кровь, видно, не греет. Зачем ты за мной идешь?

- Фредерик, не гони меня. Пожалуйста! Бродить одному тоскливо и бессмысленно. Мы не можем помочь сами себе, но можем попытаться помочь друг другу. Ты еще не знаешь, как это важно здесь и какая большая удача - встретить такого, как ты, и удержать его рядом. Потому что ветер...

- Лично я не собираюсь бродить, - раздраженно бросил Рики. - Я иду домой. Ведь сказал уже. Извини.

Получилось немного грубо. Гораздо более грубо, чем он хотел. Рики подумал, что когда-то, еще до женитьбы на Марайке, грезил о таком - бродяжничать вместе с красивой девушкой, и чтобы только рюкзак, гитара и крылья за плечами, и душевные разговоры у костра, и спальник один на двоих, и тишина - такая, что кажется, крикни погромче, и небосвод расколется, как зеркало, а звезды попадают вниз. Глупая романтика юности.

«Ты опоздала, Стелла-мечта, - усмехнулся он про себя. - Раньше надо было меня искушать.»

Теперь улица казалась знакомой. Пропитавшая воздух солнечная муть таяла, как сахарная вата на сковороде, а из нее, будто вешки из тумана, выныривали привычные очертания домов, деревьев, фонарных столбов и светофоров на перекрестках.

Старая булочная, в которой они с Марайкой обычно покупали хлеб. Бело-голубое здание с завитушками по карнизам в стиле рококо, на первом этаже копировальное бюро, в окнах второго - таблички с надписью «продается» и телефоном маклерской конторы. Минимаркет - уютный и близко от дома, но дорогой.

Рики едва поспевал за соседкой. «Надо же, старуха, а какая шустрая!» - недоумевал он. Стелла наступала ему на пятки.

У изгибавшейся тупым углом пятиэтажки фрау Бальтес остановилась, слегка кивнула спутникам и скрылась в подъезде.

- Зайдешь? - предложил Рики великодушно. - Позвоним от меня в полицию и тебе тоже помогут.

Стелла ухватила его за рукав.

- Не люблю винтовые лестницы, - прошептала чуть слышно. - Закручиваются воронками, выскальзывают из-под ног и проседают, как будто идешь по трапу корабля. Скользко и темно. Почему все лестницы такие темные, Фредерик?

- Лампочка перегорела, - пожал плечами Рики, раздумывая, не позвонить ли вместо полиции в больницу.

Но подниматься на ощупь и в самом деле было трудно, и он пару раз споткнулся.

На площадке пятого этажа оказалось светлее - узкие лучи солнца падали сквозь забранное пыльной металлической решеткой окно - и Рики увидел, что весь пол и дверь их с Марайкой квартиры перепачканы мелом. «Это еще откуда?» - удивился он слабо и принялся шарить по карманам, искать ключи. Не нашел и - сначала робко, а потом нетерпеливо - несколько раз надавил кнопку звонка. Ни звука. В квартире царила вязкая, густая тишина и, выплескиваясь из замочной скважины, обволакивала двух испуганно прижавшихся друг к другу людей липкой чернотой.

- Я не знаю... она, наверное, куда-то вышла, - сказал Рики и сам не узнал своего голоса.

Стелла мягко отстранила его, толкнула дверь, и та, сухо скрипнув, отворилась. С потолка посыпалась известка. Где-то в глубине пустых комнат сквозняк распахнул окно, и оно захлопало створками, затрепыхалось на резком, холодном ветру, как пришпиленная булавкой стрекоза.

Повсюду валялись обломки досок, куски линолеума, баночки с засохшей на дне краской, инструменты и просто всякий мусор. Кое-где, особенно у стен, пол был устлан обрывками газет, посреди гостиной виселась стремянка - как будто кто-то давно собрался делать ремонт, разломал все и разорил, да так и забросил. Из мебели сохранились только буфет на кухне и высокая колченогая табуретка с продавленным сидением.

Рики слегка нажал на нее ладонью, проверяя на прочность, смахнул меловую крошку и сел.

- Вот так, значит, - произнес он беспомощно.

- Да, так.

Встав на цыпочки, Стелла рылась в пыльном зеве буфета, выковыривая оттуда то пластиковый стаканчик, то коробку из-под чая. Нашла два черствых овсяных печенья и протянула одно Рики.

- На, подкрепись. Неизвестно, когда еще удастся поесть. Вообще-то, нам это не обязательно - помню я как-то бродила целый месяц и ни крошки в рот не брала. Но иногда люблю что-нибудь погрызть. По привычке. И настроение поднимает - чувствуешь, что ты еще живая.

- Но почему? Не понимаю, почему ничего не получилось? Я был уверен, что это моя квартира... И фрау Бальтес... она ведь под нами живет, соседка. Разве что, этажом ошибся? - его глаза на секунду вспыхнули надеждой и сразу потухли, как будто внутри головы перегорела лампочка. - Нет.

- Ничего и не могло получиться, - отозвалась Стелла. - Не ты первый, Фредерик. Я через такое несколько раз проходила, пока не поняла, что все бесполезно. Тоже встречала соседей, приятелей... почему-то мы здесь кого угодно встречаем, кроме самых близких и любимых людей... просила меня проводить. И ничего. Знаешь, что говорил Фрэнк? Никто не может отвести нас домой, потому что мы сами должны найти дорогу. Понимаешь?

Рики вздохнул. Попробовал надкусить печенье - твердое, зубы сломает. Разве что слюной размочить. Съесть постепенно - не торопясь утолить голод, а медленно смакуя.

Вкус у печенья был восхитительным. В нем словно слились воедино густая сладость овсяного киселя, которым Рики в детстве кормила бабушка, привкус пыльцы на языке, и острый, гвоздичный аромат цветущего поля. Удивительный букет вкусовых ощущений и запахов пропитал каждую клеточку тела, как солнце пропитывает оттаявшую ото льда и снега землю.

- Да кто такой этот Фрэнк?! Местный гуру, да? Этакий пророк с фарфоровыми зубами и пальцами веером? И ответы у него есть на все вопросы? Да я таких... знаешь, за полверсты обходил, я хочу сказать, в прежнем мире.

Стелла огладила юбку и села у его ног, прямо на грязный пол, подогнув под себя колени, как маленькая девочка. Теперь она смотрела на Рики снизу вверх.

- Ты знаешь... Может быть, странно звучит, но мы ведь по-прежнему в том же самом мире. И люди вокруг нас те же самые. Обычные люди, которые ходят на работу, смотрят по вечерам телевизор, ужинают в кругу семьи. Просто мы... как бы это объяснить... как будто сорвались с якоря, поэтому нас и мотает все время по времени-пространству. Это все равно, что сидеть на косогоре и провожать взглядом поезда. Никогда не пробовал?

- Давно, - сказал Рики. - Мы тогда отдыхали в деревне, и рядом была железная дорога. И что теперь?

- А ничего. Так и будем бродить, пока не отыщем разгадку. Если она есть. Сегодня заснем с тобой рядом в этой разоренной квартире, а завтра проснемся где-то еще. Знаешь, я только в последние годы поняла, почему Вселенная считается бесконечной. В ней бесконечно много всяких мест и одно никогда не повторяет другое.

- И долго ты так бродяжничаешь?

- Уже не помню. Не знаю. Кажется, много лет, а может быть, и столетий.

При этих словах Рики вздрогнул и недоверчиво покачал головой. Стелла засмеялась.

- Шучу. Но я, правда, не знаю. Когда живешь так, трудно следить за ходом времени. Подожди, давай я лучше расскажу тебе, как все началось. Для меня, потому что у каждого это бывает по-своему.

- Ты говорила, что у тебя началась депрессия, - напомнил Рики и, соскользнув с табуретки, опустился на пол рядом с девушкой.

Он тоже решил рассказать своей случайной спутнице все: про Марайку и про соседку фрау Бальтес, которая ругалась из-за грязи на лестничной площадке, про Морица, разбитое зеркальце и маленького Дика. И про то, как вышел в магазин, но попал в аптеку, а потом заблудился в огромном супермаркете. Стелла права - во Вселенной много странных мест. Много их и в твоём родном городе, на твоей улице, на твоём собственном - крошечном - отрезке пути.

День за окном погас, и в комнату заглянула луна - бледная и пористая, похожая на перекошенное болью лицо. Любопытная, она выпустила белый луч и осторожно ощупала фигуры двух людей, сидящих рядом на полу в заброшенной квартире. Теперь рука Стеллы покоилась на колене Рики, а его пальцы перебирали мягкую светящуюся ткань на ее груди. Они уже не говорили вслух, а шептались, как укрывшиеся с головой одним одеялом дети.

- Наверное, это была усталость, или не знаю даже, что. Пресыщение успехом, неудачами, чужим вниманием, - тихонько рассказывала Стелла. - Я так хотела работать в этой танцевальной группе, и так радовалась вначале. Свет, громкая музыка, аплодисменты... пусть даже не мне - мы ведь сопровождали спектакли, создавали красивый фон, пока актеры разыгрывали на сцене какое-то действие. Как бы создавали иллюзию жизни. Зрители аплодировали не нам, но на самом деле - нам, потому что они хоть и не знали, но чувствовали, что жизнь важнее любых действий и разговоров. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Рики кивнул.

- Но ведь это, наверное, хорошо? Если ты любишь танцы, то такая работа - как раз для тебя. Разве нет? Я бы, наверное, был доволен.

- Танец, - возразила Стелла, - это нечто интимное. Я слишком поздно поняла. Что-то такое, чему отдаются наедине с собой. Иногда его можно подарить любимому или другу. Но не толпе. Когда танцуешь перед публикой - и кто-то тобой любит, другой осуждает, третий смеется, четвертый выискивает недостатки в технике, пятый зевает, и все они растаскивают по кусочкам твою душу - как будто ступаешь по лезвиям чужих взглядов. Если делать это достаточно долго - что-то внутри надламывается.

- И тогда ты перестала танцевать, - сказал Рики.

- Я и сейчас танцую, - отозвалась Стелла, - как только услышу музыку из чьих-нибудь окон. Вечером, когда на улицах темно и пусто, и фонари еле горят - совсем не похоже на сцену. А бывает, что и без музыки: я этих мелодий уже столько слышала, что они у меня в крови. Понимаешь?

- Не знаю, не уверен. Но ты все равно говори. Я из твоих слов складываю свою собственную мозаику.

- Покажешь, какую?

- Попробую.

Несколько минут они сидели молча, слушая дыхание друг друга, да еще трель сверчка, притаившегося где-то в куче мусора. Оживленные светом луны, мерцали в полумраке баночки с краской, побелка на полу блестела и переливалась, словно только что выпавший снег, и Рики подумал, что из цветущего апреля они неожиданно угодили в зиму.

- Да, но как ты оказалась здесь? - спросил он, наконец. - Как я, вышла из дома и не смогла вернуться обратно?

- Нет. Я никуда не выходила, наоборот, пыталась войти. Да только получилось не туда. Я думала, что проблема во мне, в том, что я неправильно к чему-то там отношусь... к себе, к жизни. Читала всякие книги. Потом стала ходить в оздоровительную группу, так она называлась. У них программа была смешанная: дыхательные техники, асаны из хатха-йоги, тибетская гимнастика, медитации, беседы в кругу, при свечах. Все рассказывали, у кого что на душе лежало: о своих страхах, ожиданиях, каких-то неудачах из прошлого или обидах на кого-то, просто о том, как прошел день. Именно там я приучилась говорить о себе откровенно.

-Так ведь это хорошо, - заметил Рики. - Говорить о себе не каждый умеет. Гораздо проще рассуждать обо всем на свете.

Запрокинув голову, он смотрел на оцетинившийся иголками лунного инея потолок, и ему казалось, что сквозь толстый слой побелки, бетона и черепицы понемногу начинают проклевываться звезды. Наверное, так и происходят пространственно-временные смещения.

- Плывет, да? - Стелла словно читала его мысли. - Мне тоже так раньше казалось. Как будто все вокруг начинает становиться прозрачным. Стекланные дома со стеклянными стенами и крышами, стеклянные деревья и облака. Даже солнце точно стеклянное, а из-под него, если внимательно приглядеться - проступает чернота. Удивительно, правда? Но это иллюзия, на самом деле картинка не меняется, пока не повернешься к ней спиной. Порой достаточно просто закрыть глаза, чтобы открыть их уже под другим небом. Аллегорично, если задуматься. Стоит упустить что-то из виду, как оно исчезает, и как правило - навсегда.

- Хм...

Рики казалось, будто он сидит на пересечении двух потоков воздуха: холодный шел из приоткрытого окна, а теплый - от дрожащего под тонким платьем тела девушки, от ее беспокойной руки, которая ворочалась в его ладони, точно зверек в норке.

Не это ли тот самый ветер, о котором она говорила? «Ты обратил внимание, какой здесь сильный ветер, Фредерик?»

- И вот, во время одной медитации, - продолжала Стелла, - все сели в круг, и наш учитель... мы его так и называли - учитель или даже Учитель с большой буквы, хотя в самом начале он представился обычным психологом - объявил, что сейчас мы отправимся в путешествие внутрь себя. Собственно, любая медитация - это путешествие в себя, но то была особая, потому что забраться предстояло в святую святых - в пространство сердца.

- А есть такое? - недоверчиво спросил Рики. - Я имею в виду, не анатомически, а...

- Есть, он сказал. Именно анатомически, где-то в районе левого желудочка. Это такая потайная комнатка, которая может быть сколь угодно большой или сколь угодно маленькой, и в ней находится самое для человека дорогое. Хотя нет, про дорогое я, кажется, сама придумала. Не мог он такого сказать - он никогда нас не обманывал, наш учитель. Он честно признался, что не знает, что каждый из нас там найдет, в потайной комнатке. И вот, психолог начал считать до десяти, и мы стали погружаться, так, как он объяснил. Мысленно рассекали ткани, отодвигали в сторону кровеносные сосуды - совсем не больно, только тошнило чуть-чуть и тянуло под ребрами, как будто во время операции под местным наркозом. И перед глазами сплошная краснота.

- А ты уверена, что это безопасно? - обеспокоенно спросил Рики. - Такие вот опыты?

- Это же медитация. Всего навсего мысли, а мысль бывает острее ножа. Конечно, это опасно.

Рики почувствовал в голосе девушки улыбку и сам улыбнулся.

- Наверное, иногда стоит рискнуть, да?

- Я тогда узнала странную вещь, что мир внутри меня почти такой же, как и снаружи. Только все время пульсирует. Вот ты сейчас ощущаешь биение сердца? - спросила она тихо.

- Твоего? - прошептал Рики, прижимая ладонь к ее груди. - Да.

- Не только моего, а вообще. Как пульсируют стены, пол... привычно и естественно, словно кровоток, но если сосредоточиться, то можно заметить.

Нет, - ответил Рики серьезно. - Пока нет. Но я и ветер не сразу почувствовал. А теперь он мотает меня и треплет, как листок бумаги - такое чудное ощущение невесомости и полета, и одновременно собственной ненужности.

- И вот... не знаю, что было у других - я больше никого из той группы не встречала... но я как будто пробиралась по бордовому коридору, у которого стенки ходуном ходили, и все искала заветную комнатку. Пыталась визуализировать, что вот, я уже в ней нахожусь. Но ничего не менялось. И обратно почему-то не могла выбраться, хотя мне становилось все хуже - душно, горячо - и тошнота усиливалась, того и гляди вывернет наизнанку. В собственном сердце, представляешь?

- Что-то пошло не так? - не то спросил, не то подумал вслух Рики.

- Наверное. Ошиблась в чем-то, хотя все старалась делать правильно. Или нельзя мне было так медитировать? Кто теперь может сказать? Я шла - вернее, протискивалась, потому что коридор был очень узким - под ногами хлюпало. Мне казалось, что я иду по трясине в резиновых сапогах. И тут пол начал размягчаться, просел под моей тяжестью, тихонько ахнув, я шагнула и провалилась по колено. С трудом вытащила ногу и шагнула еще раз. И очутилась - представляешь? - возле того самого театра, в котором танцевала, или очень на него похожего - потому что здесь трудно определить, что есть что. На пустой театральной площади, в темноте и тумане. Долго не могла понять, что произошло, потом решила, что потеряла сознание во время медитации, меня откачали, но голова еще какое-то время оставалась дурная, поэтому из памяти выпал кусок. С тех пор реальность вокруг меня начала плыть...

- От шока, должно быть, - предположил Рики. - Правда, я никакого шока не пережил. Почитал ребенку и вышел в магазин купить минеральной воды. Обычный вечер.

- Нет. Я только потом поняла - у меня ведь много времени было, чтобы обо всем поразмышлять - что медитация для меня не закончилась. Я так и осталась там, внутри себя.

- Но тогда получается, - сказал Рики, - что и я тоже заблудился внутри тебя? Парадоксально, нет?

- Да, получается так. А может, просто двери всех потайных комнаток выходят на одну и ту же улицу, - голос Стеллы прозвучал сонно, а голова склонилась к Рики на плечо. Жесткие медные волосы щекотали ему подбородок.

- Спи.

Рики неловко завожился, стягивая куртку, и попытался укутать девушку. Но та вдруг встрепенулась, выпрямилась рывком, испуганно таращась в лунную темноту.

Подожди, Фредерик. Нельзя так засыпать, если не хотим потеряться. Ох, я чуть тебя непустила!

- Да я бы тебя удержал! - засмеялся Рики. - Обхватил бы крепко-крепко, так, что никакому ветру не отнять.

Он так и не успел ей ничего рассказать, ни о Марайке, ни о Морице. Но на душе отчего-то сделалось легко и спокойно, даже весело, как будто он только что исповедовался и получил отпущение грехов.

Не надейся. Во сне человек слаб, и не в силах удержать даже собственные мысли.

Стелла сняла красный пояс, один конец привязала к своей руке, а другой обмотала вокруг запястья Рики.

Они снова улеглись на жесткий пол, обнявшись и укрывшись друг другом, точно одеялом, вдыхая пыльный запах побелки, и Рики подумал, что никогда еще ему не приходилось засыпать в таком странном месте.

Глава 3

Если это и было сновидение, то оно мало чем отличалось от яви. Рики лежал с закрытыми глазами, наблюдая, как движутся под сомкнутыми веками золотые искры - точно глубоководные рыбы в черной воде. Размышлял и вспоминал. Как там сейчас Марайка? Ищет его, наверное, подняла на ноги соседей, полицию. Не найдет. Рики знал, что люди - как пружины, одни в трудной ситуации сжимаются и копят силы, другие, наоборот, растягиваются и провисают. А Марайке нельзя ломаться - Мориц без нее пропадет.

Он зажмурился сильнее, и блестящие искры превратились в цветы - неестественно четкие, точно выжженные на сетчатке, они распускались перед его внутренним взором роскошными букетами. Рики чувствовал их мускусный аромат, от которого кружилась голова и сознание то и дело замирало, точно заевшая киноплёнка. Звуки исчезали, он не слышал дыхания Стеллы, и в такие моменты казалось, что его руки сжимают пустоту.

Не порвался бы тоненький пояс.

Рики вспомнил про медитацию сердца и попытался ее проделать. Что снаружи - то и внутри, что вверху - то и внизу. А вдруг, погружаясь вглубь себя, можно вынырнуть на поверхность?

Вначале он не мог сообразить, что нужно делать: ведь разум человека - это мозг, а мозг - в голове. Как переместить его в грудную клетку? Стал перебирать в памяти все, что слышал или читал об измененных состояниях сознания, и нашел выход. Представил на расстоянии двадцати сантиметров от лица маленькую светящуюся точку, сосредоточился на ней - так, что все остальное исчезло: запахи, цветные искры, огненные букеты - а потом по капле перелил в нее свое «я».

Крохотная ослепительно-желтая мушка ловко проскользнула между ребрами, которые виделись ей скалистыми утесами, спустилась по течению реки с густо-красной водой, отряхнула крылышки - и решительно вторглась в огромный и блестящий, как спелое яблоко, шар. Захлебнулось его сочной мякотью. Не было ни багрового коридора с гибкими стенами, ни болотной жижи на полу, а только рассыпчато-приторная, всепроникающая сладость.

«Разве сердце похоже на яблоко?» - удивился Рики, и тут же оказался в тесном бревенчатом сарае, заваленном лопатами, мотыгами, ножницами-секаторами, граблями, шлангами и прочим садовым инвентарем. Пахло землей и сырыми еловыми досками. Сквозь затянутое несколькими слоями паутины окно едва пробивался солнечный свет.

Прямо у ног Рики стояла жестяная лейка, с ее ручки свисала пара толстых, перепачканных глиной перчаток, а чуть подальше - в углу - сверкала в тусклых лучах, точно невиданный драгоценный камень, горка разноцветных наперстков. Даже не пересчитывая, Рики знал, что их ровно семь.

«Неужели это и есть святая святых?» - подумал он с недоумением. «Как здесь все запущено!», - была следующая мысль, от которой почему-то стало грустно.

Рики обошел сарай, смахнул паутину со стекла - но оно оставалось мутным, и ничего за ним было не рассмотреть кроме сочащегося алым кусочка неба.

А ведь если все потайные комнатки выходят на одну и ту же улицу, - догадался он, - то жена и сын могут его услышать.

Рики сложил ладони рупором и выкрикнул:

- Марайка! Марайка, я здесь!

Звук шарахнулся от стен, раскололся и резиновыми мячиками запрыгал по сараю. Рики едва успел увернуться от них - твердые и упругие, они лупили по бревнам с жесткостью отрекошетившей пули.

- Мориц! - позвал Рики уже тише.

На этот раз крик не вернулся к нему оглушающим эхом, а мягко протек в щели бревенчатой кладки, выплеснулся наружу и исчез.

- Мориц...

- Тсс... Что случилось?

Рики очнулся от несильного толчка в бок, распахнул глаза и чуть не опрокинулся в черное, как гладь торфяного озера, ночное небо. Он и Стелла лежали, распластавшись, на слегка наклонной бетонной плите, а прямо над ними нависала стрела подъемного крана - черная на матово-сером. Слева застыл с поднятым ковшом силуэт экскаватора, а чуть дальше - до самого горизонта - тянулся высокий, в полтора человеческого роста забор, к которому примыкал похожий на шрам карьер.

Опять стены... стены и лабиринты, - пробормотал Рики, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. - Э... что? Нет, ничего не случилось, все в порядке. Так, привиделось. Где это мы?

- На стройке.

Звезды, гладкие, точно раскиданные по шелковому платку стеклянные бусины, стягивались в улицы и проспекты, загорались фонарями вдоль дорог, рассыпались пестрыми фантиками окон и неоновыми трубками световых реклам. Вжавшись спиной в холодный бетон и затаив дыхание, наблюдал Рики, как оживает нарисованный в небе город.

В какой-то момент ему почудилось, что верх и низ поменялись местами, и сам он корчится, распятый на небосклоне, а над головой, струится, мелькает и вспыхивает его с Марайкой прежняя жизнь. Молочным ручейком протянулась Эгон-Райнерт-Штрассе, а от нее мелкими мутными потоками разбежались Вальдгассе, и Ауф-дер-Верт, и маленький тупиковый переулочек без названия, в котором Рики любил по воскресеньям гулять с Морицем. Образованный глухими стенами домов, этот переулок всегда оставался безлюдным, даже по вечерам и в выходные - проходим здесь было просто нечего делать - зато в живых изгородях громко чирикали воробьи, а по нагретой солнцем брусчатке сновали тонкими веретенками зеленые ящерицы. Рики устраивал сына на раскладном парусиновом

стуле и присаживался рядом на корточки. Смотрел, как ребенок играет своими блестяшками, дремал или разговаривал - не то с ним, не то с самим собой. Хорошее было время, несмотря ни на что.

Он едва соображал, где находится, так густо вызвездилось, затуманилось и засеребрилось все вокруг. Идущая вдоль забора гравиевая дорожка превратилась в Млечный Путь, ковш экскаватора стал Большой Медведицей, а Рики со Стеллой...

- Я только что не мог догадаться, где мы, а где звезды, - сказал он и совсем по-детски пожаловался. - Хочу домой.

Только сейчас Рики заметил, что его запястье свободно. Стелла задумчиво наматывала на палец конец пояса, казавшегося в ночном свете не красным, а тускло-фиолетовым.

- Я тоже когда-то хотела. Очень. Помню, как долго мы с Фрэнком бродили по лесу, искали февральский подснежник, да так и не нашли. А теперь не знаю даже. Наверное, все мои близкие уже умерли, а может, наоборот, никто и не заметил, что меня нет. Может, та группа все еще сидит и медитирует, а мама на кухне готовит ужин. Время - такая странная штука.

- Что за подснежник?

- Вообще-то здесь неплохо, - словно не слыша его, продолжала Стелла. - Ни о чем не надо беспокоиться - ходи и смотри. А не хочешь - ляг и отдыхай, все равно мир будет крутиться вокруг тебя. Одиноко только бывает... но это когда ходишь одна. -Вдвоем - другое дело.

- Да, так, - согласился Рики. - Так что ты говоришь, вы искали?

- Февральский подснежник. Понятия не имею, что это такое, но Фрэнк говорил, что если его найти - то все станет, как было раньше. Вот мы и пытались, да только ничего не вышло, - Стелла вздохнула. - Знать бы еще, как он выглядит, а то бродишь, ищешь непонятно что.

- Наверное, это ключ, - вслух подумал Рики, - от нашего свихнувшегося безвременья. А где тот лес? Мы могли бы попробовать еще раз, вместе. Давай? Терять-то все равно нечего, а так будет хоть какая-то цель. Хоть какая-то надежда все-таки лучше, чем никакой. Только если он февральский, значит, надо дожидаться февраля?

- Не надо, - сказала Стелла. - Фрэнк говорил, что не нужно ничего дожидаться, потому что все, что есть в мире - существует сейчас. Я сначала не понимала, а потом сама убедилась, что он прав. Знаешь, как мы танцевали в лесу? Сзади нас деревья обледенели, стояли, будто облитые на морозе сахарным сиропом, и падал снег. По левую руку облетали листья, а по правую - мох выгорел от зноя до желтизны.

- А впереди?

- Зелень и цветы, много цветов - целая поляна. Ландыши, крокусы, первоцвет, медуница, дикие нарциссы. И ни одного, похожего на подснежник, - она опять вздохнула слегка и нервно провела ладонью по волосам. - Слушай, пойдём

отсюда. Скоро утро, придут рабочие, нехорошо, если нас увидят. Еще прихлопнут чем-нибудь тяжелым.

Рики кивнул и поднялся на ноги. Стоять на наклонной плите было трудно, подошвы скользили по влажному бетону.

Девушка спрыгнула на землю и обвязала поясок вокруг талии.

- Поторопись, а не то упадешь в небо, - ее звонкий смех расколол воздух, как лед, и скованная ночным мороком реальность, оттаяла и задвигалась, наполнилась стрекотом кузнечиков, воркованием голубей, да издадека доносившимися автомобильными гудками. Там, где карьер сливался с горизонтом, проснулся и распушил красивые зеленые перья рассвет.

Рики шагал рядом со Стеллой по еще немногочисленным, но постепенно оживающим улицам, под быстро светлеющим небом. Судя по неухоженным фронтам, заборчикам, сложенным из чего попало, и опутавшим балконы веревкам с бельем, район был бедным, одним из тех, в которых селились иностранцы и многодетные. В узких каменных двориках играли малыши. Перед подъездом одного из домов стояла группа подростков, которые громко переговаривались высокими гортанными голосами на непонятном Рики языке и энергично жестикулировали. На подоконниках сушились кружевные половички и лняные подушки. Пахло сытно и вкусно - вареной картошкой, хлебом и еще чем-то молочно-кислым, козьим сыром, может быть, или брынзой. Ароматы еды не пробуждали голод, но вызывали острую - на грани зависти - тоску.

- Никогда не думал, что в нашем городе есть такие трущобы, - пробормотал Рики. - Сколько идти до леса?

- Боюсь, что долго. В прошлый раз я... вернее, мы с Фрэнком, шли несколько дней. Не помню сколько. Мне даже начало казаться, что солнце совсем не задерживается на небе, встает - и сразу падает за горизонт, словно кто-то дергает его за веревочку. Полями шли, проселочными дорогами. Я учила Фрэнка танцевать, и тебя научу, если захочешь. Но сначала надо покинуть город.

- А велик ли он? - поинтересовался Рики.

Конечно, ему не раз приходилось выбираться с семьей на природу. Еще до рождения сына отправлялись за грибами или купаться на озеро - крошечное лесное озерцо с торфяным дном и темной маслянистой водой. Ошеломляюще теплой и якобы целебной, хотя Рики с Марайкой не очень в это верили. И Морица маленького вывозили в деревню, на свежие фрукты и парное молоко.

Только добирались всегда или поездом, или на машине, а чтобы пешком, через весь город - такого Рики не мог припомнить.

- Может, доедем на чем-нибудь? - он пошарил в кармане в поисках мелочи, но если там и оставались со вчерашнего дня какие-то деньги - они бесследно испарились. - Автостопом, а? Мне не на что купить билет, как и тебе, полагаю.

- Не получится, - покачала головой Стелла. - Хоть с билетом, хоть без. Все автобусы идут в одно место - в промышленный район, и все машины едут туда же. Во всяком случае, передо мной останавливались только те, кто направлялся

туда, как будто у меня на лбу написано: «Ей нужно на заводскую окраину». Там тоже своего рода лес - но совсем другой. Страшный, черный, мертвый. Лес труб, упирающихся в небо, а из них все время вытекают черные облака.

- Да уж, - отозвался Рики.

- Мне даже подумалось, что все тучи, какие есть в мире, произведены на тех заводах. Поэтому, когда в городе идет дождь, он пахнет металлом и соляркой, и на вкус горьковат. Ты не замечал, Фредерик?

На это Рики ничего не ответил - по правде сказать, ему и в голову не приходило нюхать или пить дождевую воду - и некоторое время они шли молча. Бедный квартал сменился оживленной торговой улицей, запестрел витринами дешевых магазинов и разноцветно-кричащими майками прохожих. Рики стало жарко, он скинул куртку и обвязал вокруг бедер. Продираться сквозь потную толпу было неприятно, вдобавок, их постоянно стискивали, пинали, швыряли то в одну, то в другую сторону.

- Да что такое сегодня, праздник, что ли? - Рики никогда не любил толкотню, но раньше это было частью его жизни. Теперь - нет.

- Помнишь, я про ветер говорила? - сказала Стелла. - Так вот, он бывает разный. Этот ветер - человеческий.

Торговая улица плавно перетекла в пешеходную зону с ресторанчиками и летними кафе, потом в набережную, в детский городок, потом в полутемный, провонявший мочой и плесенью туннель, который неожиданно вывел к аккуратным белым коттеджам с красными черепичными крышами, пирамидальными тополями и целыми выводками садовых гномов за ажурными оградами. Толпа рассеялась, небо потемнело, точно спелая черешня, и налилось густым малиновым соком. Должно быть, совсем новые, только что вырвавшиеся из заводских труб облака скрутились в жгуты и растопырились длинными золотыми пальцами. В окнах коттеджей затеплились первые огоньки.

- Будем идти до темноты, - предложила Стелла, - а потом поищем скамеечку для ночлега. Иногда приходится засыпать на голой земле - но я так не люблю. Холодно... хотя ощущение холода и тепла постепенно притупляется. Раньше я мерзла ночами, а сейчас могу хоть босиком по снегу. Как йог.

Она рассеянно теребила конец красного пояска. По плюшевым кронам тополей, по газонам, по чисто выбеленным стенам домов, яркими закатными красками расплескалась печаль.

- Не надо на голой земле,- возразил Рики. - Подстелим куртку, - он задумчиво подергал свисающие заячьими ушами рукава. Кинул беглый взгляд на стоптанные кроссовки Стеллы и на свои - уже порядком запыленные, в мутных разводах побелки - башмаки. «У нас есть все, что надо, не хватает только банки пива - одной на двоих - и дворяги на поводке. И будем классическими бродяжками», - добавил он про себя. Рики и не задумывался раньше, сколько таких бродяг поневоле слоняется вокруг. Они казались ему одинаковыми - неудачниками и тунеядцами, не желающими работать и не способными взять на себе ответ-

ственность даже за собственную жизнь, не говоря уже о жизни другого человека. Одетые кое-как, небритые и хмурые - они шатались по центру города, выпрашивая мелочь у прохожих, спали на грязных одеялах в обнимку с такими же хмурыми и голодными собаками. Раньше Рики презирал таких людей. Теперь стал одним из них.

По крайней мере, с виду.

Ориентируясь на солнце, они шли все время на запад. Вперед, не сбавляя шага и стараясь не отклоняться в сторону, насколько позволял извилистый и лукавый лабиринт улиц. Богатые кварталы сменялись бедными, узкие переулочки - широкими проспектами, набережные - автострадами, тесные подворотни - площадями. Казалось, что вот еще чуть-чуть, еще день пути - и здания расступятся, и перед очарованными путниками откроются просторы: поля с разбросанными, точно кубики по зеленому ковру, хуторами, сочные луга с травой по пояс и пыльно-желтые проселочные дороги. А там, за полями и дорогами раскинулся волшебный лес.

Но город не кончался, он плелся за Рики и Стеллой, точно пес на поводке. Во сне опутывал стенами, прихлопывал сверху пролетами мостов, запирали в строящихся или, наоборот, предназначенных на снос домах.

- Кажется, я понял, что такое ад, - сказал как-то Рики, проснувшись среди обломков мебели на краю городской свалки. - Это дорога, которая ведет в никуда. Должно быть, мы ее заслужили.

Стелла взглянула на него затравленно и пожала худенькими острыми плечами. Скосив глаза в зажатое в ладошке карманное зеркальце, послонявила палец и попыталась стереть со лба и носа черные полосы. Воды не было - стояла засуха, и все лужи в городе пересохли.

- Каждый заслужил свою дорогу. Но мы выберемся, Фредерик, я тебе обещаю. Пусть не сразу, но обязательно выберемся. Беспокоишься о своих, да?

Рики благодарно кивнул.

- Сейчас уже не так, как в начале, но все равно - тревожно. Марайка сильная, но сила в ней надломлена. Ей трудно приходилось последние годы. Я целый день на работе, а она - дома одна с больным ребенком. Не просто больным, а с таким, что сколько любви в него не вкладывай, ничего не получаешь в ответ.

- Мне это знакомо, - отозвалась Стелла. - Детей у меня нет, но что такое «ничего не получать в ответ» я знаю. Когда мы с Фрэнком...

- Не надо Фрэнка, - мягко сказал Рики.

- Хорошо, - согласилась Стелла. - Как хочешь. Фрэнка больше не будет - только ты и я. Так? Умыться бы... на ведьму похожа. На бабушку Ежку.

- Ты очень красивая, - искренне сказал Рики. - Самая красивая девушка в мире, и все силиконовые мисс Вселенные перед тобой - ничто. Ты вся, как свет, а к свету грязь не пристает.

Они выбрались на расчищенное место. Позади простирался огромный, заваленный мусором пустырь, впереди высились подрумяненные первыми - еще не жаркими - лучами солнца многоэтажки. Над крышами сизым дымком вилась стайка почтовых голубей.

- А как же Марайка? - спросила Стелла. Она улыбалась, но в крошечных морщинках у глаз и в уголках губ притаилась усталость. - Ты ведь ее любишь, Фредерик.

- Любил, - поправил ее Рики. - Раньше. Кажется.

Он хотел сказать, что любовь со временем заменяется привычкой, а внутренняя близость - чувством долга, и сам удивился, как неправильно это прозвучало. Наверное, потому что в их странной вселенной не было ни прошлого, ни будущего, ни сослагательного наклонения, а только настоящее - во всем многообразии его смыслов и оттенков.

- Не надо тревожиться, - сказала Стелла. - Давай, я научу тебя танцевать. Ты ведь не умеешь, Фредерик, правда? А нужно уметь, потому что танец - это язык души. Как молитва или медитация, только гораздо естественней и доходчивей. На нем душа разговаривает с Богом. Ну, смелее, - она подала ему руку.

На безлюдном пустыре, среди мертвых, не нужных вещей, почерневших от росы и растрескавшихся от зноя досок и пустых бутылок, Стелла разучила с Рики первый танец. Это была бразильская самба.

Сначала получалось плохо - тело не слушалось и не желало двигаться в такт. Рики повторял за девушкой шаги, но сбивался с ритма, оступался, ноги заплетались.

- Плавно, Фредерик, не части, - командовала Стелла. - Под музыку!

- Нет здесь никакой музыки, - оправдывался Рики, не сводя взгляда с ее кроссовок. - Я ничего не слышу!

Его уши словно заложило ватой. Даже чириканье птиц смолкло, и кузнечики не выводили больше длинные переливчатые трели. И пернатые, и мелкие насекомые попрятались от дневной жары.

- Есть, Фредерик, только очень-очень тихая. Прислушайся, и она прорастет в тебе. Ну, пожалуйста, Рики!

Он улыбнулся: «Так ты знала, как меня зовут?» Не безличное, паспортное, а домашнее имя еще больше сблизило их, стало их маленькой тайной - как когда-то давно с Марайкой. Рики глубоко вздохнул, расслабив каждую мышцу, прикрыл глаза и сосредоточился, пытаясь расслышать музыку тишины.

И вот, словно из глубины колодца, едва различимая, донеслась барабанная дробь - как будто цыпленок старался клювом пробить скорлупу. Или это он, Рики, был, как цыпленок, заключен в яйцо, а кто-то пробивался к нему снаружи, чтобы выпустить из скорлупы безмолвия в мир звуков?

В голове гулко стучала кровь. Барабанная дробь с каждым вдохом становилась отчетливее, крепла и ветвилась, и на ней, точно молодые листья, распускались хрупкие аккорды.

Глава 4

Сколько времени они шли? Город никак не реагировал на смену времен года. Только в какой-то момент Рики вдруг показалось, что небо слегка потемнело и в его пронзительной лазури появились стылые фиолетовые оттенки. Ночная роса сделалась холодней и обильней, и собиралась по утрам в маленькие блестящие лужицы, а на влажную брусчатку налипали принесенные ветром из-за высоких оград золотые пяточки листьев.

Потом листья почернели, превратились в грязные лоскутки, а мостовые захрустели ломкой корочкой инея. По ночам Рики укрывал дрожащую девушку своей курткой и - не обращая внимания на слабые протесты: «не беспокойся, я не замерзла» - грел дыханием ее онемевшие пальцы и прозрачные, как фарфор, щеки. Больше он ничего не мог для нее сделать.

С каждым порывом ночного ветра истончался обмотанный вокруг их запястий поясок. Обглоданный холодом, он из широкой красной ленточки превратился в нитку, не толще паутинки. Где-то совсем рядом - в убогих каморках и богатых коттеджах - топились печки, весело булькая, закипали чайники, поднимался сытный, горячий пар над кастрюльками с супом. Но никому не было дела до двух замерзающих на улице бродяг, а Рики и Стелле даже в голову не приходило попроситься к кому-нибудь на ночлег. Чужой мир, чужие люди. Равнодушная, чужая зима.

На краю Земли - в том же, и одновременно совсем другом городе, в ином, недостижимом измерении - остались Марайка и Мориц. Рики не думал о сыне, он чувствовал его, как чувствует дерево растущий от его корней побег. Не тосковал и не метался, но каждой клеточкой ощущал, как откуда-то из темноты и глубины к нему струятся энергичные биотоки, и понимал - Мориц жив. Значит, есть куда возвращаться и есть к чему стремиться, и нужно, обязательно нужно найти этот проклятый подснежник. Хоть из-под земли выкопать.

Мир вокруг Рики неожиданно заболел проказой. Небо, здания, деревья покрылись бесцветными язвами, которые расползаясь по телу города, отвратительно шелушились. Идти стало трудно - перед глазами сгустилась молочная пелена, искажая контуры, поглощая голоса и звуки шагов. Рики и Стелла больше не танцевали на улицах, не смеялись и не разговаривали, а шли молча, крепко держась за руки. Они и не заметили, как проказа съела брусчатку и асфальт, обнажив мерзлую, бурую грунтовку, как расступились дома - город кончился. Начался лес.

Приблизившийся на расстояние вытянутой руки горизонт, точно лихорадкой, обметало звездами. Белая слякоть над головой, рыхлая, скрипящая белизна под ногами. Только стволы деревьев смутно прорисовывались в белой темноте. Сознание не выдерживало пустоты, то и дело отключалось, и Рики впадал в спонтанную медитацию.

Он видел себя в маленьком сарае с одним окошком, среди наваленных кое-как мотыг и лопат. Запах еловых опилок щекотал нос, а бревенчатые стены пульсировали в так биению сердца. Так тепло, спокойно и уютно Рики не было никогда.

Он подергал хлипкую с виду, запертую на одну щеколду дверь - та не поддавалась. Чтобы чем-то занять себя он принялся разбирать садовый инвентарь. Секаторы, топорики, перчатки, мотки шлангов - на полку, мотыги, лопаты и грабли - к стене. Под грудой предметов обнаружилась покрытая брезентом газонкосилка, а рядом с ней канистра с бензином. Надо же. Рики и не предполагал, что в сарайчике столько полезных вещей. Они не желали стоять у стен и лежать на полках, сами просились в руки. И что он тут прохлаждается, когда вокруг столько работы?

- Рики, очнись! - он вздрогнул, когда чья-то влажная ладонь коснулась его щеки. - Смотри, мы почти у цели. Рики! - настойчиво повторила Стелла, дергая его за полу куртки.

Он медленно приходил в себя, щурился и моргал. В глаза бил яркий, нереально четкий, словно осязаемый свет. Солнечные лучи отражались от снега, преломляясь в пышную, точно разноцветный хвост жар-птицы, радугу, и примерно на высоте человеческого роста встречались с другими - отвесными, падавшими из прорехи в облаках. Там, где верхние лучи достигали земли, снег подтаял, оголив черные, кое-где покрытые стебельками травы проплешины. А у самых ботинок Рики - так, что еще полшага, и раздавил бы, не заметив - торчала из сугроба веточка с двумя набухшими, полуоткрытыми почками. Это было странно - ведь дуб не распускается ранней весной.

- Маленький Дик, - восхищенно прошептал Рики, опустившись на колени перед молодым деревцем. - Так вот ты где... Ну, как понравилось тебе летать? Или дома все-таки лучше?

Он протянул руку, и - Рики мог бы в этом поклясться - дубок тоже встрепенулся едва уловимо и потянулся ему навстречу. Они оба как будто встретились после долгой разлуки. Но тут закружилась голова, в ушах засвистело - и, хотя картинка перед глазами даже не шелохнулась, Рики показалось, что он падает с большой высоты. Он ощутил толчок, словно от удара о землю - такой сильный и болезненный, что сознание на миг помутилось.

- Стелла! - позвал он в отчаянии.

Несколько минут или часов, а может быть, и дней, Рики не мог сообразить, кто он и где находится. Потом вспомнил.

- Стелла...

Девушки нигде не было. Снег растаял, стек в ложбинки кровавыми ручейками. Заходящее солнце расчеркало небо на горизонте, точно тетрадку нерадивого ученика, окропило клюквенным соком золотой мох.

Рики сидел, слегка оглушенный, привалившись спиной к стволу могучего дуба и смотрел на маленький дубок, который уже успел развернуть два клейких,

нежно-зеленых листка. Его вдруг захлестнула горячая симпатия к этим двум деревьям - старому и юному, и странная уверенность, что как бы ни менялся вокруг мир, маленький Дик и его мудрый отец останутся неподвластны злым метаморфозам.

«Никуда я отсюда не уйду, - думал Рики, засыпая. - Потому что это место - правильное». Он улыбнулся проклюнувшейся сквозь остывающие закатные краски большой белой звезде.

Он спал, и ему снилось, что не было странствий, и зимы, и девушки по имени Стелла в белом платье с красным пояском. А он, Рики, не искал февральский подснежник, а просто поехал с семьей за город, прихватив корзинку с едой, да одеяло для пикника... и вот сейчас хлебнул пива и задремал под деревом.

И не понимал Рики во сне - отдыхает ли он с женой и сыном на природе или по-прежнему блуждает по лабиринтам чьего-то - или своего - сердца.

Из забытья его вырвал голос - резко, будто в темной комнате включили лампочку. Рики осторожно приподнял веки - и чуть не вскрикнул. Рядом с ним, на мшистом холмике примостился, скрестив ноги по-турецки, маленький мальчик в голубой тенниске и с жирно блестящими на солнце черными волосами. Он склонился над раскрытой книгой и - не обращая внимания на Рики - монотонно, без пауз, бубнил себе под нос:

«...Папа, почему деревья не летают, как птицы? Отец - высокий дуб, кряжистый и седой от лунного света - покачал головой. Летают, сынок, крылатые. А те, у кого есть корни...»

Рики слушал и слушал этот тонкий голос, и не смел вздохнуть - лежал не шевелясь, боясь спугнуть счастье.

Графоман

Новый день разгорался непредсказуемо и пестро. Тонул в бесчинстве красок, вспыхивал оттенками и полутонами, заворачивался в зыбкий шлейф сменяющих друг друга картин.

Нет, не так. Новый день начинался предсказуемо и пошло. Кларк стоял у распахнутого окна и скучающим взглядом перелистывал приевшиеся до зевоты аляповатые детали пейзажа. Каменистый пляж, у самой воды обрывающийся узкой полоской горячего серебряного песка, небо, лоснящееся золотом, забрызганное прозрачно-бирюзовыми каплями солнца. Но это кто-то выдумал. Дикое и безвкусное сочетание цветов.

Кто-то встал раньше всех и выдумал: солнце и небо с малахитовыми прожилками облаков, и грубые камни на берегу, изъеденные ветром и разграфленные тонкими штрихами соляного инея. «Как тетрадки в клеточку,» - лениво удивился Кларк. Три бочкообразные пальмы у самой стены их с Луром дома. «Боже мой, пальмы! Еще вчера здесь были березы.»

- Уныло, да? - спросил тихо подошедший Лур.

- Ага, - Кларк со вздохом отвернулся.

От Лура его тошнило по утрам сильнее, чем от панорамы за окном.

- Вообще-то, мне больше нравится наоборот: солнце желтое, а небо синее, но я не смогу сейчас исправить, слишком сильный след. Разве что, берег...

По серому пляжу разползлись фиолетовые, голубые, красные пятна цветов. Зарябило в глазах, словно на голые камни кто-то выдавил из тюбика радугу.

- Да, так лучше, - согласился Кларк. - Свари-ка мне кофе.

Лур многое умел: одним ловким мазком оживить скучный пейзаж, приготовить завтрак, мягким уютом наполнить дом, сложить песню или рассказать историю. Умел улыбнуться, когда Кларк пытался шутить. Угадывать желания и исполнять их с расторопностью сказочного джина.

Но при всех достоинствах у Лура был один - главный - недостаток: от него невозможно было избавиться. Что только не делал Кларк: гнал его, оскорблял, вышвыривал, как щенка, на улицу, запирали от него дверь. Просил оставить в покое, и по-хорошему просил и по-плохому. Бесполезно. Лур умел проходить сквозь закрытые двери. Ничего не требовал, но всегда находился рядом. И Кларк смирился, хотя и не понимал причины его настойчивости. Связывало ли их что-то из прошлого? Может быть... Ведь и они когда-то плыли в потоке времени, влюблялись, ошибались, учились. До тех пор, пока не застряли - в наказание или в награду? - в таком месте, откуда не выбраться, да и надо ли?

Кларк считал, что не надо, не оттого, что Безвременье ему нравилось, а потому, что не видел смысла менять одну иллюзию на другую.

Пальмы или березы... не появится ли завтра на их месте маяк? Качели? Вышка для прыжков с парашютом? Возникает ощущение, будто вокруг тебя что-то происходит, хотя на самом деле не происходит ничего. Реальность аморфно-статична, в ней нет событий, а есть лишь вероятностные всплески. Разум тасует миражи, точно гигантскую карточную колоду. От этого в мире не становится больше настоящих вещей, но создается видимость движения.

Кларка подобный расклад устраивал, Лура - нет. Чудак, мечтатель. Ничтожный графоман. Большую часть дня - хотя день, конечно, такая же условность, как и все прочее - он сидел за письменным столом и кропал свою бесконечную рукопись. Вычеркивал, правил, вымарывал целые абзацы и главы, изводил кучу бумаги... потом носил в редакцию и каждый раз возвращался ни с чем.

Кларк знал, что Лур пишет о нем, но только посмеивался над жалкими мечтами горе-сочинителя. Издевался над его упрямством, над отчаянной неспособностью понять и принять очевидное. Никогда он, Кларк, не согласится стать героем чужого романа. Уж если жить, то своей жизнью, а не кем-то навязанной.

Он улыбнулся бирюзовому солнцу и закрыл глаза. Исчезли ярко-вычурные краски, сразу сделалось тепло и приятно. Безвременье пахло морской солью, йодом, кофе и свежеподжаренным хлебом. И еще чем-то неуловимым, причудливым, как слово давно забытого языка.

За завтраком Лур был задумчив и сосредоточен. Разливал кофе по чашкам, подавал на стол гренки, йогурт, фрукты... но сам почти ничего не ел. Два раза уронил кухонный нож на пол.

- Пойдешь в редакцию? - насмешливо поинтересовался Кларк.

- Да, я вчера закончил переделывать, - сдержанно ответил Лур. - Попробую. Вдруг на этот раз получилось хорошо?

- Ну-ну, - усмехнулся Кларк. Он с удовольствием запустил бы в друга чем-нибудь тяжелым, но не хотелось омрачать завтрак банальной истерикой.

- Мне Главный Редактор намекнул, что если я немного поправлю эпилог... и еще завязку... так, чтобы сразу ввести читателя в курс дела... потому что в тексте не хватает динамики, - Лур лихорадочно шарил глазами по столу. - Я, пожалуй, не голоден. Ты ешь, я скоро вернусь.

Кларк презирал графоманов. Даже больше, чем самозванных художников, своими блудливыми мыслями рисующих то изумрудные звезды на розовом небе, то ледяные дворцы посреди городской площади, то разлапистые сосны с золотыми яблоками, то ржавые танки на морском берегу. От живописцев хоть какой-то прок: они делают мир интереснее и ярче. Во что превратилась бы действительность, если бы ее постоянно не расцвечивали люди? Иногда Кларку становилось любопытно, но выяснить не было никакой возможности.

Повсюду, точно мягкие плюшевые бабочки, порхали мыслеформы, садились на деревья, на крыши домов, на фонарные столбы, окутывая их и преображая.

Лур шел вдоль моря, прижимая к груди драгоценную рукопись и увязая по щиколотку в серебряном песке. Солнце плавилось голубой свечой, его шустрые блики вплетались в зеленые волны, как пряди дождя в листопад. Море было похоже на время, такое же своенравное и живое. Внушающее благоговейный страх, но не тем, что таило в себе опасность, а своей отдельностью и непокорностью человеческому воображению. Оно - единственное - не менялось от прикосновения взглядов, его невозможно было выдумать, переделать или подчинить.

Иногда запертые в Безвременьи люди говорили: «А что если это море придумало нас?» Могло ли оно быть богом, не тем, которого изображают на иконах и которому бьют поклоны в церквях, а неразумным богом, богом-стихией? Моря не нужно наше поклонение, оно не судит наши поступки, но Лур все равно молился ему.

«Пожалуйста, сделай так, чтобы рукопись взяли, - шептал он, бредя по сверкающей отмели, у пенистой кромки воды. - И чтобы Кларк согласился. О, море, я хочу любить! По-настоящему, чтобы сердце болело. Пожалуйста...»

Здание редакции Лур узнал сразу. Оно - хоть и отращивало каждый раз новые щупальца улиц, окружало себя то веселенькими треугольными домами, похожими на яркие пакетики из-под молока, то длинными гусеницами барачков; рядилось то в металл, то в пластик, то в цветные витражи - все равно оставалось самым огромным и внушительным.

Но, сколь изменчивым оно было снаружи, столь же неизменным внутри. Теплый, сонно жужжащий полумрак, зеленые ковры с жестким ворсом на лестницах и зеленые гобелены на стенах. Входящий словно нырял в мутное озеро с цветущей водой.

В приемной перед кабинетом Главного Редактора никого не было, но Лур покорно вытянул из прорези в стене номерок - 121, значит, перед ним сто двадцать человек. Опустился на стул и взял с низенького столика вдоль и поперек зачитанный журнал. Ожидание в Безвременьи могло длиться сколь угодно долго, иногда оно заканчивалось сразу, а бывало, что растягивалось на целую вечность. Все зависело от Главного Редактора, он один знал, кто и сколько должен ждать. Он знал каждого посетителя по имени, все его страхи, надежды, маленькие постыдные комплексы и ревниво взлелеянные мечты. Не смеялся над ними, как Кларк, а просто - знал.

- Лур Олемрик, - позвал из-за слегка приоткрывшейся двери бесстрастный голос, и Лур вскочил. Кинулся в кабинет и чуть не столкнулся с зеленоглазым Помощником, который тут же вежливо посторонился, пропуская его вперед.

Сам Главный Редактор восседал за столом, гнущимся от наваленных в беспорядке бумаг, и Лур понял, что 120 авторов уже побывали тут до него.

- Итак, господин Олемрик?

- Вот, я все переписал, - запинаясь проговорил Лур и подал Редактору рукопись.

Но тот не стал читать. Ему достаточно было заглянуть Луру в глаза, испуганные, но честные, как серо-голубая речная муть, наивно подсвеченная зелеными паутинками солнца.

- Ничего вы не переписали, Олемрик. Те же самые ошибки. Я предупреждал вас, что ничего больше не буду объяснять? - и легким взмахом руки Главный Редактор отправил рукопись Лура в мусорную корзину. - Все, идите.

- Всего хорошего, - улыбнулся Помощник.

Они оба смотрели Луру вслед, а потом вместе прислушивались к затихающим шагам в коридоре.

- Бездари, - сказал Главный Редактор. - Графоманы. Ни в ком ни капли таланта. Закидали меня макулатурой, и из этой дряни я обязан что-то выбирать. Лучшее из худшего, - он медленно сгребал измаранные неровными почерками листы в большую кучу. - Вот, не угодно ли, некий Йорк. Какой подарок себе запланировал на тридцатилетие. От него уйдет жена, смертельно заболеет ребенок, мать разобьет паралич. Потом его уволят с работы - и все в один год. Как он собирается это пережить? Наложит на себя руки и снова попадет к нам. Но я его повесть утвердил, сам сочинил, сам пусть и расхлебывает.

- Но Олемрик неплохо пишет, - возразил Помощник. - За что ты его так?

- Олемрик - такой же графоман, как и остальные. Сотый раз приносит одну и ту же рукопись. И что он вцепился в этого Кларка? Не понимает простой вещи: нельзя заставить человека жить. - Главный Редактор зачерпнул со стола полную горсть исписанных листков, подошел к окну и выпустил их, точно стаю голубей, в яркую пустоту. С неба бледно-сиреневыми хлопьями падал кем-то придуманный снег. - Графоманы. Ни одной цельной мысли или приличного сюжета, сплошная грязь, кровь и сопли.

Внизу, на ступенях соседнего здания сидел Лур и плакал. Он чувствовал себя ненастоящим, и боль его была ненастоящая. Пепельно-серое солнце ласково серебрило его поникшие крылья, дробилось на тусклые жемчужины и распрыгивалось по мокрому асфальту.

Но крылья Лура были невидимы для всех, кроме Главного Редактора, даже сам Лур о них не догадывался. А если бы догадался - смог бы летать, не зря ведь человек рождается крылатым.

Главный Редактор вздохнул, провожая взглядом танцующие на ветру рукописи.

- Почему никто из них не понимает, чего я хочу?

- А чего ты от них хочешь? - спросил Помощник.

Над городом тихо скользили и оседали в акварельную слякоть наши бездарно написанные судьбы.

Я и мои злые гномики

Доктор, вы тоже кормите гномиков? Что значит - каких? Вот же у вас на полу блюдечко с молоком и кусочек печенья. Это сыр? А мои раньше любили печенье. Они были настоящими сластенами, мои гномики. Зефир, пастилу, мармелад, сладкие булочки - все разбирали на крошки и тащили в свою норку, в углу, за шкафом. Никто, кроме меня, не знал, где они прячутся. Теперь они едят только сырое мясо. Свежее, с кровью. Гномики, которые хоть раз попробовали кровь, уже никогда не будут такими, как прежде... Нет, к психиатру мне не надо. Правда, не надо, и диагнозы мне не нужны. Если хотите послушать, как это случилось, могу рассказать... Хотите?

Первый раз я увидел их накануне рождества. Мать хлопотала на кухне, отец мастерил гирлянды из проволоки и цветной бумаги и развешивал их по стенам, протягивал под потолком, закрепляя одним концом на карнизе, а другим на тяжелой латунной люстре с тремя рожками. Я, пятилетний мальчик, аккуратно причесанный и одетый, скучал у накрытого стола. Под рождественской елкой стоял большой пенопластовый гном, а у его ног, на усеянных опавшими иголками ватных сугробах искрились сахарные звездочки, леденцы в прозрачных обертках, маленькие шоколадки в яркой разноцветной глазури. За окном ранние сумерки клубились стилой синевой, а в комнате пахло хвоей, сдобной выпечкой и свечным воском. Я смотрел на гнома, на бутафорский снег, на перебегающие по ветвям крошечные огоньки, и мне казалось, что там, под елкой, постепенно создается некое пространство чуда. Что-то необычное должно было произойти, сказочное и неприменно - хорошее.

Они высыпали гурьбой из-за шкафа - проворные, как мышата, и нарядные, точно расписные фарфоровые фигурки. Гномики, самый крупный не больше новорожденного котенка, а самый мелкий размером с фасолину. Все в зеленых камзолах и желтых чулках. Я поспешно вылез из-за стола, подошел ближе и присел на корточки. Осторожно, чтобы не испугать. Вгляделся. Гномики копошились в рыхлой вате, пытаясь вытащить из нее скользкий леденец. На меня они не обращали внимания.

«Эй!» - окликнул я их шепотом, и крохотные существа, как по команде, замерли, задрав кверху увенчанные красными колпачками головки. Я взял со стола кусок кекса и положил на пол, потом налил в блюдце яблочного сока и поставил рядом, а сам немного отступил назад. «Ешьте, - прошептал. - Это вкусно.»

Они обступили блюдечко и принялись пить, погружая в сладкую жидкость ладошки, гномик-фасолинка чуть не бултыхнулся в сок... а потом раскрошили кекс и унесли с собой. Так началась наша дружба. Я все время старался угостить их чем-нибудь вкусным. Ломтик яблока, долька апельсина, орешки. Когда ничего другого не было, корочка хлеба - они ели все.

Нет, я их совсем не боялся тогда и не удивлялся даже. Маленькие дети весь мир видят волшебным. Помню, окна детской выходили на поросшую газонной травой полянку, которая в лунные ночи становилась серебряной, словно усталой мятой кофетной фольгой. Полянку со всех сторон обступали ели, сквозь ветви которых так заманчиво блестели звезды, словно звали куда-то, очень далеко. В такие дали, откуда не возвращаются, а если возвращаются, то изменившимися. На этом газоне, прямо под моими окнами, каждую ночь разыгрывалась сказочная мистерия. Из-за елок выпрыгивали оленята с золотыми рогами и алмазными копытцами, волчата и ежики, огненные белочки с длинными хвостами, мягкие, словно плюшевые, зайцы и смешные медвежата. Они резвились на траве, скакали, кувыркались и играли в догонялки.

Вот, хотите верьте, хотите нет. Я верил. Так почему бы я стал удивляться гномикам?

Через два года после того рождественского вечера умер мой отец. Тогда я не знал, отчего. Позже мне сказали, что у него во сне лопнула аневризма в мозгу. Он лежал на кровати, мой отец, скрюченный и очень бледный, как будто сделавшийся меньше ростом. Потом пришли какие-то люди в оранжевых жакетах и забрали его. Мать забрали тоже, у нее случился нервный срыв. А еще через полгода в нашем доме появился Ханс. Узкоплечий, в пятнистой форме Бундесвера, с темным ежиком волос и тонкой полоской усов над верхней губой. И глаза словно черные дыры, из которых тянуло сквозняком.

Дядя Ханс, я должен был его называть. С его появлением все стало по-другому. Детскую Ханс переоборудовал под свой кабинет. Развешал по стенам оружие - он состоял членом охотничьего клуба или что-то в этом роде. Меня переселили в бывшую кладовку, маленькую комнатку без окна, в которой едва умещались моя кровать, тумбочка и ящик с игрушками. Я больше не мог любоваться перед сном волшебной полянкой, а сладости для гномиков теперь клал не на середину гостиной, а осторожно проталкивал за шкаф. Чтобы Ханс не увидел. Я его боялся, до судорог, до головокружения. Не то чтобы он меня часто бил. Он меня даже не замечал, вернее, замечал, как некую досадную помеху, которую можно отпихнуть сапогом или взять за шкирку, как котенка, и зашвырнуть в самый дальний угол. Но он бил мать. Сначала изредка, затем все чаще, все сильнее. Все более жестоко. Иногда при мне. Собственно, мое присутствие в этот момент его не беспокоило, мои слабые попытки вступить за маму всегда заканчивались одинаково - ударом под дых, после которого я отлетал в другой конец комнаты и корчился на полу от боли. Иногда утаскивал в спальню, и я, съехившись под дверь, вслушивался в крики и всхлипывания матери, и мне было так больно и страшно, что самому хотелось кричать.

Не знаю, почему моя мать продолжала жить с Хансом, вряд ли любила. Хотя чужая душа - потемки, а душа близкого человека порой и вовсе - безлунная полянная ночь.

Как-то раз я сидел на полу в своей комнатухе, полу-плакал - полу-дремал, привалившись спиной к постели. Горел тусклый ночник. Не хотелось ложиться спать, выключать свет... вообще, ничего не хотелось. Игрушки валялись рядом, ненужные. Вдруг что-то мягко ткнулось мне в руку, и я, вздрогнув, очнулся. Передо мной стоял гномик. Давно он не показывался, кажется, немного вырос с тех пор, как я видел его последний раз. Все в том же зеленом камзоле, теперь слегка тесном, в деревянных башмачках и красной шапочке. В нем было что-то забавное и грустное, и он ластился ко мне, как доверчивый щенок.

Я наклонился, погладил своего маленького друга по выбившимся из-под колпачка светлым кудряшкам и, глядя ему прямо в глаза, беззвучно приказал: «Фас! Он там, в спальне... Ату его!» Гномик встрепенулся, сделал боевую стойку, словно тушканчик, вставший на задние лапы. Завертелся юлой, приняв хиваясь, точно сторожевой пес, и бросился вон из комнаты. За ним тенью скользнул еще один, пониже... и еще один... и еще...

В ту ночь я долго не мог уснуть. Лежал и смотрел в темноту. Потом тихо встал, сунул ноги в мягкие тапочки, вышел в коридор - толстый ковролин скрадывал мои шаги - и подкрался к двери родительской спальни. Отчим спал беспокойно: ворочался, кряхтел, стонал сквозь стиснутые зубы - так мне, во всяком случае, казалось - как будто сражался с полчищем кусачих насекомых.

Утром, за столом, вид у него был помятый, сникший, глаза тусклые. Он не кричал на мою мать, ничего не требовал, как обычно, только хмуро кивнул и уткнулся взглядом в тарелку. После завтрака я заметил, как мать украдкой сунула в бак с грязным бельем окровавленную простыню. Меня захлестнул страх и одновременно злая радость: теперь-то он поймет, как больно нам с мамой! Я открыл холодильник, извлек оттуда большой кусок суповой говядины и, отрезав тонкую полоску, протолкнул ее за шкаф. К вечеру кусочек мяса исчез. Через три дня отчима увезли в больницу, и больше мы с матерью его не видели.

Мы остались одни. Я снова перебрался в детскую, ружья забрали родственники Ханса вместе с остальными его вещами. Все вернулось на круги своя, да только не совсем. Что-то случилось со сказочной лужайкой... то ли елки вокруг нее стали гуще и выше, то ли луна теперь освещала ее иначе, но трава больше не серебрилась в слабом сумеречном свете, и веселые зверюшки не резвились под моим окном ночь напролет. Они исчезли, убежали искать другие полянки и других - счастливых - ребяташек.

Жили мы скромно, мать выучилась на парикмахера, пошла работать, но получала немного. Большую часть зарплаты съедала плата за воду, газ, электричество, телефон. На сладости денег не хватало, мясо тоже покупали не каждый день, но когда покупали, я не забывал делиться со своими маленькими друзьями. Они стерегли мой покой днем и ночью, как верные стражи, никого даже близко не подпуская к нашему с матерью семейному очагу. Наточили когти и клыки. Одежда сделалась им мала, они скинули зеленые камзолы и обросли густой бурой шерстью. Я не сомневался, что стоит мне только моргнуть, и любой

недруг будет растерзан. Не могу сказать, что часто просил их о помощи, но, бывало, приходилось.

Я учился в шестом классе, когда ко мне привязался мальчик на год старше, Ференц из седьмого «f». По дороге в школу подкарауливал, оттеснял в тупиковый переулочек и заставлял выворачивать карманы. Потом рылся в портфеле, перетряхивал пенал и учебники, находил всю мелочь, до последнего цента, как бы тщательно я ее ни прятал. Почти все ребята брали с собой хоть пару евро - в школьном буфете выпекали вкусные вафли и брецели, и мы бегали, покупали их на переменке. Не знаю, почему Ференц повадился обирать именно меня, может, из-за моей хрупкой комплекции - думал, что не дам сдачи - или потому, что я жил дальше всех. К тому же, у меня была репутация молчуна, я мало с кем общался, и никогда ни о ком не сплетничал.

Сначала я терпел. Перестал брать в школу деньги и покупать брецели. Вместо этого заворачивал в фольгу бутерброды, потому что уроки заканчивались поздно и я успевал жутко проголодаться. Ференц злился, вытряхивал мой завтрак на землю и топтал ногами. Я пытался жаловаться учителям, но мне не верили - отец Ференца возглавлял родительский совет класса и без труда убедил всех, что его сын никогда ничего такого... Хотел поговорить с матерью, но она посмотрела на меня так устало, что от произнесенных слов запершило в горле.

В конце концов я не выдержал. Просовывая за шкаф мясо, поманил пальцем одного из гномиков и прошептал ему на ухо имя своего обидчика. В тот же день Ференц угодил в реанимацию с изуродованным лицом, почти перегрызенной шеей и рваными ранами на теле. Что случилось? Покусали собаки. Чьи, откуда? Никто не мог понять. В нашем городе бродячих животных нет, муниципалитет следит за этим. Сам мальчик, когда немного оправился от шока, клялся, что не собаки на него напали, а настоящие чудовища. Что ж, он был недалеко от истины.

Ференц выжил после того случая, но сделался тихим, ходил бочком и слегка прихрамывая, никому не смотрел в глаза, а меня обходил большим полукругом. Наверное, чувствовал что-то... Было еще несколько похожих эпизодов, не столь драматичных.

Мои чудовища постепенно набирались силы, росли. Самый маленький стал размером с крысу, а самый крупный - с кошку. Когда однажды я по старой памяти предложил ему кусочек творожной запеканки, он зашипел на меня, выгнул спину и чуть не впился острыми зубами в мой палец. Я едва успел отдернуть руку.

По ночам они громко топали, шуршали обрывками газет, хрюкали и визжали, пугая мать. Впрочем, недолго. Моя мама так и не сумела оправиться от смерти отца и от жизни с Хансом. Она медленно угасала. К шестнадцати годам я остался сиротой. Пришлось бросить школу, хотя учился я неплохо, и пойти работать в автомастерскую. Вечерами я подолгу бродил по улицам, подсвеченным бледными фонарями, и до рези в глазах вглядывался в черные зрачки окон, за каждым из которых чьи-то детские сказки превращались в кошмарные сны. В

моем сердце еще теплилась глупая, отчаянная надежда на чудо - что вот сейчас за занавеской, словно тоненькая свечка в окне, мелькнет огонек чьей-то доброты.

И чудо пришло в мою жизнь. Самое настоящее, не призрачно-лунное, как серебряная лужайка перед домом, не мимолетное, как запах воска и хвои в рождественскую ночь, а живое, теплое, с волосами тяжелыми, как соцветия сирени, и мудрыми руками, которые тут же навели порядок в квартире, выбросили весь сор, хлам, старые газеты и старую боль, смахнули паутину со стекол и зеркал. В комнаты хлынул такой яркий свет, что даже злые гномики присмирели, попрятались по углам, как сумеречные тени.

Чудо звали Паула. Она напоминала мне маму, такую, какой та была давно, молодую и энергичную, хозяйку от Бога. Есть такие женщины, для которых инстинкт гнезда главнее любых других инстинктов. Конечно, жизнь не видеокассета, ее не отмотаешь в начало. Но с появлением Паулы меня не покидало странное чувство, как будто в некой игре обнулили счетчик и теперь все, что я ни делал, я делал как бы впервые. Без оглядки на прошлое. Это значило, что можно любить без страха потери, радоваться без чувства вины, засыпать безмятежно, не вслушиваясь в цокот острых коготков по полу, в фыркание, шебуршение и голодное чавканье. Гномики затаились, притихли. Притворились безопасными домашними зверюшками. Они даже соглашались есть овощи. Тайком от Паулы я готовил им обеды: нарезал ломтиками морковь, свеклу, редиску и выкладывал на блюдо вместе с листьями шпината... Обязательно добавлял сверху два-три кружочка колбасы. Мои гномики так и не стали до конца вегетарианцами. Паула ни о чем не догадывалась. Только однажды ей показалось, что из комнаты в кухню прошмыгнула большая рыжая кошка. Мелькнула и словно провалилась сквозь землю, вернее, сквозь пол. «Да что ты, дорогая, Бог с тобой! Откуда тут кошки?» - пытался я ее успокоить, фальшиво смеясь. Паула долго терла глаза, недоверчиво озиралась по сторонам, а потом рассмеялась вместе со мной. В другой раз она проснулась посреди ночи, села рывком на постели, в темноте испуганно пытаясь нащупать мою руку. «Янек, тебе не кажется, что у нас дома завелись крысы?» Я помотал головой, хотя Паула, конечно, не могла этого увидеть. Луну скрывали тучи, и комната словно была до самого потолка набита липкой черной ватой. Крысы. Видела бы ты их вблизи.

Я понял, что надо бежать. Подальше от квартиры, населенной страхами, от воспоминаний, от самих себя. Несколько раз предлагал Пауле уехать, уговаривал, умолял, но она смотрела на меня удивленно и непонимающе.

- Зачем, Янек? Куда?

- Куда глаза глядят. Все равно. В другой город, в другую страну... Снимем где-нибудь домик или квартиру на двоих.

- Но... Янек, мне здесь нравится. У тебя очень уютно, правда. А газончик с елками... в нем есть что-то волшебное. Как будто попадаешь в сказку, - она вздыхала и прижималась ко мне. - Я бы хотела, чтобы наш малыш... у нас ведь

будет когда-нибудь малыш?... спал в этой маленькой комнатке, с окнами на лужайку, и каждую ночь...

- Нет! - перебивал я торопливо.

Отдергивал занавеску и с неприязнью всматривался в бархатную, залитую светом полянку. Волшебство давно упорхнуло, и лишь коротко стриженная трава глупо золотилась на солнце.

И так - каждый раз, все время одно и то же. Мы начали ссориться. Сначала по пустякам, несерьезно, без злобы. Говорят, милые бранятся - только тешатся. Вот только утешения не было, одни обиды. Они множились, застревали комом в горле, так, что ни сглотнуть, ни выплюнуть. Любая мелочь раздражала: невымытая чашка в раковине, карандаш на трюмо, непогашенная лампочка в кладовке. Мне хотелось осветить всю квартиру, каждый темный уголок, а Паула твердила, что это расточительство. И непростительная безалаберность. Как она меня только ни называла, и недотепой, и мотом, и ничтожеством, и лодырем... Для того, чтобы сделать человеку больно, не нужно много слов, достаточно одного-единственного, такого, чтобы перевернуло все внутри, и жгло потом долго, как пощечина.

Почему именно слово «грязнуля» меня взорвало? Не потому ли, что частенько слышал его от отчима - небрежно брошенное, вроде бы даже не со зла, но за ним всегда следовала скорая и жестокая расправа. Наверное, я побледнел. В какое-то мгновение мне показалось, что я сейчас, как Ханс, не совладаю с собой и ударю Паулу. Сжал кулаки, и черты ее лица вдруг поплыли, словно обожженные кислотой моей ненависти.

Конечно, я ее не ударил, просто повернулся и вышел из комнаты. А ночью... В ту же ночь я проснулся от страшного крика. Вскочил, подхватил Паулу на руки. «Тише, тише... Что случилось? Что с тобой? Это всего лишь сон...»

«Нет, не сон, - она захлебывалась слезами. - Монстры... они укусили меня в сердце. Больно... укусили». Я носил ее по комнате, грел дыханием остывающие губы, вглядывался в бледное, искаженное судорогой лицо. К утру Паула умерла. Сердечная недостаточность, сказали врачи. Кто бы мог подумать, никогда не жаловалась на сердце.

А теперь... Что теперь? Так и живем. Я и мои злые гномики. Да нет, все понимаю, когда-нибудь они сожрут и меня. Я ведь сам себя ненавижу. По ночам я зажигаю в спальне свечи - десяток в изголовьи кровати, десяток в ногах, еще несколько на полу, на тумбочке, штук пятнадцать на зеркальном трюмо. Когда свечи отражаются в зеркалах, мне чудится, что вся комната тонет в море огня. Гномики боятся открытого пламени. Так и спасаюсь от них... пока.

Я вижу, вы кормите гномиков, господин Фриц? Ну что вы, ничего плохого в этом нет, пока сыром и молоком. Ручная крыса, говорите? Да какая разница, крысы или гномики... главное - не кормить их мясом.

Ангел смерти

В этом маленьком, обласканном солнцем приморском городке они казались пришельцами из другого мира. Они и были пришельцами, двое людей в какой-то мало кому здесь известной военной форме, один высокий, с мрачным красивым лицом и автоматом через плечо; другой - пониже ростом и, судя по всему, помоложе, со связанными за спиной руками.

Почти прямо у их ног спускалась к морю узкая, облицованная гранитом лестница с блестящими на солнце ступенями; в воздухе яркими всполохами серебристого света проносились чайки, описывая над морской гладью редкие концентрические круги; пахло йодом и солью, а маленькие пенистые волны набегали на покрытый крупной галькой пляж, у самой кромки которого играли дети.

- Спустимся вниз, - бесстрастно бросил тот у которого был автомат.

- Пожалуйста, развяжи мне руки,- попросил его спутник. - Я не буду сопротивляться.

Он был бледен и двигался как во сне, с видимым трудом преодолевая тошноту и головокружение. В голове у него, один другого бессвязнее, вспыхивали искаженные страхом, болезненно - навязчивые образы и обрывки мыслей, от которых тошнота и слабость еще больше усиливались, становясь практически непереносимыми. «Это какая-то дикость, бред, кошмарный сон... Куда мы идем? Здесь так много людей вокруг... А бежать все равно некуда...»

Высокий шагнул к нему, перочинным ножом перерезал веревки и, словно угадав его мысли, презрительно усмехнулся.

- Если ты рассчитываешь, что кто-нибудь придет тебе на помощь, то лучше не надейся. Всем этим людям глубоко наплевать и на тебя, и на меня, и на все это дерьмо вместе взятое. Я могу спокойно прикончить тебя прямо у них на глазах и - даю тебе слово - никого это не смутит. Разве что, слегка оскорбит их эстетические чувства. Кстати, как твое имя? Мне кажется, я уже когда-то раньше тебя встречал. Меня ты наверняка знаешь.

Он, действительно, знал. Это был Авигдор Шакед из особого подразделения ХХХ.

- Менахем Лихтенштейн. Палач коллекционирует имена своих жертв?

О, на твоём месте я бы воздержался от риторических вопросов, - легкая, но многообещающая усмешка скользнула по тонким губам Авигдора. - Я всего лишь исполняю приказ. Приказы военного времени не обсуждаются, ты ведь знаешь.

Менахем на мгновение замер; застыл с широко открытыми глазами, словно вслушиваясь во что-то неслышимое, и вдруг резко, рывком метнулся в сторону. Но ему удалось пробежать не больше пяти шагов, оступаясь и скользя по

гладкой, осыпающейся под подошвами его сапог гальке, когда сильный удар сбил его с ног - реакция Авигодора оказалась быстрее.

Действительно, никто из отдыхающих на пляже даже не обернулся, когда Авигодор с размаху ударил беглеца прикладом, а потом, уже лежащего, несколько раз пнул его ногой. Залитый солнцем и пестрый от разноцветных бикини и ярких надувных матрацев морской берег оставался бесстрастным, как театральная декорация. Менахем скорчился на земле, пытаясь прикрыть голову руками.

- Вставай, - последовал короткий приказ.

Менахем с трудом поднялся на колени, затем, пошатываясь, встал.

- К стенке!

Он отступил к шероховатой серой стене, мысли вдруг разом оборвались, только кровь отчаянно билась в висках, наполняя голову невыносимым шумом. Авигодор, не тороясь, снял с плеча и вскинул автомат...

В этот момент к ним подошла средних лет дама в пятнистом купальном халатике и, с плохо скрываемой неприязнью глядя на двух совершенно не по-пляжному экипированных мужчин, сказала: «То, что вы собираетесь делать, конечно, ваше личное дело, но вам следовало бы выбрать для этого менее людное место.» И уже помягче добавила: «Дети могут испугаться.»

А потом они долго брели по выбеленной солнцем литорали - узкой полоске земли, зажатой между морем и бетонной набережной, один - страдая от невыносимой жары, другой - трясаясь в ознобе и обливаясь холодным потом; и Менахем спросил: «Почему ты непременно хочешь расстрелять меня возле этого проклятого моря?», а Авигодор ответил ему: «Так романтичнее.» Галька под их ногами сменилась скользкими, отполированными морем валунами, и идти становилось все труднее. Здесь уже не было видно отдыхающих, купающихся и загорающих людей, только вдали, почти у самого горизонта, маячил среди волн одинокий катер береговой полиции.

- Стой! - скомандовал, наконец Авигодор. - Они остановились. - Я думаю, здесь вполне подходящее место. Ты готов? Может быть, хочешь помолиться или что-нибудь сказать на прощание?

Менахем только отрицательно качнул головой.

- Ну что ж, тогда... - Авигодор плавно поднял автомат, целясь приговоренному прямо между глаз.

- Только не стреляй в голову! - не выдержав, взмолился Менахем.

- Но почему? - удивился Авигодор. - Так будет гораздо быстрее, а следовательно и менее болезненно. Или, может быть, ты боишься быть обезображенным даже после смерти? - поинтересовался он с издевкой. - Не беспокойся, смерть отвратительна в любом ее проявлении; даже самое красивое лицо становится омерзительным, покрываясь трупными пятнами. А уж после того, как ты пролежишь три дня под этим южным солнцем, сомневаюсь, что еще отыщутся охотники полюбоваться твоей смазливой внешностью.

- Разве ты меня не похоронишь?

- Это не входит в мои обязанности, - ответил Авигдор сухо.- Думаю о тебе, вернее о твоих бранных останках, позаботятся муниципальные власти. Они, конечно, достаточно либеральны по отношению к любому проявлению инакомыслия, но не настолько же, чтобы терпеть прямо у себя под носом гниющий труп. Ну, а если нет - с тобой прекрасно управятся крабы. Ты заметил, как их тут много? Впрочем, не бери в голову, когда их клешни вопьются в твою плоть, ты уже ничего не будешь чувствовать.

Менахем на секунду отвел глаза от направленного ему прямо в лицо дула и, скользнув взглядом по каменистой отмели, содрогнулся: теплая мутно-зеленая вода у самого берега шевелилась и буквально кишела черными, похожими на гигантских пауков, крабами, самые крупные из которых были величиной с ладонь.

- О Боже! - невольно вырвалось у него. - Ладно, давай поскорее кончать с этим! - он нетерпеливо махнул Авигдору рукой.

Глухо щелкнул курок, но выстрела не последовало. Осечка. Авигдор пожал плечами и снова прицелился. Прошло еще несколько мучительных секунд. Опять сухой щечок и опять осечка, у Менахема вырвался сдавленный вздох...

- Не пойму, что с ним сегодня случилось? - Авигдор присел на валун и, не спеша, принялся разбирать автомат. - Наверное, патроны отсырели. Здесь очень влажный климат, ты обратил внимание? Почти, как в тропиках, влажно и жарко, да и растительность немного смахивает на тропическую..., всякие там лианы..., впрочем, я не биолог. Да и ты, бьюсь об заклад, никогда там не был. Ты хоть что-нибудь успел повидать за свою жизнь?

Менахем хранил молчание.

- Ну ладно, давай попробуем еще раз.

И снова, точно в замедленном кино, темный, матово поблескивающий ствол, не спеша, поднимается на уровень лица, палец ложится на спусковой крючок, щелчок - и Менахем медленно осел на землю.

Очнувшись, он увидел склонившегося над ним Авигдора. Пару минут они молча смотрели друг другу в глаза, потом Авигдор отстегнул от пояса флягу с водой и протянул ее Менахему.

- Ты, похоже, перегрелся на солнце? - поинтересовался он с фальшивым участием. - Послушай, у меня есть предложение: если ты не очень торопишься на тот свет, может быть, сходим перекусить в ближайшее кафе? Я уже не помню, когда ел в последний раз; полагаю, и ты тоже.

- Нет, уж лучше закончим все сейчас, - пробормотал с трудом приходящий в после обморока Менахем. С видимым усилием он приподнялся и сел, опираясь спиной на парапет. - Прошу тебя, не будем терять время понапрасну.

Авигдор взглянул на него в некотором замешательстве.

- Сожалею, но ничем не могу помочь. Видимо, мне придется приобрести новые патроны, эти совершенно никуда не годятся. - он демонстративно развел руками. - Не понимаю, куда ты так спешишь? У тебя что, свидание на том свете

назначено? Я, конечно, мог бы прикончить тебя штыком, или ножом перепилить сонную артерию, или булыжником размозжить голову... но тебя ведь приговорили к расстрелу, а не чему-то иному, разве не так?

- Ну хорошо, - смирился Менахем. - Тогда купи мне чего-нибудь выпить.

В маленьком приморском кафе оказалось неожиданно прохладно, приятно и, почти по-домашнему уютно. Они расположились на просторной, увитой цветущим плющем веранде за покрытым белоснежной скатертью столиком. Столик украшал аккуратный букетик из засушенных трав и колосьев, а в глиняной плошке плавала крошечная свечка из бледно-голубого воска, похожая одновременно и на экзотическое водное растение и на тающий в бокале с шампанским кубик льда.

- Судак в винном соусе и две бутылки «Кармеля», - кивнул Авигдор официанту и, откинувшись на стуле, неторопливо, с видимым наслаждением закурил.

Менахем терпеть не мог «Кармель», но сейчас ему было просто необходимо хоть чем-нибудь задурманить голову. Он пил, почти не ощущая вкуса, отчаянно надеясь, что в такой жаркий летний день даже легкое вино способно опьянить, и точно: уже после третьего бокала нервная дрожь понемногу улеглась и даже его бледные щеки слегка порозовели.

- Тебе лучше? - спросил Авигдор почти участливо, вглядываясь в его лицо.

- Зачем ты меня мучаешь? - отозвался Менахем, не поднимая глаз, сосредоточенно разглядывая свои тонкие, потемневшие от въевшейся грязи и копоты пальцы. - Зачем превращаешь казнь в развлечение? Что плохого я сделал лично тебе?

- Я тебя мучаю? - удивился Авигдор. - Это как же, интересно?

- Зачем ты притащил меня сюда, в этот неизвестно где находящийся город? Почему не застрелил сразу, на месте, как и должен был по уставу? Что, вообще, мы делаем здесь?

- Я хотел, - с расстановкой произнес Авигдор, - чтобы ты хоть раз, хотя бы на прощание увидел жизнь такой, какой она должна быть. Такой, какой ты ее не застал, и какой она, наверное, когда-нибудь станет, только, увы, уже после твоей смерти.

- Это жестоко. - прошептал Менахем.

- Вовсе нет. - возразил Авигдор. - Жестоко уводить человека из жизни, так и не показав ему, как он мог бы жить, сложись все иначе. Нереализованная реальность, Менахем, так же реальна, как и та, которую мы в данный момент проживаем. Все зависит только от того из какой точки пространства-времени ты на нее смотришь...

Менахем вздрогнул, услышав свое имя, и поднял голову:

- Я не просил мне ничего показывать! Я вовсе не хотел знать..., - он запнулся.

- Скажи, ты всегда поступаешь так?

- Всегда? - переспросил Авигдор с легким оттенком изумления. - Ты думаешь, я каждый день расстреливаю людей?

- А что, это первый раз?

- Ну, может быть, и не первый... - грустная, чуть заметная улыбка скользнула по губам Авигдора, но Менахем не заметил ее. А если и заметил, то, наверняка, неправильно истолковал. - А тебе приходилось когда-нибудь... расстреливать?

Менахем только покачал головой.

- Господи, да ведь мы каждый день друг в друга стреляем! Хотя это, конечно не совсем одно и то же... Здесь и сейчас происходит что-то совсем другое, я чувствую это, хотя и не знаю почему... - он беспомощно и растерянно взглянул на Авигдора, словно ища у него подсказки. - Послушай, та женщина на пляже, действительно, понимала, что ты собирался со мной сделать?

- Можешь не сомневаться. - ответил Авигдор жестко. - Уж не думаешь ли ты, что эти люди должны были за тебя вступиться? В их глазах ты преступник.

- Я не совершил никакого преступления.

- Ты дезертир и предатель.

- Я никого не предал.

- Я знаю. - Авигдор загасил сигарету и теперь медленно, с деланным безразличием потягивал красное, до отвращения сладкое вино. Он сидел в густой тени, и только до краев наполненный бокал, преломляя пляшущий свет свечи, отбрасывал тревожные рубиновые блики на его лицо. - Однако и приговор тебе вынес не я. Но я обязан его исполнить.

Менахем встал так стремительно, что едва не опрокинул столик; вода в плошке плеснула, и крохотный плавающий огонек погас.

- Ладно, пойдем же, наконец, купим твои чертовы патроны или что там тебе нужно, чтобы меня прикончить.

Авигдор расплатился с официантом, и они вышли.

Своей западной окраиной город упирался в море, восточной плавно переходил в выжженную солнцем, поросшую колючим низкорослым кустарником степь (что, кстати опровергало предположение Авигдора о тропической природе здешнего климата), ну, а в самом сердце его располагался базар. Настоящий яркий южный базар, гудящий тысячью возбужденных голосов, пахнущий рыбой, пряностями и переспелыми фруктами, пестрящий безвкусыными нарядами, экзотическими тканями, украшениями и безделушками, и Бог знает, чем еще. Некоторые торговали с лотков, другие в маленьких закрытых лавочках, третьи, а их было большинство - разложили свой товар прямо на земле. Непривыкший к мирной людской суе Менахем чувствовал себя неуютно в этой оживленной, шумной толпе. От страха, жары и выпитого натошак вина его слегка мутило, глаза болели от нестерпимого обилия ярких цветов; и, оставив всякую мысль о побеге, он потерянно жался к Авигдору, взглядами, нетерпеливыми жестами торопя его: давай скорее купим то, зачем пришли и

уйдем отсюда! К морю, к крабам, раз уж все равно этого не избежать; давай же, наконец, покончим со всем этим...

Но Авигдор, казалось, никуда не спешил. Он медленно шел между рядами торгующих, с удовольствием разглядывая людей и товары; автомат свободно болтался у него на плече, словно ненужный элемент театральной декорации.

- Постой-ка, - он внезапно тронул Менахема за рукав. - Послушай.

Прямо в нескольких шагах от них, на красноватом обломке гранитной породы сидела совсем юная, светловолосая девушка в простом бежевом платье, уронившая к ногам целую россыпь разноцветных ракушек, и, ни на кого не глядя, тихо пела.

Менахем невольно замедлил шаг и остановился, такой неожиданно красивой и как будто смутно знакомой вдруг показалась ему песня.

- Она не в своем уме, - сказал Авигдор. - Но это не имеет значения.

Они стояли, обтекаемые со всех сторон гладким, безликим потоком людей, словно вырванные из обычных пространства и времени; и все трое даже не заметили, как потускнели краски дня, как длиннее сделались тени. Стремительно клонящееся к горизонту солнце залило неестественно-оранжевым светом рыночную площадь, и резкие черные силуэты птиц потянулись к побережью, перечеркивая небосвод широкой черной полосой, будто стелящийся из гигантской трубы смолянисто-угольный дым.

Первым очнулся Авигдор.

- Пойдем. - сказал он и слегка подтолкнул Менахема прикладом. - Скоро наступит ночь.

В южных широтах сумерки длятся недолго, а закатный час мимолетен, как промелькнувший по небу метеорит. Природа еще билась в предвечерней агонии, истекая зловещим, с каждой минутой меркнувшим красным свечением; а море уже потемнело и по всему берегу поднялся холодный, пронизывающий ветер. Даже крики чаек изменились: стали протяжными и гулкими, словно доносящиеся откуда-то глубоко из-под земли человеческие голоса.

А Авигдор тем временем извлек из кармана маленькую, продолговатую коробочку и, открыв, брезгливо заглянул в нее.

- Опять этот старый торгаш продал мне какое-то барахло вместо патронов. Этим только ворон путать. - он вздохнул. - Мне не хотелось бы понапрасну тебя мучить, но боюсь, с первого раза застрелить тебя не получится... - он помедлил, словно раздумывая. - Придется стрелять раз семь или восемь, но, честное слово, это не моя вина.

- Я не видел, как ты их покупал. - с все возрастающим ужасом прошептал Менахем.

- Меня это не удивляет. - заметил Авигдор, деловито перезаряжая автомат. - По-моему, ты уже и камней под своими ногами не видишь... И, вообще, я не понимаю, почему ты так боишься? Страшнее смерти ведь все равно ничего не будет.

Он улыбнулся какой-то немного странной, отстраненной улыбкой.

- Я столько людей проводил до этой черты.

- И что же там, за чертой? - внутренне содрогаясь, спросил Менахем.

- Я этого не знаю. - ответил Авигдор спокойно. - Это ведь только от тебя самого зависит... Ну, что, ты готов, я полагаю? Или все еще нет?

Он непринужденно держал в руках заряженный автомат, испытующе, внимательно разглядывая свою дрожащую, скорчившуюся от мучительного страха жертву. Но Менахем уже почти не видел его: слезы застилали ему глаза. На побережье стало еще темнее. Звезды начали зажигаться над их головами. Где-то далеко, сквозь плотный черный туман стремительно опускающейся ночи смутно и тревожно мерцали тусклые, манящие огни.

- Ну чего ты от меня хочешь, в конце концов? - почти простонал Менахем. Почему ты опять не стреляешь? Ты будешь стрелять или нет?

- Буду, но только когда ты прекратишь истерику.

- Но почему? - прошептал Менахем, почти теряя рассудок. - Я не понимаю...

- Боюсь, тебе придется понять. - сказал Авигдор, снова закидывая автомат на плечо. - Пойдем, переночуем в гостинице. У тебя будет достаточно времени до завтрашнего утра.

А потом они долго брели сквозь ночь по черной, подсвеченной слабым светом звезд степи; город словно куда-то исчез, только вдалеке, у самого горизонта, призрачно вырисовывались мрачные прямоугольные силуэты домов. Менахем постоянно спотыкался и несколько раз чуть не упал: земля под его ногами была неровной, вся в выбоинах и ямах; идти по ней было трудно, но манящие вдали огни влекли его, а Авигдор подталкивал сзади прикладом, лишь только он замедлял шаг.

Гостиница вынырнула перед ними прямо из темноты — уродливое черно-красное здание, освещенное тускло-серым светом подвесных фонарей, большое и страшное. Менахему не хотелось заходить, но Авигдор взял его за руку и увлек внутрь.

Во время шикарного ужина в гостиничном ресторане они не обменялись и парой слов. Менахем ел все подряд, не поднимая глаз от тарелки и практически не различая вкуса блюд. Ему хотелось напиться и наесться до бесчувствия. Он смутно осознавал, что они одни в огромном зале, что длинный по-праздничному накрытый стол буквально ломится от обилия деликатесов, что только для них двоих играет целый оркестр, искусно скрытый тяжелым бархатным занавесом, что легкая, пьянящая, практически неосязаемая, словно прозрачный летний ветерок музыка наполняет воздух. Он смутно догадывался о вопиющей абсурдности происходящего; но, возможно, к счастью для него, его способность критически воспринимать реальность сильно пострадала за последние несколько часов.

- Не беспокойся об этом, Менахем, - вдруг неожиданно мягко произнес Авигдор, слегка коснувшись кончиками пальцев его безвольно лежащей на столе

руки, и Менахем поднял голову. Странная, неуловимая музыка, непринужденно порхающая по залу, переливалась всеми мыслимыми и немыслимыми цветами и оттенками, кружила голову, отнимала разум, заставляла прощать и забывать. Они пили красное вино и смотрели друг другу в глаза.

А потом, уже полупьяные, они с трудом добрались до своего номера. Менахем несколько раз упал на лестнице, ступеньки были ужасно скользкие, словно от пролитой крови или вина; и Авигдор, сам еле держась на ногах, втащил его в комнату и забросил на кровать.

Глаза Менахема сомкнулись сами собой - и мир исчез. И снова они на этом жутком побережье, усеянном уродливыми, неправильной формы камнями, и в море копошатся уже не крабы, а гигантские водяные пауки. Их черные щупальца вздымаются и опадают в такт набегающим волнам, так что не очень внимательный сторонний наблюдатель мог бы, пожалуй, принять их за водоросли. Но Менахем видит, как они открывают свои голодные рты, как дрожат от нетерпения, готовые в любую минуту броситься на убитого или смертельно раненого человека.

А Авигдор целится, уже не в голову, а в живот приговоренному. Выстрел - и Менахем согнулся, едва сдерживая вопль боли и ужаса, из-под его пальцев, которыми он инстинктивно пытается зажать рану, течет кровь. Еще выстрел - и он упал на колени. Камни в радиусе почти двух метров от него быстро краснеют, наливаясь кровью, словно голодные клещи, привлеченные запахом смерти; из воды начинают медленно выползать отвратительные морские чудовища. Охваченный ужасом и смертельной тоской, Менахем поднимает глаза - и тут его взору предстало нечто такое, чего он никак не ожидал здесь увидеть.

А увидев это, он закричал...

Он кричал и кричал, пока не почувствовал, как кто-то трясет его за плечи. Он услышал прямо над собой ласковый голос Авигдора:

- Тише, успокойся; это был всего лишь сон. Только сон. не надо шуметь.

Менахем с трудом приоткрыл глаза, из которых еще не успели исчезнуть ни ужас, ни боль, но теперь в них появилось и что-то другое - понимание.

- Авигдор, - прошептал он чуть слышно. - Авигдор, кто ты? Ведь ты никакой не Авигдор Шакед, ведь нет же? Послушай, я знаю, кто ты такой: ты - Ангел Смерти, который должен проводить меня до ворот ада или рая... Скажи, это правда?

Авигдор придвинулся к нему еще теснее и слегка обнял его одной рукой - но не проронил ни слова. Его губы казались серебряными в тусклом зеленоватом свете луны. В оконное стекло глухо бился ветер.

- Пожалуйста, Авигдор, скажи, что это так, - снова зашептал Менахем. - Или скажи хоть что-нибудь, только не молчи, мне страшно... И все-таки, что же там будет в конце пути? Ах да, я помню, ты говорил, что не знаешь, что это от меня самого зависит. Но как это может от меня зависеть, если моя жизнь уже окончена? Ведь фактически я уже мертв, да Авигдор? Я сейчас как бы с тобой, в

этой гостинице, но на самом деле мое мертвое тело с прострелянной головой осталось где-то в другом, реальном мире, в котором холодно и идет дождь, распростертое на скользких, обледеневших ступенях лестницы. Я знаю, что это так; я почти помню это...

Авигдор медленно покачал головой.

- Ты не можешь этого помнить.

- Я видел это во сне, в последнее мгновение моего сна.

- Ты бредишь, Менахем. - Авигдор встал и взял с прикроватной тумбочки наполовину наполненный какой-то темной жидкостью стакан. - На, выпей-ка лучше.

Менахем осушил стакан одним глотком.

- А что, в чистилище все пьют только «Кармель»? - спросил он Авигдора и засмеялся.

На следующее утро ни один из них не сделал попытки возобновить ночной разговор. За завтраком Менахем был сосредоточен и бледен, но держался почти спокойно. И снова они сидели одни в огромном, богато декорированном зале, вся гостиница будто вымерла (а может быть, в ней никого никогда и не было, кроме них?), и даже музыка смолкла. Высокие зеркала на стенах излучали странное желтоватое сияние, словно поверхность осеннего озера в спокойный, бессолнечный день. Они были холодны и пусты, и практически ничего не отражали. Все звуки, краски, движения и образы перестали существовать, только изредка тишину нарушало тихое позвякивание дорогой фарфоровой посуды, или неизвестно откуда взявшийся солнечный зайчик лениво пробежал по столу.

Они позавтракали в молчании и вышли из прохладной гостиницы в удручительно-жаркий летний день.

Все, вроде бы, выглядело обычно, и жизнь (или это была лишь ее искусная имитация?), казалось, шла своим чередом. От города не осталось и следа, исчезли и дома вдаль. На сколько хватало глаз, до самого горизонта, простиралась однообразная, поросшая низкорослым колючим кустарником степь, выжженная и серая. И только высоко в небе кружил казавшийся с земли диковинной хищной птицей вертолет.

«Интересно, в какой стороне море?» - подумал Менахем, с недоумением и тревогой озираясь по сторонам. Что, конечно же не укрылось от внимания Авигдора.

- Ты что-нибудь ищешь? - спросил он резко.

- Я просто не могу понять, куда мы идем, - ответил Менахем после минутного замешательства.

Ему не хотелось злить своего палача (кем бы тот в действительности ни был); впрочем, терять ему тоже было нечего.

- Куда идем? Да никуда конкретно, - Авигдор вытянул руку и указал на заросли кустарника в нескольких метрах от них. - Посмотри, степь горит.

И правда, часть кустов была охвачена огнем. К счастью, ветра не было, иначе сухой кустарник вспыхнул бы и выгорел до тла в считанные секунды. Медленно, точно живое, пламя ползло по зеленым веточкам, прямо на глазах превращавшимся в черные, мертвые, и пожирало их дюйм за дюймом. Зрелище отдаленно напоминало библейский нестгораемый куст, из которого, более двух тысячелетий назад, Бог говорил с Моисеем в пустыне.

- Что это такое? - искренне удивился Менахем.

- Самовозгорание, я думаю, - ответил Авигдор так, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся. - Давай поторопимся; возможно, мы еще успеем что-нибудь сделать.

Он бросился к кустам, сорвал с себя рубашку и принялся сбивать ею пламя. Помедлив пару минут, Менахем последовал его примеру. Горящие ветви ярким дождем опадали на землю, и они затапывали их своими тяжелыми солдатскими сапогами. Под их ногами уже начала гореть сухая трава, жар становился нестерпимым, в лицо летели колющие, обжигающие искры.

Хотя Менахем и не видел никакого особенного смысла в том, что они делали, мысль погибнуть в огне ему нравилась. Сгореть дотла, чтобы ничего не осталось; разве что жалкая горстка пепла, которую разнесет потом по степи горячий ветер. Не умереть, а выжечь свою жизнь прочь из сознания Земли; и это будет так, как будто он никогда и не появлялся на свет. Как будто он никогда не бродил под этим ослепительно синим небом, или под другим - тяжелым и неуютным, обложенным черными, холодными тучами. Никогда не убивал и не был убит.

Почти с радостью наблюдал Менахем, как безмолвно разрастается пламя, как замыкается вокруг них огненный круг. А потом - от жары ли, от дыма, или от невыносимо яркого света у него закружилась голова, он пошатнулся и закрыл глаза. И сразу все исчезло - запах гари, обжигающее дыхание огня, тихое, злое, потрескивание горящих веточек. И Менахем уже почему-то не стоял, а лежал на земле, вдыхая свежий, с запахом моря (к которому теперь явственно примешивался аромат каких-то диких цветов) воздух и ощущая на своих волосах, щеках, шее чьи-то бережные, почти неощутимые прикосновения. Да, кто-то осторожно гладил его; как мать, которая не в силах сдержать своей нежности, ласкает уснувшего ребенка, боясь разбудить его или испугать во сне. Менахем с трудом приподнял отяжелевшие веки. Над ним, на неправдоподобно синем фоне южного неба плавно покачивались ветви цветущей акации. И никого не было рядом, кроме...

- Авигдор... - прошептал Менахем. - Авигдор, мне только что приснился странный сон. Мне снилось, будто степь горела.

- Она и сейчас горит, - сказал Авигдор, стоящий на коленях подле своего распростертого на земле спутника. - Ты потерял сознание и я вынес тебя из огня.

- Я не верю... - пробормотал Менахем, приподнимаясь.

- Во что не веришь?

- Все это только мираж, иллюзия: гостиница, где мы ночевали, рынок, беседка... Степной пожар... Он исчез, стоило мне только закрыть глаза.

- Нет, произнес Авигдор мягко. - Мы ушли оттуда. Я нес тебя на руках. Сейчас мы находимся совсем в другом месте.

Но Менахем только упрямо покачал головой.

- Нет никаких других мест. Место всегда одно и то же, только декорации меняются. Как только я отворачиваюсь или отвожу взгляд, весь мир в одно мгновение рушится и воссоздается заново. Все, что я вижу сейчас, существует только до тех пор, пока я не перестану на это смотреть. А потом просто исчезнет, растворится, станет ничем... или чем-то другим.

- Надо же, - удивился Авигдор, - я и раньше слышал, что некоторые от ожидания смерти сходят с ума, но своими глазами наблюдаю это впервые.

- Ну и как, интересно? Неправда ли, занятно наблюдать, как человек, целиком отданный в твою власть, медленно теряет рассудок от страха? Ты хочешь сказать, что у меня поехала крыша..., ну и что с того? - Менахем равнодушно пожал плечами. - Пристрели меня, наконец, и дело с концом.

Улыбка сбежала с лица Авигдора. Он поднялся на ноги, отряхнул налипший на брюки песок и презрительно сплюнул.

- Ты ничтожество, - сказал он жестко. - Я вывел тебя из горящего города. Я привел тебя в самое прекрасное место, которое только знал, где нет ни войны, ни вечной промозглой сырости. Где всегда тепло и светит солнце. Я устроил для тебя настоящий праздник жизни, с ресторанами, цветами, вином и музыкой. А ты только ходишь и хнычешь: пристрели меня, добей меня! Видно, ты и в самом деле очень хочешь умереть... хотя я и не понимаю, почему. Ну что ж, - он нагнулся и поднял с земли небрежно валяющийся в стороне автомат. - Пойдем, на этот раз осечки не будет.

И они прошли по песчаному, безжизненному пустырю, на котором не росло ничего, кроме нескольких кустиков полусохшей травы. Потом по узкой городской улочке, зажатой между глухими стенами домов. Потом по пустынной бетонно-серой набережной. И за все время пути им не повстречался ни один человек, не проскочила мимо ни одна собака, не пролетел по небу ни один самолет, в воздух не поднялась ни одна птица... Не было больше ни жары, ни ветра, и даже южное летнее солнце светило как-то тускло из-за матово-серых, неподвижных облаков. Весь мир, еще недавно такой оживленный и полный движения, сделался вдруг странно-пустым. Словно уже частично перешагнул за грань небытия. Или ему просто надоело так долгл притворяться живым.

По крутой каменной лестнице они спустились на пляж. Авигдор остановился, Менахем прошел еще несколько шагов вперед и повернулся к нему лицом.

Он искоса бросил быстрый взгляд в сторону моря и со вздохом отвернулся. Вода стала такой же мертвой, бесцветной, без единой капли синевы, невыразительной, как и все вокруг. В ней равнодушно отражалось перевернутое, блекло-серое небо.

Некоторое время они стояли молча. Наконец, Менахем поднял глаза.

- Ну, что же ты? - спросил он тихо.

Авигдор нервно оглянулся через плечо. Должно быть, и ему было немного не по себе из-за этой неотвратимо сомкнувшейся вокруг них всепоглощающей пустоты и неподвижности. Он выглядел неуверенным и слегка растерянным. «Разве Ангелы могут испытывать растерянность? - апатично подумал Менахем. - Наверное, да; во всяком случае те из них, которым по долгу их службы приходится общаться с людьми. Очевидно, для этого в них самих должно быть много человеческого.»

«Что он теперь должен делать? - размышлял Менахем, без малейшей неприязни, со спокойствием бесстрастного зрителя вззирающий на своего палача. - Ведь я уже готов, в моей душе больше не осталось ни страха, ни сожаления... Так почему же он медлит?»

- Неужели ты так до сих пор ничего и не понял? - спросил Авигдор, пристально вглядываясь в побледневшее, осунувшееся лицо своей жертвы.

- Что я должен был понять?

- Что я не хочу тебя убивать.

Менахем только слегка улыбнулся слабой, безвольной улыбкой.

- Но ведь у тебя есть приказ.

«Приказ, Авигдор, - добавил он про себя, - которого ты не смеешь ослушаться. Потому, что исходит он не от людей, а от Того, чьи приказы не подлежат обсуждению. Потому, что ты всего лишь Исполнитель.»

- Послушай, Менахем, - произнес Авигдор негромко и настойчиво; так, словно хотел достучаться до его ослабевшего, угасающего разума. - Мы здесь только вдвоем, и нас никто не знает. Я достану тебе фальшивые документы, и мы растворимся, затеряемся среди местных жителей. Станем одними из них. Нас никто не будет искать, а через несколько лет мы, наверное и сами забудем, кто мы и откуда пришли...

- Нет, - прошептал Менахем, в ужасе заслоняя лицо рукой. - Это не правда... я не верю тебе...

Но слишком поздно, зло уже свершилось. Краски медленно, но неотвратимо возвращались в мир. Море стало синеть, неподвижные облака дрогнули и поплыли по внезапно наполнившемуся светом небу. И легкая серебристая фигурка чайки, непринужденно скользя в потоке теплого воздуха, по причудливой спирали снижалась к заигравшей солнечными переливами поверхности воды.

- Нет, - повторял он в бессильном отчаянии, тщетно пытаясь удержать в сознании ускользающую прочь успокоительно-мертвую картину. - Ты издеваешься надо мной. Ты хочешь заставить меня снова на что-то надеяться... Сейчас, когда я уже от всего отстранился и мог бы почти безболезненно умереть...

- Мы будем жить в гостиницах и обедать в маленьких уютных рестораничках на берегу моря, - продолжал Авигдор, словно не слыша его, - мы с тобой.

Мы будем гулять по тихим, затопленным солнцем улицам и покупать фрукты и рыбу на городском рынке. А когда опустится вечер, город заснет, и мы останемся вдвоем...

- Не понимаю, - нетерпеливо перебил его Менахем. - Ты хочешь сбежать и поселиться здесь... Что ж, я могу себе это представить. Но при чем тут я?

Авигдор усмехнулся.

- Без тебя все это не имеет смысла. Я хочу быть с тобой, разве тебе не ясно? Тебе ведь уже не двенадцать лет.

- Я не... - начал Менахем, но тут же запнулся. Он уже понял.

И внутренне сжался, поник, точно его ударили. Такого он не ожидал. Этот похотливый, жадный огонь в глазах Авигдора, его грубые, бесцеремонные прикосновения, слишком неумело замаскированные под сочувствие и заботу. Так неужели, - Менахем судорожно сглотнул, пытаясь отделаться от неприятного привкуса во рту, - неужели ему предстоит пройти еще и через это?

Он ни минуты не сомневался, что Авигдор все равно его убьет, после того, как надругается над ним.

- И еще мне показалось, - говорил между тем Авигдор, лаская его горячим, нетерпеливым взглядом, - что и ты тоже равнодушен ко мне. Но тебе мешал твой страх. Или, может быть, я ошибся? Неправда ли, я тебе тоже нравлюсь? - спросил он неожиданно вкрадчиво, но Менахему в его тоне послышалась плохо скрытая издевка. - Скажи, не бойся, теперь уже нечего бояться.

- Ты заблуждаешься, - бессильно пытался протестовать Менахем.

Но Авигдор улыбался уверенно и спокойно.

- Нет, это ты заблуждаешься, мой дорогой. Ты видишь вещи такими, какими они в твоём представлении должны быть. Но это только твои иллюзии. Отбрось их прочь, и ты разглядишь то единственное, что на самом деле находится перед тобой. Кстати, - спросил он вдруг, - что ты видел вчера, когда мы шли от моря к гостинице?

Менахем уже с трудом понимал, что говорит Авигдор, но видел, что его лицо снова неумовимо изменилось. В его жестких чертах проступило что-то смутно-знакомое... Еще не узнанное пока, но будившее странные, тревожные предчувствия. Какие-то полузабытые ощущения на грани воспоминания и сна.

Менахем неуверенно пожал плечами.

- Полагаю, то же самое, что и ты... Черную дорогу, черные ямы в земле, уродливые дома и тусклые огни вдали, за горизонтом.

- Это дорога в Ад, - сказал Авигдор.

- В ад? Но почему же? - Менахем попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной, жалкой. - Я не сделал в своей жизни ничего особенно плохого. Что ж, я убивал, но ведь на войне иначе нельзя...

- Не в этом дело, - покачал головой Авигдор. - В твой душе нет мира, в нее не проникает свет любви. Это дорога в Ад.

Менахем несколько минут молчал, обдумывая его слова, потом кивнул, соглашаясь. Он стоял, опустив глаза и разглядывая грязно-серые камни у себя под ногами. Не решаясь поднять взгляд на Авигдора, боясь увидеть выражение его лица. Боясь увидеть вдалеке, в тумане, тускло-серый, зовущий огонь маяка. Наконец он решился.

- Хорошо, Авигдор, покажи мне другой путь, - прошептал он чуть слышно. - Если еще не слишком поздно...

- Так ты этого хочешь? - в голосе Авигдора теперь звучало почти нескрываемое торжество. - Тогда подойди сюда, - скомандовал он. - Подойди ближе.

Медленно, точно загипнотизированный, Менахем приблизился. Он поднял голову и застыл, изумленный. Авигдор смотрел на него, слегка улыбаясь, и глаза его были не стального серого цвета, как раньше, а теплые и карие, как у самого Менахема. И уже не похоть увидел он в них, а любовь, такую безграничную, что в ней хотелось раствориться... сорваться в ее уютную глубину, как звезда в глубокий колодец. А его улыбка... Менахем словно заглянул в зеркало и увидел там самого себя. Но не униженного, измученного и испуганного, а совсем другого, гораздо старше и мудрее.

Ангел с его собственным, Менахема, лицом смотрел на него сострадательно и печально.

«Это иллюзия, - подумал Менахем, в последней отчаянной попытке отогнать безумное наваждение. - Фантазмагория, порождение моего больного ума.»

Он призвал на помощь всю свою ослабевшую волю, изо всех сил стараясь вернуть рассыпающуюся реальность. Не дать ей окончательно соскользнуть в черную пропасть безумия.

Но реальность не возвращалась. Мираж не развеивался. Ангел с лицом Менахема еще больше приблизился и положил руки ему на плечи. Еще мгновение, и Менахем содрогнулся, почувствовав прикосновение его губ к своим губам. Поцелуи Авигдора были печальными и светлыми, с едва ощутимым привкусом горечи. И почему-то воскрешали в памяти картины ранней осени, когда деревья стоят тихие, неподвижные и золотые. А утренний туман пахнет гарью костров и пряной сладостью догнивающих в мокрой, опавшей листве яблок. «А ведь я еще ни разу ни с кем не целовался, - грустно удивился Менахем. - Как бездарно прошла жизнь...» У него все больше и больше кружилась голова.

Наконец, Авигдор отстранился и слегка оттолкнул его от себя. Когда он заговорил снова, голос его прозвучал неожиданно жестко, почти грубо.

- Я, разумеется, мог бы взять тебя силой, но это не в моих правилах. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?

- Да, - ответил Менахем.

Он и в самом деле понимал. «Воссоединение, - мелькнула в сознании четкая, словно кем-то подсказанная мысль. - Он - это я, а я - это он, и мы должны воссоединиться...» У него уже не было больше сил сопротивляться.

- То, что сейчас произойдет между нами, должно произойти добровольно, - сказал Авигдор.

- Да, - снова ответил Менахем.

- И что ты скажешь?

- Что я должен сказать? - он пожал плечами. - Делай то, что считаешь нужным, мне все равно.

- Нет, тебе не должно быть все равно.

- Ну, хорошо, - Глаза Менахема вдруг сверкнули. - Мне не все равно.

- Вот так-то лучше, - прошептал Авигдор, с силой сжимая его в объятиях и увлекая за собой на землю.

И снова мир исчез. Краткие мгновения боли сменились долгими минутами небытия. Менахем потерял сознание.

И словно вернулся в продолжение своего сна. Он увидел, как он сам, Менахем, падает, раскинув руки, точно подбитая птица, плавно и беззвучно, как в замедленном кино. Ударяется головой о ступени лестницы, и лежит неподвижно, в мучительно-неестественной позе, не в силах вырваться из цепких объятий смерти. И холодный дождь хлещет ему в лицо, смешиваясь с кровью.

А потом он понял, что это не кровь, а слезы: слезы боли и невероятного облегчения. Он плачет, сидя на каменистом пляже, в пяти шагах от моря. А рядом стоит Авигдор, снова, как всегда подтянутый и бесстрастный, и смотрит на него внимательно, испытующе. Смотрит и смотрит, не отрываясь.

- Мне очень жаль, Менахем, - говорит он, наконец, - но ты был прав. Все-таки мне придется тебя убить.

- Я знаю, что я был прав, - шепчет Менахем, глядя на него сквозь зыбкую пелену слез.

И он, действительно, знал. И это был уже не психоз и не истерика. Потому, что он своими глазами видел то, что произошло потом. Видел так же реально, как море, как теплые камни под ногами, как раскаленное солнце над головой. Он видел, как Авигдор одной рукой поднял автомат, а другую протянул вверх, и чайка села на его раскрытую ладонь.

Маленький музыкант

Он никогда не играл по нотам. Играть по нотам - это все равно что рисовать картину по трафарету, так он считал. И недоумевал, когда ему говорили, что он сочиняет красивую музыку. Музыка, как любое волшебство, нельзя выдумать. Ее можно только пригласить прийти в мир.

Его настоящее имя было Цедрик, но все называли его маленьким музыкантом. Должно быть потому, что помнили, как девятилетним мальчишкой он впервые пришел на перекресток Вальдгассе и Блиспроменада, с трудом волоча за собой огромную виолончель. Его ярко-желтый свитер притягивал запоздалую осеннюю мошкарку и удивленные взгляды прохожих. А льющиеся из-под неловкого смычка звуки вплетались в мутно-серые пряди дождя и солнечными зайчиками опавшей листвы разбрызгивались по мокрому тротуару.

Цедрик не ставил перед собой пустую жестянку, как это делали другие уличные музыканты. Ему не нужны были деньги, он хотел поделиться красотой, которая жила у него внутри. Но люди все равно кидали ему монеты прямо на асфальт. В тот день маленький музыкант впервые ощутил, что у виолончели тоже есть сердце и оно бьется с его, Цедрика, сердцем в унисон.

Он стал приходить сюда по вечерам, за два часа до заката, потому что любил смотреть, как за зубчатые башенки городской ратуши опускается солнце. В жару и в листопад он сидел на углу Вальдгассе в обнимку со своей неуклюжей виолончелью, и даже зимой, когда мостовые хрустели сахарной корочкой льда и смычок выпадал из озябших пальцев.

В этом заключалась его жизнь. А еще - в странном сне, который грезился ему каждую ночь. В своем сне - таинственной реальности, находящейся за пределами «здесь» и «сейчас» - Цедрик был не просто маленьким музыкантом, рисующим яркими звуками на блеклом холсте тишины, но натурщиком, с которого Вселенная писала портрет самой себя.

Не то чтобы он верил в свою исключительность. Загадочное откровение Цедрик принял безропотно, как привык принимать все, происходящее с ним: смерть младшего брата, развод родителей, исключение из музыкальной школы за неуплату ежемесячного взноса - после ухода отца семья несколько лет нуждалась, и только повторное замужество матери принесло в дом достаток. Но мальчику одинаково безразличны были и бедность, и богатство. Круглый год он ходил в потертых джинсах и стоптанных кроссовках, а играть на виолончели его учил ветер, касавшийся струн нежнее самого тонкого на свете смычка.

Все началось с банального афоризма, случайно услышанного в церкви во время воскресной проповеди: «Спасись сам, и другие вокруг тебя спасутся». Слишком юный, чтобы понять абстрактно-иносказательный смысл фразы, Цедрик воспринял ее, как обращенную лично к нему, и даже побледнел от внезапно

нахлынувшего чувства ответственности за тех неведомых «других», чьи жизни и спасение почему-то находились в его детских руках. Так бывает, когда маленькому ребенку говорят: «Если хочешь, чтобы мама выздоровела, съешь кашку!» И несчастный малыш давится, впихивая в себя ненавистную еду, лишь бы только не навредить близкому человеку. Чудовищный и беспощадный эмоциональный шантаж.

Чем больше Цедрик размышлял над словами священника - а размышлял он над ними не год и не два - тем отчетливее понимал, насколько они верны. В школе на уроках религии его учили, что Бог сотворил мир по своему образу и подобию. Но реальность не статична, она ежесекундно изменяется, дробится, как дождь под порывами ветра, умирает и воскрешается вновь. Акт творения бесконечен, как сказали бы эзотерики и философы. По чьему образу и подобию воссоздается мир? - спрашивал себя Цедрик. - Бога - вряд ли. Ведь Бог совершен, а мир нет. Но должен существовать какой-то шаблон, иначе Вселенная погрузилась бы в хаос. Не обновляется ли мир каждый раз по образу и подобию человеческой души? Может быть, *одной* человеческой души?

Все это маленький музыкант осознал гораздо позже, а тогда, в церкви просто почувствовал: священник сказал правду. А уже следующей ночью Цедрик впервые увидел себя сидящим на огромном валуне посреди Озера Жизни. Узкие деревянные мостки соединяли камень с берегом, окропленным белыми и голубыми пятнышками цветов, за цветочной лужайкой начинался березовый лес, кружевной и прозрачный, а с противоположной стороны, на горизонте, сквозь молочный туман проступали очертания опаловых гор.

Мальчик вдыхал свежий аромат травы, и смолистые испарения древесины, и теплую ауру нагретого солнцем валуна, темно-красного, с радужными прожилками кварца. И только вода не пахла ничем. Цедрик смотрелся в нее и видел, как она впитывает его мысли, надежды, его душу, очарованную музыкой, и тот неповторимый, единственный в своем роде свет, который дается при рождении каждому человеческому сердцу.

Он, маленький уличный музыкант, был этим озером, а озеро было им, и в то же время оно было всем миром, но в ином, незнакомом проявлении, в другой его ипостаси.

Ощущение не исчезло, когда в окно детской спальни заглянуло солнце и мальчик открыл глаза. И еще долго на дешевых обоях дрожали тонкие, отраженные от воды блики, а потолок казался туманным и зыбким, точно подернутое влажной дымкой облаков небо.

Дневные заботы постепенно рассеяли воспоминание о сне, но следующей ночью он повторился, столь же пугающе отчетливый, полный звуков, запахов и красок. Цедрик обнаружил, что Озеро Жизни не пусто и не мертво. В изумрудно-золотых водорослях блуждали искристые стайки мальков, по гладкой, как зеркало, поверхности скользили элегантные водомерки, в рыжем иле копошились блестящие жуки-плавунцы. Откуда-то доносились крики птиц, стрекот

кузнечиков и что-то похожее на далекий гул взлетающих самолетов. Цедрику нравился этот странный мир. Даже чувство, что нечто заползает к нему в душу, считывает ее, выворачивает наизнанку, больше не мешало. И теперь каждый вечер и каждое утро он проходил по хлипкому мостику между сном и явью, уже с трудом понимая, где сон, а где явь.

Иногда Цедрик покидал камень и спускался на берег, лежал, раскинув руки, на мягкой лужайке среди цветов и смотрел в густо-сапфировое, пронизанное холодными ниточками серебра небо. А запах от цветов струился горький, как у ветра, прилетевшего с пожарища, и осыпались они, точно пепел, невесомыми белыми хлопьями.

Так прошло восемь лет. Цедрик заканчивал школу. Он повзрослел, повзрослела и его музыка, окрепла, расцвела колдовским фейерверком. И уже не денежки дарили маленькому музыканту прохожие, а благодарные улыбки.

Он по-прежнему ходил в линялых джинсах и оранжевой секондхэндовой курточке, но зато у него теперь была прическа из модного салона, глухая чернорыжая кошка и крошечная квартирка, правда, съемная, за которую платили мать и отчим. С развешанными по стенам рисунками, выползающими из-под дивана моделями машин, виолончелью, стоящей в одном углу и Триумфальной Аркой из папье-маше - в другом, жилище Цедрика напоминало не то музей, не то арт-мастерскую.

Свой семнадцатый день рождения он отпраздновал скромно: в компании трех самых близких друзей и девушки, которая ему немного нравилась. Он даже раздумывал, не позволить ли себе легкий флирт - почему-то это представлялось ему нечестным, не по отношению к девушке, а... Цедрик и сам не знал по отношению к кому. К его преданной подруге виолончели - о, неужели она могла ревновать? - или к Озеру Жизни, как олицетворению чего-то высшего, имевшего право запрещать и судить? Он чувствовал, что Озеро простило бы ему большую и искреннюю любовь - и виолончель простила бы - но не заигрывание с любовью.

Вечеринка получилась по-хорошему домашней, теплой. Ребята пили безалкогольный коктейль, строили планы на будущее - а когда их строить, если не в семнадцать лет? Глухая кошка, восторженно урча, крутилась под ногами.

- Ей повезло, что она ничего не слышит. Жить у музыканта! - присев на корточки, Цедрик ласково почесывал животное за ухом.

- Да еще и художника! - гостя с любопытством разглядывала радужно-дымчатые акварели. - Похоже на Рериха. Ты рисовал?

- Я.

- А это что, Bostalsee?

- Нет, это моя совесть, - засмеялся Цедрик и, сняв картинку со стены, спрятал в ящик стола. Он решил воздержаться от флирта.

Это было в начале августа, а через три недели потрясенный Цедрик прочел в блисвайлерском Вохеншпигеле (так называются многотиражки, которые выходят раз в неделю в каждом немецком городке - прим. автора) об убийстве одного из

городских штрихеров, происшествии досадном и не обычном для маленького спокойного местечка. О мотивах преступления и о том, кто его совершил, оставалось только гадать, но подозрение падало на местную фашиствующую молодежную группировку. Ну, как группировку? Пятнадцати-восемнадцатилетние пацаны, слонявшиеся по вечерам без дела, этакий немецкий вариант подростковой банды из «Заводного апельсина».

Убийство было описано в столь омерзительных подробностях, что, выбрасывая газету в контейнер, Цедрик инстинктивно отряхнул ладони. Жутко читать, как у кого-то просто так забирают жизнь. Эти парни и раньше досаждали добропорядочным бюргерам: малевали на стенах запрещенные лозунги, ломали скамеечки в привокзальном парке, мусорили во дворах и скверах. А еще - избивали турок и гомосексуалистов. И хотя Цедрик не принадлежал ни к тем, ни к другим, он вдруг почувствовал, как в сердце холодной улиткой шевельнулся страх.

И уже неприятно стало возвращаться домой по пустынным улочкам, разлинованным яркими столбиками желтых фонарей. И любой шорох заставлял маленького музыканта испуганно оборачиваться... А в озере его сна завелись большие черные жуки. Похожие на уродливых крабов, они ползали по дну и грызли опоры моста. Иногда ловили рыбок и перекусывали их жесткими клешнями пополам, и тогда вода мутнела от выплеснувшейся в нее боли агонизирующих существ.

Цедрик понимал, что попал в заколдованный круг и что чем больше он будет бояться, тем больше страха станет в его родном Блисвайлере, в Германии, в мире. Но он ничего не мог с собой поделать. Газеты запестрели кровожадными заголовками: «Ротвейлер загрыз насмерть трехлетнего ребенка!», «Безработный переселенец из России убил женщину, сбросив с автомоста десятикилограммовое полено!», «Австриец двадцать лет держал собственную дочь взаперти и прижил от нее четырех детей!»

Мысли возвращались, становясь навязчивыми, черные жуки вели себя агрессивно, с остервенением набрасываясь на все живое. Цедрик с содроганием думал, что когда-нибудь они выползут на камень, но перед этим обрушат деревянные мостки. Путь к отступлению будет отрезан, круг замкнется.

Наступил октябрь и маленький музыкант выкрасил волосы в зеленый цвет, чтобы хоть немного продлить уходящее лето. Глазами, в которых отражался тусклый небосвод, он смотрел, как на мостовые города ложатся первые листья. И, обмакнув тоненький смычок в закат, тягучий и сладкий, как малиновый кисель, расцвечивал дома и улицы, и пегие тротуары, и облака, опрокинутые в серые лужи, и массивные шпили далекого костела. Музыка огненными ручьями стекала с покатых крыш, капала с деревьев, разгоралась зарей на горизонте. И не понять было, где звуки, а где краски, так все перемешалось, слилось в яркую мелодию.

Каждый вечер на перекрестке Вальдгассе и Блиспроменада совершалось маленькое чудо, когда красота побеждала жестокость и торжествовала над страхом. Но торжество это длилось лишь несколько закатных мгновений, потому что страх подобен зову, а значит, то, чего ты больше всего боишься, обязательно придет к тебе.

Так и получилось.

Маленький музыкант шел по плохо освещенной улице после обычного ежевечернего концерта и все время поворачивал налево. Так можно было сократить путь и быстрее попасть домой. А жил он на окраине Блисвайлера, в бывшем турецко-итальянском квартале. Теперь там обитали не столько турки и итальянцы, сколько всякие асоциалы, да еще школьники и студенты, у которых не было достаточно денег, чтобы платить за хорошее жилье.

Цедрик так и не понял, кто на него напал, даже лиц не рассмотрел, только силуэты, расплывшиеся на фоне грязно-бурых осенних сумерек. Его швырнули на раскисший газон, а виолончель - на жесткий асфальт, и принялись пинать ногами с таким остервенением, будто хотели выбить из обоих жизнь до последней искры.

Лежа лицом вниз на остро пахнущей траве, Цедрик кусал губы, потому что плакать или кричать ему казалось стыдно. А виолончель кричала... рвалась, вопила всеми струнами, когда тяжелыми ботинками из нее выколачивали волшебную душу. Но никто не услышал, не пришел на помощь маленькому музыканту и его верной спутнице. Дома повернулись к ним глухими стенами, столпились вокруг, загородив мутную луну. Желтые фонари мерцали тускло и злобно.

Когда все было кончено и Цедрик с трудом поднялся на ноги, виолончель осталась лежать, неподвижная и безмолвная, затоптанная, как опавший лист. Только из трещины в деке яркими каплями сочился золотой свет.

Наверное, такое чувство бывает, когда у тебя на глазах убивают любимого человека. Страшная пустота внутри; боль, настолько сильная, что не можешь даже заплакать, и обида... Жгучая обида давила грудь, комом подступала к горлу, мешала дышать. За что с ним так обошлись? Он не делал ничего плохого. Он дарил людям музыку своего сердца, вытряхивал перед ними самые сокровенные движения души, как монетки из кармана. Должно быть, что-то не так с этим миром, если за желание дарить радость - бьют.

Маленький музыкант бережно взял умирающую виолончель на руки и отнес домой. Сам упал на диван, зарылся головой в подушку и провалился в темноту, в ночь... Он еще ни разу не был на Озере Жизни ночью. Солнце там светило всегда, и вот, оно ушло. Все стало другим, незнакомым, жутким. Внизу, возле самого камня, что-то хлюпало, урчало, шевелилось... от воды поднимался тяжелый смрад, опоры моста светились, как болотные гнилушки.

Цедрик проснулся с криком ужаса. Забрызганная серым светом комната казалась убогой и пыльной. Утро или вечер? Сколько он мог проспать?

«Успокойся, идиот, это всего лишь сон, - прошептал Цедрик, дрожащей рукой нащупывая телевизионный пульт и избегая смотреть в тот угол, где стояла покалеченная виолончель. - Ты всерьез вообразил, что от тебя что-то зависит? Посмотри, тебя смешали с грязью, но ничего не изменилось... Ведь нет?»

Все тело болело, пальцы онемели и не слушались, но ему все-таки удалось включить телевизор. Цедрик открыл в телетексте колонку новостей и узнал, что на Ближнем Востоке началась война. В Европе разразился экономический кризис. Землетрясение в Средней Азии унесло тысячи жизней. В Саудовской Аравии вспыхнула эпидемия холеры, а в Гонконге - птичьего гриппа. С беспомощным изумлением маленький музыкант наблюдал, как рушится мир.

На краю степи

Теплый вечер начала июля не предвещал ничего необычного. Вернувшись с работы, Эгон Райнерт не пошел по своему обыкновению пить пиво с приятелями - местными немцами, а остался дома, в съемной однокомнатной квартирке, аккуратной и светлой, где он - вот уже двенадцать лет - жил совсем один. Ну, а если не пить пива, то что остается делать после трудового дня, если не сесть перед телевизором с пультом в руке, бесконечно и бессмысленно переключая каналы, пока не поймашь что-нибудь приличное.

Приготовив нехитрый ужин: две разогретые в микроволновке сосиски с картофельным салатом, он устроился в кресле за низеньким кофейным столиком, взял в правую руку вилку, а в левую - телевизионный пульт, привычно надавил кнопку включения, и... испуганно застыл, не в силах отвести взгляд от экрана.

Девушка в струящемся платье цвета огня, с гладко зачесанными назад темными волосами, плавно и ритмично покачивалась в такт странной, гипнотической музыке. Словно в трансе - прекрасные и легкие, колдовские движения; нечто среднее между медленным танцем и медитативным экстазом. Прямо перед ней, почти на уровне лица, в глиняной плошке плавала зажженная свеча в форме лотоса. Живой огненный цветок легко скользил по поверхности воды. Глаза девушки, отрешенной и одновременно сосредоточенной, словно погруженной в молитву, были закрыты. Пушистые тени от ресниц подрагивали на бледных щеках.

Закрыты? Ну, нет, такими неестественно запавшими не выглядят нормальные закрытые глаза. Странная девушка, вне всякого сомнения, была слепа.

Пульт выпал из ослабевшей руки Эгона, и сам он в ужасе вжался в кресло, захлестнутый пугающим чувством дежа вю. Он никогда не видел девушку прежде, но это узкое лицо с тонкими, одухотворенными чертами было ему слишком хорошо знакомо.

Музыка стихла, и в наступившей тишине слепая девушка начала читать стихи. Ее голос звенел, а слова равномерно срывались в пустоту, словно отяжелевшие капли дождя с карниза, и сплетались в утонченно-изысканные образы-картины. Она читала стихи по-русски, а внизу, подстрочником, бежал по экрану немецкий текст. Но Эгону было не до красот поэзии. Он едва понимал смысл произносимых девушкой фраз.

Красное платье ее колыхалось на невидимом ветру... Стекало по плечам холодными бликами жемчужно-алого пламени, мягко и свободно облекая хрупкую фигуру... охватывая ее пляшущим объятием. Плошку со свечой перед ней держали чужие руки.

Этнический немец по происхождению, Эгон Райнерт появился на свет в небольшом промышленном городке. Отца мальчик потерял рано, в неполных три года. Поэтому и помнил его смутно, как нечто огромное, теплое, с сильными и ласковыми руками, в которых можно было уютно свернуться калачиком и задремать, забыв обо всем на свете... Умер ли его отец или ушел в другую семью - маленький Эгон не знал. Но ему отчаянно чего-то не хватало, чего-то такого, чему он и названия подобрать не мог.

Настоящая беда с ним приключилась в четырнадцать лет, когда после нескольких перенесенных ангин его положили в районную больницу, чтобы удалить гланды. Нехитрое хирургическое вмешательство было произведено почему-то под общим наркозом. Укол в вену, глубокий вдох через маску, и - забытье, черное, как удушливый бездонный колодец, как сон без сна. Когда через несколько часов Эгон очнулся на больничной койке в своей палате - все было уже по-другому.

Он даже не сразу понял, что изменилось, просто появилось какое-то чувство дискомфорта... странная и едва уловимая перемена в восприятии. Цвета как будто стали ярче, особенно зеленый и красный. Тошнотворно зеленый цветок на окне, вялый и наполовину захащенный. Красные полосы на одеяле, резкие, кричащие, режущие глаз. Расстояния, линии и углы слегка, но неприятно исказились, делая знакомые предметы неузнаваемыми и чужими. Горло болело нестерпимо, и Эгон, не будучи в состоянии сглотнуть, выплевывал кровь на чистый носовой платок. Наркоз еще до конца не выветрился, и мальчика клонило в сон. Но стоило смежить веки, как начинались кошмары, и чудовища, черные, уродливые, похожие на обгоревшие в лесном пожаре деревья, обступали его кровать. Тянули к нему узловатые руки-ветви, взламывали корнями пол, разевали отвратительные беззубые пасти. А потом покрывались черными чешуйчатыми листьями, окончательно перекрывая слабый, струящийся из окна свет. И Эгон, беспомощно распластанный на постели, начинал задыхаться; потому что этим бледным, исчезающим светом он дышал, как воздухом, с усилием нагнетая его в сдавленные невыразимой тяжестью легкие.

Так и промучился он остаток дня, балансируя на зыбкой грани странных, болезненных сновидений и не менее странной, болезненной яви. А на следующее утро... Дверь палаты открылась, и вошли четверо врачей. Трех из них Эгон знал в лицо: это были главврач, оперировавший его хирург и дежурный врач отделения. А четвертый - молодой, очевидно, практикант или студент - худой, высокий парень совершенно ангельской наружности. Мягкие, белокурые волосы, красивыми локонами обрамлявшие лицо, нежный румянец во всю щеку и голубые глаза. Холодные голубые глаза впились в Эгона жестоким, острым, как лезвие клинка, взглядом. Изящные тонкие губы искривились в многозна-

чительной усмешке. Они даже не разомкнулись, эти губы; юный практикант, или студент, или кем он мог быть, стоял молча и внимательно слушал объяснения дежурного врача... Но в голове у Эгона внезапно взорвался его голос - высокий, резкий, пронзительный: Привет, Эгон! Я - доктор Энджел. Я ненавижу тебя, знаешь ли ты это? Я долго искал тебя и, наконец встретил, случайно, но больше ты от меня не скроешься. Нет, не скроешься!»

Эгон оцепенел от страха. И, наверное, сильно побледнел, потому что лица врачей вдруг сделались встревоженными. Они склонились над ним, обессиленно откинувшись на подушки, и что-то говорили все разом, о чем-то спрашивали, но Эгон их не слышал. А голос продолжал издеваться: «Вот мы и встретились, мой дорогой, и теперь я превращу твою жизнь в ад. Да, в ад. О, доктор Энджел знает, как сломать жизнь кому угодно. Я уничтожу тебя, я - твой самый верный, преданный и неподкупный враг, я тебя разрушу...»

Никогда больше в своей жизни не видел Эгон белокурого, ангелоподобного врача-практиканта, но его голос, язвительный, мстительный и холодный - остался с ним, не смолкая больше ни днем, ни ночью. Сопровождал его повсюду, проникал в самые потаенные уголки сознания. Заползал в его сны, превращая их в чудовищные, непереносимые кошмары, от которых Эгон просыпался в холодном поту, дрожа и плача. Ежесекундно терзал воспаленный, измученный, парализованный страхом и болью мозг... насмехался, угрожал, запугивал. Эгон не понимал этой бешеной, нечеловеческой ненависти, но он и не нуждался в понимании. Потому что в том страшном, извращенном мире, в котором он теперь жил, не было места логике. Его невозможно было объяснить или постичь разумом. От него невозможно было ни спрятаться, ни убежать, как нельзя убежать или спрятаться от самого себя.

Из-за утреннего обморока Эгона выписали домой на день позже, чем предполагалось. А через полтора месяца его повторно госпитализировали, на этот раз в областную психиатрическую клинику, с диагнозом «ювенальная шизофрения». Сильнодействующие лекарства, которыми его там щедро кормили, отбивали аппетит и сон, погружали в бездумное оцепенение, затрудняли движения и вызывали неприятную сухость во рту - но против доктора Энджела были бессильны.

После двухмесячного пребывания в клинике Эгона выписали в «относительно стабильном состоянии», потом - примерно через полгода - забрали снова... И снова, и снова... он уже практически не вылезал из больниц, и никто настоящему не мог ему помочь. Он с трудом, на два года позже, чем его сверстники, закончил школу. О том, чтобы учиться дальше, не могло идти речи. Все, что ему светило в жизни, это тяжелая инвалидность и мизерная пенсия.

Свой девятнадцатый день рождения Эгон встретил на больничной койке. Там его застало и известие о скоропостижной смерти единственного близкого человека - его матери.

День похорон матери - теплый, безветренный день начала лета - Эгон запомнил очень хорошо. Зарывшееся в мягкую перину легких перистых облаков солнце грело ласково и осторожно, и сонная тишина окутывала маленькое городское кладбище. Ее нарушало лишь жужжание крупных шмелей, вьющихся над венками из живых цветов. Эгону было так плохо, что он не мог даже плакать, глядя, как медленно и неотвратно опускают в широкую прямоугольную яму простой сосновый гроб. Не мог поднять глаза, чтобы взглянуть в казавшиеся безучастными и плоскими в ярком дневном свете лица стоящих вокруг могилы людей - родственников и сослуживцев покойной матери. Ему хотелось спрятаться от них, никого не видеть... зарыться в землю, как крот или дождевой червяк; и лучше, если навсегда.

Кто-то незаметно приблизился сзади и заботливо обнял его за плечи: «Эгон, поплачь, тебе станет легче.»

«Да-да, Эгон, - в тон ему вкрадчиво пропел до отвращения знакомый голос, - плачь, залей горе слезами. Это я убил твою мать, Эгон, я! Она умерла от дурацкой врачебной ошибки, которую я, доктор Энджел, конечно же, подстроил. Эгон, я убил твою мать, как тебе это? И когда-нибудь я убью тебя, но не сейчас, ты будешь жить долго и мучиться долго.»

«Ну, нет, - прошептал ему в ответ Эгон, чувствуя, как из самой глубины души поднимается и нарастает неведомый ему доселе гнев. - Хватит, ты издевался достаточно. Я уйду.» И он расправил безвольно поникшие плечи, и над могилой матери поклялся стать свободным... полностью свободным.

В тот вечер Эгон не стал возвращаться в больницу, не вернулся он туда и на следующее утро. А быстро побросал в дорожный рюкзак кое-какие личные вещи, половину буханки хлеба и бутылку минеральной воды и вышел из дома в сырую, перламутрово-серую предрассветную муть. Было четыре часа утра, и утонувшие в серебристой дымке улицы городка еще не начали просыпаться. Ни пения птиц, ни лая собак не было слышно в хрупкие, застывшие мгновения на изломе ночи и дня. Стелящийся по мокрому от росы асфальту туман скрадывал звук шагов. Эгон шел, щурясь на темные, подслеповатые окна спящих домов, и тихо было у него на душе... непривычно тихо и светло. Он принял решение и больше ни о чем не хотел думать. И никакой доктор Энджел, будь он дьяволом или человеком, был ему не страшен.

По петляющему вдоль пустынных заводских корпусов переулку Эгон вышел к грузовому вокзалу, где чутко дремали под светлеющим небом длинные, похожие на гигантских черных змей, товарные поезда. Забрался на открытую платформу, положил рюкзак под голову и лег, глядя на быстро разгорающийся горизонт. Когда первые лучи солнца пробились сквозь тускло-стеклянную грядку облаков, Эгон почувствовал, как товарный состав мягко тронулся и, стремительно набирая скорость, покатился по гладким, убегающим в даль рельсам.

Какое прекрасное, волнующее, удивительное приключение - вскочить на полном ходу в вагон летящего в неизвестность поезда. Без цели и смысла, как в

далеком детстве. Отправиться в путь только ради и во имя пути. Не думать ни о прошлом, ни о будущем, а смотреть, как перетекают друг в друга яркие, обманчивые пейзажи за окном. Потом закрыть глаза и отдаться бессмысленному колдовству однообразных движений, равномерному покачиванию и постукиванию колес, раствориться в них и перестать существовать.

У поезда есть место назначения - у тебя его нет. И не может быть. Как не может быть цели у несущейся в смертельном пике птицы, на долю секунды зависающей между землей и небом, чтобы в следующий миг рухнуть на острые камни или воспарить в облака. Для тебя это поезд - в никуда. И только он может привезти тебя к счастью.

Разомлев на солнце, Эгон бездумно провожал взглядом проплывающие мимо зыбкие картины - пламенеющие маками поля; сады, отцветшие и странно-пустые, навевающие грусть своим утомительным, темно-зеленым однообразием... Покосившиеся бревенчатые домики и одинокие будки железнодорожных переездов. И сам не заметил, как задремал. Впервые за эти мучительные пять лет уснул спокойно, без сновидений, без изнурительных кошмаров.

Когда он проснулся, была глубокая ночь. Товарный состав стоял на степном полустанке. Осторожный ночной ветер ласково шевелил спутанные волосы Эгона, приятно охлаждал разгоряченное от сна лицо, шептался в травах и тонко гудел в натянутых, точно тугие струны, проводах. Повинуясь необъяснимому наитию, Эгон закинул на плечо рюкзак и спрыгнул с платформы на землю.

Огляделся вокруг и замер, потрясенный, очарованный. Степь светилась. Каждая травинка, каждый хрупкий, как стеклянная ниточка, стебелек были окутаны мягким, зеленоватым сиянием. Крохотные колокольчики горели голубым огнем, гвоздики мерцали в темноте, как нежно-розовые звездочки. Обжигающе-фиолетовыми искрами сверкали то здесь, то там разбросанные в высокой траве васильки. Благоговейно опустился Эгон на колени и осторожно разгреб руками светящиеся стебли. Да, и от самой земли исходило такое же таинственное и странное излучение жизни. Только чуть более приглушенное и темно-золотое. Он поднес к ней ладонь и кожей ощутил ее живое, струящееся тепло.

Эгон поднял взгляд: запорошенное алмазной пылью звезд небо тоже было полно света, но то был свет другой природы. Хрустальный и чистый, он лился вниз прозрачным потоком, и благодарная степь впитывала его жадно, как впитывает пустыня первый зимний дождь.

Широко раскрыв глаза, смотрел Эгон на это чудо, чувствуя, как сам растворяется в нем, становясь частицей вечной Жизни. Как облекается тонкой световой аурой его тело. В душе воцарилась тишина, ласковая, чуткая... Он был свободен, и его злой ангел, его извечный враг, доктор Энджел, больше не имел над ним власти.

С наслаждением вдыхая холодный и разреженный ночной воздух, Эгон пошел прочь от железной дороги, по расходящемуся зелеными волнами морю светящейся травы.

Пустынна была степь и безбрежна, как океан. В ее огромном, как Вселенная, пространстве обитали тысячи живых тварей: кузнечиков, муравьев, мелких грызунов, жуков, бабочек и птичек, не было места только человеческому присутствию. И лишь на самом ее краю, в прозрачной дали, забрезжил одинокому путнику слабый, колеблющийся на ночном ветру огонек.

И, точно бабочка, влекомая тусклым светом городского фонаря, направился Эгон туда, куда ласково манил его этот таинственный степной маяк, и вышел к небольшому хутору. Осторожно приблизился к тепло мерцавшему квадрату незанавешенного окна и, затаив дыхание, заглянул внутрь. Мирная и удивительная картина предстала его взору. В просто, но со вкусом обставленной комнате неярко горела керосиновая лампа; и молодая хозяйка в белом переднике - красивая и ладно скроенная женщина лет тридцати - накрывала на стол. В одной руке у нее был заварочный чайник, в другой - расшитое крупными голубыми цветами полотенце, а прямо посреди стола возвышался минуту назад вынутый из печи и еще не успевший остыть пирог. Чаепитие посреди ночи? Судя по тому, что чайный прибор был один, хозяйка никого не ждала.

И Эгону, только что очарованному степью, вдруг отчаянно захотелось окунуться в уютное человеческое тепло. Вдобавок он сильно проголодался и устал. Отойдя от окна, он поднялся на тихо скрипнувшее дощатое крыльцо и робко постучал.

Что подумала одиноко живущая женщина, неожиданно увидев на пороге своего дома невысокого темноволосого парня в поношенной джинсовой куртке и со странно блуждающим взглядом?

Нет, она не испугалась. В нем не было ничего возбуждающего страх - напротив, он был похож на растерянного, заблудившегося в ночи ребенка. И в душе у нее вдруг шевельнулась острая, щемящая жалость к незваному гостю... жалость... чем-то отдаленно напоминающая любовь.

Давно, кажется, целую вечность, Ольга жила одна, в маленьком, доставшемся ей от родителей домике, почти в сорока километрах от ближайшего поселка. Она возделывала огород и плела ковры, которые два раза в месяц отвозила в областной центр на своей выдавшей виды Ниве-вседорожнике. Сдавала их в магазин и на вырученные деньги покупала все необходимое для нехитрого одинокого быта. Плести ковры - яркие и по-восточному пышные, искрящиеся золотом и пронзительно-голубой лазурью - ее выучила покойная мать. В изысканном, требующем не только небывалой ловкости пальцев, но и душевной тонкости, искусстве она почти достигла совершенства. Так и жила, как умела, вплоть до своего тридцать второго дня рождения, когда вернувшись поздно вечером из города, она испекла для себя большой и вкусный именинный пирог и села за стол, чтобы - как всегда в одиночестве - помянуть еще один, промелькнувший мимо год жизни. Вплоть до того часа, когда тихо постучал в ее дверь усталый ночной путник. И она встала, и открыла ему, и он возник в дверном проеме, облитый зыбким серебряным светом звезд... Расплывчатый нечеткий силуэт с

дорожным рюкзаком, перекинутым через плечо. А она приветливо улыбнулась и, слегка посторонившись,пустила его в свой дом - и в свою жизнь.

Он рассказал ей о том, как остался сиротой - один в целом свете, так же, как и она много лет назад. И как бежал куда глаза глядят... от кого? - он так и не смог ей этого объяснить. А она, доверчивая и не привыкшая ко лжи, приняла его таким, как есть, и не настаивала на правде.

И он остался с ней до конца ночи... и еще на один день и на одну ночь... Что ж, ему некуда было идти, а у нее не было никого, кто мог бы скрасить ее одиночество. Вот так и началось для Эгона недолгое и, наверное, единственное за всю его нескладную жизнь счастье, вдали от людей и от шумных дорог, в маленьком домике на краю степи.

Она была женщиной, а он - мужчиной, и сама Природа влекла их в объятия друг друга. Любил ли он ее? Пожалуй, Эгон и сам не смог бы ответить на этот вопрос; он просто не задумывался, не хотел задумываться... ни о чем.

Она была для него частью степи, частью того прекрасного и вечного, во что он так самозабвенно окунулся в первую ночь своей настоящей свободы. В чем навсегда и без остатка растворилось его хрупкое «я», вместе со всеми человеческими страхами, ограничениями и предрассудками. Растворилось, чтобы снова возродиться, подобно мифической птице Феникс - но уже как фрагмент неделимого Целого.

Ее волосы цвета перспелой ржи казались ему одновременно прямыми и гибкими, словно стебли иссушенных летним зноем трав. Он любил смотреть, как бережно и ласково играет ими степной ветер, развевая и путая легкие и яркие, как солнечный свет, золотые пряди. Иногда она заплетала их в тугие косы и он, забавляясь, вплетал в них голубые васильки и душистые плети дикого хмеля.

Она была частью его одиночества. Молчала и становилась незаметной, когда он хотел остаться один, и всегда оказывалась рядом, когда он нуждался в ее ласке и тепле.

Днем Эгон работал в огороде, а по вечерам уходил в степь, и бродил вокруг, точно неприкаянная душа, отдаваясь колдовской, первозданной стихии. Он увлекся ментальными путешествиями, мысленно вселялся то в одного, то в другого обитателя светящейся Вселенной... то в усталого, задремавшего под листом кузнечика, то в пушистого тушканчика, устроившегося на ночлег в тесной земляной норе.

Эгон смотрел на мир блестящими от любопытства глазами маленькой полевой мыши, и вздымающиеся ввысь жесткие стебли виделись ему лесом, достигающим почти до небес. Он становился травой, и цветами, и землей... наполняясь ее мудростью и силой. Ощущал, как, подобно кровеносным сосудам, пронизывают ее тело спутанные и многократно переплетенные корни растений; как медленно струятся по ним снизу вверх теплые соки.

А потом возвращался в успевший стать родным дом и, отряхнув с одежды тонкую звездную пыль, садился за накрытый к ужину стол. И Ольга

рассказывала ему трогательные и смешные истории из собственной жизни и полные очарования древние легенды, из поколения в поколение передающиеся в этих диких краях. А он и слушал ее и не слушал, внимая таинственному и печальному шепоту ветра за окном. Когда же чуткий, темно-фиолетовый вечер переходил в глубокую ночь, и огонь в печи догорал, обращался в горстку медленно тлеющих углей, Эгон засыпал на узкой кровати, сжимая женщину в объятиях. Но и во сне он продолжал слышать голос степи, зовущий и обещающий нечто такое, чему никогда не суждено сбыться.

Так проходили для Эгона дни, однообразные и все же исполненные смысла. И не успел он заметить, как промелькнуло лето, отцвела степь и в одночасье укуталась пушистым снегом, сверкавшим под тусклым зимним солнцем так ярко, что больно становилось глазам. Но и под снегом она продолжала жить, чувствовать и дышать. Она спала, и ее странные сны вплетались в зыбкие и причудливые сновидения Эгона.

Зимой он редко выходил из дома и большую часть дня сидел, глядя на разгорающийся в печи огонь. Правда, Ольга съездила в город и привезла ему теплую меховую куртку и сапоги, но все равно по рыхлому снегу было далеко не уйти, один шаг в сторону от крыльца - и проваливаешься по колено. В сильный мороз машина не заводилась, и тогда они по несколько недель не могли никуда выбраться.

Но Эгон никуда и не стремился: он избегал людей и оживленных мест; боялся собственных мыслей и воспоминаний. Ему не хотелось окунаться в прошлое, представлявшееся теперь смутным кошмаром. И в будущее заглядывать не хотелось. Его томило неясное предчувствие, что очень скоро его размеренному, уютному существованию придет конец. Потому что нет на свете такого счастья, которое могло бы продолжаться вечно. Единственное, чего он страстно хотел, это дожидаться весны и вновь увидеть степь в цвету. Вдохнуть горьковато-терпкий запах травы и земли, разогретой солнцем, ощутить ладонями ее живой, едва уловимый трепет. И снова затеряться в волшебном мире, точно одинокая блуждающая звезда в бескрайней пустыне ночного неба. Но, увы, даже это ему было не суждено.

Весна была уже близка, когда в одно печальное и хрупкое мартовское утро они сидели, как обычно, за столом и завтракали: свежее испеченный хлеб, сыр, чай, заваренный с засушенными за лето травами. И Ольга сообщила ему - как бы между прочим - что ждет ребенка. Она сказала это обычным будничным тоном, слегка улыбаясь, и как будто бы с радостью; но Эгон вдруг побледнел. До его сознания не сразу дошел смысл услышанного, он только почувствовал, что произошла какая-то страшная и непоправимая катастрофа.

От Ольги, конечно же, не укрылось его состояние, но она не слишком встревожилась... вначале.

- Послушай, Эгон, - сказала она серьезно. - Я хочу его сохранить. Подожди... не перебивай... я все понимаю. Я старше тебя на целых тринадцать лет; когда-

нибудь ты захочешь уйти и жениться на своей ровеснице. У тебя будет нормальная семья и другие дети. А я... мне так одиноко здесь одной, Эгон. Мне бы очень хотелось, чтобы со мной остался твой сын. Я сумею воспитать его одна, я зарабатываю достаточно, и ничем не потревожу тебе, если ты не захочешь... А захочешь - мой дом всегда будет для тебя открыт, и ты можешь быть уверен, что на свете есть по крайней мере два человека, которые тебя по-настоящему любят.

- О, Боже, нет! - Эгон вышел, наконец, из ступора. - Нет, ты не должна! - он схватился за голову. - Надо прервать беременность, как можно скорее, пока он еще ничего не чувствует.

Она смотрела на него, не понимая, и в глазах ее - доверчивых и ясных - плавали смутные, отраженные от снега солнечные блики.

- Но почему? Чего ты так боишься?

- Оля... Оленька... прости меня, пожалуйста, - в голосе Эгона звучало неподдельное отчаяние. - Прости, я должен был тебе сразу сказать... От меня нельзя иметь детей... Я болен.

Теперь уже в ее взгляде промелькнул испуг.

- Чем?

Эгону был противен весь разговор, с начала и до конца, омерзителен до тошноты. Но молчать было больше нельзя, он обязан сказать правду, какой бы эта правда ни была. Что он и сделал. На несколько долгих, томительных минут над столом повисла тяжелая тишина. Оба молчали; он смотрел в пол, она пристально изучала незамысловатый узор на скатерти.

- Шизофрения... - наконец, повторила она растерянно. - Как странно. Ты совсем не похож на душевнобольного. Хотя что-то в тебе есть, я еще в самом начала заметила, что-то такое во взгляде. Ты как будто смотришь на меня и не видишь... но мне даже не приходило в голову...

- Я все прекрасно вижу, - возразил Эгон. - У меня сейчас период ремиссии. Как долго он продлится, я не знаю; но дело не во мне. Это сидит в генах, а значит, передается по наследству.

- Но ведь он может и не заболеть? - она отчаянно хваталась за последнюю соломинку.

- А если? Мы не можем... просто не имеем права рисковать. Оленька... ну, пожалуйста, сделай так, как я тебе говорю. Ты же ничего не знаешь. Ты не представляешь себе, какое это страдание.

Эгон закрыл лицо руками. Не хватало еще расплакаться при ней. Впрочем... это прекрасно подтвердило бы его слова о психическом расстройстве. С психа - ну что возьмешь?

В тот день они больше не возвращались к прерванному разговору, а на следующее утро Эгон, не дожидаясь рассвета, навсегда покинул ее дом. Оставил на столе коротенькую записку: ;Оля, я рассказал тебе все. Надеюсь, ты примешь правильное решение.

Он уходил, осторожно ступая по мартовскому, начавшему слегка подтаивать насту, зябко кутаясь на ледяном ветру в подаренную ею куртку... как преступник, бегущий от правосудия. Уходил в темноту и неизвестность, и только крупная зеленая звезда, неподвижно зависшая над самым горизонтом, тускло освещала его одинокий путь.

Уже рассвело, когда, ооченев и выбившись из сил, он вышел, наконец, на шоссе, где и поймал попутку до города. Ну а там... Пару лет Эгон перебивался кое-как, случайными заработками, жил на случайных квартирах... А потом эмигрировал в Германию, по немецкой визе.

И жизнь наладилась. Он выучился на автомеханика и устроился на приличную работу, сменил несколько квартир, пока не остановился, на той, в которой обитал теперь, небольшой, но подходящей по цене. Как ни странно, ремиссия оказалась устойчивой, и болезнь не возвращалась. Эгон перестал сторониться людей и не гулял больше по ночам; и светящихся аур вокруг растений не видел. Но далекая, как будто другому миру принадлежащая степь навсегда осталась с ним... и в нем. Иногда, украдкой приложив руку к стволу дерева или дотронувшись до теплой, красновато-пыльной земли, он ощущал под ладонью неприметное и едва уловимое, точно тиканье часов, биение жизни.

И все шло более или менее нормально... до тех пор, пока однажды вечером он не включил телевизор и не увидел на экране изувеченную девушку, читающую необыкновенные, затягивающие, как сон, стихи. Девушку, чье пронзительно-одухотворенное лицо так напоминало лицо самого Эгона, такого, каким он был без малого восемнадцать лет назад... когда...

О, нет, нет, такого просто не может быть, не бывает в жизни таких совпадений! И снова на глаза навернулись слезы, и снова в отчаянии он заслонился руками от того, что незваным вторгалось в его спокойный и благоустроенный мир, пусть и не слишком счастливый, но надежный. Чтобы опять швырнуть его, беззащитного, в темный и пугающий хаос безумия.

Вот так, Эгон Райнерт, эта слепая девушка похожа на тебя, не просто похожа, она почти твоя копия, и что ты теперь собираешься с этим делать? Так и сиди, скорчившись в кресле, и пытайся убедить себя, что все - дурацкая случайность, самообман, что у тебя разыгралась больная фантазия... не убедишь. Не поверишь... сам себе не поверишь.

Он дотянулся до соскользнувшего на пол пульта и выключил телевизор. Чутко прислушался к тишине: она была напряженной и странной... такой докрасна раскаленной, что, казалось, будто в ней летали искры. Он сидел, безвольно уронив голову на руки, и даже не удивился, когда тишина вдруг раскололась оглушительно-резким телефонным звонком.

- Да, Оля?

Минутное испуганное замешательство в трубке.

- Ты меня узнал?!

Эгон обреченно вздохнул.

- Я только что смотрел телевизор... Это... она?

В голове было непривычно пусто, и нужные, правильные слова не шли с языка. Но и без слов они прекрасно поняли друг друга.

- Эгон, мне нужно с тобой встретиться... Мне обязательно нужно тебя увидеть... Нет, адрес называть не надо, я нашла его в Желтых страницах, так же как и номер телефона. Просто скажи, когда можно к тебе зайти. Я узнала от одних общих знакомых, в каком городе ты живешь, и когда нас... когда Леночку пригласили на эту передачу...

- Какие общие знакомые, что за чушь? - нетерпеливо перебил ее Эгон. - Ты хочешь прийти одна, или... с ней?

- Эгон, Леночка замечательная девочка...такая талантливая и добрая, ты полюбишь ее, вот увидишь... Она так похожа на тебя.

- Да, я заметил, - Эгон старался, чтобы голос его звучал не так горько, но... увы, он совсем не умел притворяться, даже по телефону.

- Нет, не только внешне. Она так тонко все чувствует... Завтра суббота, ты не работаешь? Мы придем, часам к двенадцати, хорошо?

- Господи, Оля, ну почему ты меня не послушала, почему?! - он почти кричал в трубку.

- Эгон, пока, до встречи.

Короткие, отрывистые гудки. Он с силой швырнул трубку на рычаг.

Первое, что бросилось в глаза после восемнадцатилетней разлуки, это то, как безобразно и отвратительно она постарела. Когда-то густые и длинные, солнечно-золотые волосы теперь были коротко острижены и, очевидно, для того, чтобы скрыть седину, она выкрасила их в мерзкий рыжий цвет. Нарядное платье, специально купленное для этой встречи, показалось ему аляповатым и безвкусным. И морщины... да, разница в возрасте теперь была куда заметнее, чем когда-то. Неужели с этой почти старухой он прожил почти целый год под одной крышей, спал на одной постели, и ...

Эгон тоскливо скользнул взглядом по ее слегка расплывшейся фигуре и отвернулся. На ту, которую она привела с собой, осторожно и бережно придерживая за талию, ему даже не хотелось смотреть. Но взгляд его, словно притянутый невидимым магнитом, против воли обратился к ней. Изящная и хрупкая, она спокойно и, казалось бы, безучастно стояла посреди узкой прихожей, окруженная непробиваемой темнотой, которую не мог рассеять даже самый яркий свет. Но Эгон каким-то шестым чувством уловил исходящую от нее ауру напряженного, мучительного ожидания. Она не могла увидеть его, и у нее не было рук, чтобы его обнять, или ощупать его лицо. Все, что ей оставалось - это терпеливо, покорно ждать, пока он заговорит с ней. Но Эгон словно онемел и не мог произнести ни слова. Первой нарушила молчание Ольга.

- Эгон, здравствуй. Познакомься, это Леночка, - произнесла она нарочито бодро. - Ну, пожалуйста, скажи ей что-нибудь, - отчаянно, беззвучно шепнули ее губы.

- Здравствуй, Лена, рад с тобой познакомиться, - Эгон вымученно улыбнулся.

Какая разница? Его кривой улыбки она не видела все равно. Но от звука его голоса лицо слепой девушки вдруг расцвело удивительной радостью; и она жадно, всем существом, словно цветок к солнцу, потянулась к нему. Это был голос ее отца! Человека, которого она, даже не зная, любила всей душой, встречи с которым ждала всю свою недолгую жизнь.

А Эгон смотрел на нее, ошеломленный неожиданной переменой; и ему сделалось совсем плохо.

- Леночка, - он пугливо, словно боясь обжечься, коснулся ее плеча. - Ты любишь музыку? Пойдем, я сейчас включу тебе музыкальный центр, у меня есть хорошие диски. Посиди, послушай, а мне надо поговорить с твоей мамой, мы так давно не видели друг друга... А потом мы пообедаем вместе, и... - он решительно не знал, что еще сказать.

Закрывшись вместе с Ольгой на кухне, он дал волю эмоциям.

- Как ты могла? Почему ты меня не послушалась, ведь я тебя предупреждал, просил, умолял... Посмотри, что ты наделала? Ты произвела на свет калеку, которая и дня не может прожить без посторонней помощи, обрекла ни в чем не повинного человека на вечные мучения.

- Подожди, Эгон, - некрасивая, стареющая женщина смотрела на него почти с ужасом. - Не кричи так, она может услышать.

- Плевать, - но он стал говорить тише. - Ну, неужели ты не могла найти себе... нормального мужика? Ведь я тебе говорил, что от меня нельзя заводить детей!

- Ты тут совершенно ни при чем, - Ольга начала мелко, мучительно дрожать. - Это я не уберегла нашу девочку... Это я одна во всем виновата... Она родилась нормальной... Эгон, если мы так противны тебе, мы уедем сейчас же, немедленно. Но она нуждается в твоей любви, она так хотела тебя... услышать. Ты знаешь, она говорит только о тебе, думает о тебе... она чувствует тебя через все эти километры.

Эгон налил ей стакан воды и сам сел напротив.

- Что произошло, несчастный случай? - спросил он почти спокойно.

- Да... ей было пять лет, когда она упала с велосипеда... и поранила руки об острые камни. Вроде бы пустяковые царапины, но я повезла ее в город, к нашему врачу... Он выписал какую-то мазь, и я мазала ей ручки, но не помогло, и раны начали гноиться, и он сказал...

- Врач? Какой врач? - переспросил Эгон, чувствуя, как внутри у него все холодеет.

- Наш участковый врач... не помню его фамилии... Эджес? или Энгель?.. Такой внимательный и неплохой, в общем-то... А через год мы пришли к нему, то есть к нашему врачу, для профилактического осмотра, и он сказал, что у девочки что-то с глазами, инфекция или грибок, я не поняла точно. Хотя она ни на

что не жаловалась... Прописал какие-то капли, но они не помогли, и зрение стало ухудшаться, и...

Но Эгон уже не слышал ее. Потому что в голове у него вдруг возник неприятный и все нарастающий звон, сквозь который с силой прорвался знакомый до боли, гнусный, издевающийся голос: «Ну что, дружок, ты думал от меня убежать? Не правда ли, ты так на это надеялся? Наверное, ты не ожидал, что я нанесу тебе *такой* удар?»

И он бросился на пол, в панике сжимая голову руками и отчаянно, истерически рыдая. И не видел, как растерянн мечется по квартире женщина, не зная, что делать, кого звать на помощь. За что, доктор Энджел? За что?!

Опрокинутые зеркала

*Из воска берег,
пруд из бересты,
В нем облака так медленны, так зыбки.
Полет в ничто, паденье с высоты;
Сегодня ночью у моей калитки
Рыдает ветер
Будем с ним на «ты»,
Он так похож на нас своим отчаяньем;
Мгновенье слез, мгновенье красоты,
Оно придет... надуманно? Случайно ли?
У входа в зазеркальное молчание
Такие разноликие цветы...*

Глава 1

Они ехали от порта к дому Габи. Изменчивые летние сумерки успели загустеть настолько, что стали непроницаемыми для взгляда, а сквозь угольную черноту неба прорезались первые звезды. Единственным, что запомнилось Арику от этой дороги, было тихое шуршание асфальта под колёсами и рассеянный, бледно-бирюзовый свет встречных фонарей.

Сидевший за рулем Габи молчал, искося, и, как казалось Арику, немного злобно поглядывая в тусклое зеркало заднего вида, а Арик откинулся в кресле и думал о Жени. Странная девушка. Когда она говорит с тобой, то никогда не смотрит в глаза, а всегда немного в сторону. Внезапно появляется и исчезает, и всегда держится так, как будто ничто в мире ее не волнует. Если взять ее за руку, тонкие пальцы остаются безжизненными, словно она не чувствует прикосновения.

А когда они вдвоем гуляли по ночному парку, и небо было бархатно-темным, а слабо посеребренные кусты едва заметно струились на легком ветру, Арик подумал, что даже Луна освещает ее по-другому.

Парк нежился в сонном тепле и благоухающем сиренью полумраке, а Жени вся, казалось, была охвачена огнем и ветром. Ее пламенеющие на лунном свете каштановые волосы метались и бились, как неправильно установленный парус, и она поминутно придерживала рукой то их, то надувавшуюся пузырем широкую юбку.

Арику никогда не нравились глупые женщины. Их пошленький, кокетливый щебет не умилял его, а только наводил тоску. В Жени было что-то такое... нет, даже не ум... просто иногда Арику представлялось, что она знает

что-то неизвестное ему. Поэтому даже самые обычные слова, например, о погоде, в ее устах приобретали особый смысл.

Арик с детства верил, что любовь – странный и редкий талант, которым природа наделяет немногих. Есть люди, не способные любить. Есть люди, не достойные любви. Эта девушка была достойна любви во всех отношениях, и Арик не заметил, как постепенно она проникла в его мысли, а потом и в сны.

Мечтать о ней стало его обычным состоянием, он засыпал и просыпался, повторяя ее имя, тягостное и дурманящее, как сладковатый запах белены, навязчивое, как болезнь.

Вначале Арику казалось, что Жени благоволит к нему, выделяет среди других (эта обманчивая, зыбкая теплота в самой глубине ее дымчато-фиолетовых глаз... прогулки рука об руку по затянутым липкими отражениями улицам...). Но стоило объясниться ей в любви – робко, полунамеками – и она сразу сникла, отстранилась, стала неожиданно чужой и странно-безразличной. Словно стеклянная призма, через которую она прежде смотрела на мир, утратила прозрачность, и теперь Жени могла с трудом различать только контуры и суетливые тени предметов.

А Арик, бессильный понять, что произошло, почувствовал себя больным. Поэтому приглашение его друга Габи приехать погостить – собственно, Габи звал его уже давно – показалось неплохим поводом отвлечься и разорвать, хотя бы ненадолго, мучительный порочный круг.

Машина развернулась и затормозила так резко, что Арика подбросило на сидении; отраженный от чего-то свет фар вернулся и ослепил его. Как будто впереди было установлено гигантское зеркало, но Арик не успел утвердиться в этой мысли, потому что Габи поспешно выключил фары и все погрузилось в темноту.

Они вошли в дом. Комнаты в квартире Габи оказались маленькими и уютными, стилизованными под старину.

- Будешь чай? Или, может быть, кофе?

- Пожалуй, нет, я очень устал.

Арик обессилено опустился на изящный, выточенный из золотистого дерева стул, выглядевший настолько хрупким, что на него было страшно садиться.

- Да, тебе не мешало бы отдохнуть, у тебя болезненный вид, – согласился Габи, вглядываясь в побледневшее лицо гостя.

Арик слабо кивнул, его бил озноб и совершенно не хотелось разговаривать.

Габи держался, как радушный хозяин, но в пытливом взгляде его слегка прищуренных темных глаз не было и тени дружелюбия.

«Как, в сущности, мало я его знаю», – невольно подумалось Арику.

- Ты писал мне про какую-то девушку, – напомнил Габи, усаживаясь напротив него. – Как ее зовут?

- Жени... Не будем сейчас об этом. У меня нет настроения.

- И ты серьезно увлечен ею?

- Да, - покорно вздохнул Арик, понимая, что от объяснения ему не уйти.
- Послушай, Габи, я обо всем расскажу завтра. Только ты обещай мне за это погадать.

В желтом электрическом свете зрачки Габи стали похожи на узкие, очень глубокие отверстия и, затянутый их тягучей пустотой, Арик почувствовал едва заметное головокружение. Вся комната вдруг показалась чуть-чуть нереальной и до отвращения яркой.

- Я не умею предсказывать будущее, Арик. Но я покажу тебе кое-что интересное; нечто такое, что заставит тебя если и не отказаться от своей любви, то, по крайней мере, взглянуть на нее под другим углом зрения.

- Да? – скептически усмехнулся Арик. – И что же это?

- Наберись терпения до завтра, ты слишком устал. Да и «они» наверное уже спят.

- Кто «они»? Какой-то ты сегодня таинственный, Габи... Решил очаровать меня своими маленькими загадками? Я полагал, что такая уловка больше к лицу женщинам.

- Да нет, - Габи сделал вид, что не заметил издевки. – Просто будет лучше, если ты увидишь «их» своими глазами. А о женщинах, я надеюсь, мы еще побеседуем.

В ту ночь Арик долго не мог заснуть - впрочем, так бывало с ним всегда, когда приходилось спать на новом месте - и все слушал, как мягко хлопает крыльями и тоскливо поет за окном какая-то ночная птица. Ее голос, красивый и грустный, был очень похож на человеческий, только выше и чище, и долго звучал на одной ноте, не слабая и не прерываясь. И окутанный им, словно шелковым белоснежным покрывалом, Арик постепенно погрузился в прозрачное небытие.

Глава 2

Проснулся он так же незаметно, как и погрузился в сон. Теплый, золотистый свет просочился под сомкнутые веки и заставил открыть глаза. Легко и естественно. Утром квартира казалась совсем другой, более просторной, полной воздуха и блеска, пропитавшего обклеенные розовыми обоями стены и медленными волнами струящегося в пространстве. Он почти физически ощутил чьи-то красивые, свободные, немного наивные мысли, пронизывающие комнату, как рентгеновские лучи. Вчерашний странный разговор с Габи вспоминать не хотелось, но Арик уже знал, что не совершил ошибки, приехав.

Он оделся и отправился на поиски хозяина или, в крайнем случае, завтрака. Толкнул одну из дверей и оказался в большой комнате с одной зеркальной стеной, и из этого огромного, похожего на окно в другое измерение, зеркала ему на встречу поднялась, улыбаясь, молодая женщина.

- Привет, - сказала она, и ее янтарные глаза мягко вспыхнули, словно из глубины зрачков вспорхнула и расселась по радужной оболочке стая тоненьких огненных птиц.

- Доброе утро, - ответил слегка растерявшийся Арик и оглянулся.

Комната была пуста. Только у самого окна сиротливо ютился накрытый кружевной белой скатертью столик.

- Меня зовут Яэль, - представилось отражение женщины. – Я никогда не видела тебя здесь раньше. Как твоё имя?

- Арик. Я приехал недавно.

Может быть, это вовсе не зеркало, а стеклянная стена, отделяющая друг от друга две симметричные половины комнаты? Он бы так и подумал, если бы не собственное отражение, в точности повторяющее каждый его жест. Полупрозрачная - полужеркальная стена?

- Что значит «приехал»? Ты раньше жил в другом доме, а теперь будешь жить здесь? – догадалась женщина. – Ты уже познакомился с Габи? Он неплохой парень, но немного странный. Тебе следует его остерегаться.

Гладкая, блестящая и как будто холодная на вид поверхность не хранила даже намёка на прозрачность, а зеркальная девушка, живая и яркая, стояла во весь рост и смотрела на отражение Арика.

Он снова, как вчера, ощутил тошноту и головокружение, а теплые утренние цвета вдруг сделались сочными и тяжелыми, усилились и нестерпимо засверкали ему в глаза.

- Извините, я сейчас, - пробормотал Арик и выскочил из комнаты.

- Подождите, - донёсся ему вслед голос Яэль. – Скоро на столе появится еда, и мы будем завтракать.

Оказавшись за дверью, Арик пробежал несколько шагов по коридору и остановился, словно пораженный внезапной догадкой. Потом уже медленнее направился в комнату Габи. Тот, очевидно, только что проснулся и, сидя на не застеленной кровати, расчесывал волосы длинным серебряным гребнем и одновременно высматривал что-то в окне, а может быть, просто любовался тончайшими красками послерассветного неба. Он вздрогнул, услышав звук открываемой двери.

- Ты застал меня врасплох. Я задумался, - сказал он Арику, оправдываясь за свой испуг.

- Я не слышал твоих мыслей, - улыбнулся Арик. – Послушай, что за фокус у тебя там, в зеркальной комнате? Скрытый кинопроектор, проецирующий изображение на зеркало?

Губы Габи неуловимо дрогнули. «Как у человека, пытающего подавить усмешку, - подумал Арик, - или страх, или готовые сорваться слова».

- И кого ты там увидел? – после минутной паузы спросил Габи.

- Какою-то Яэль.

- Красивая, не правда ли?

- Да, пожалуй. Одобрю твой вкус.

- Мой вкус здесь ни при чем. – сказал Габи серьезно. – Там нет никакого проектора, Арик. Неужели я опустился бы до таких дешевых трюков? Впрочем, если не веришь, можешь обыскать комнату. Что найдешь, поделишь со мной.

- Тогда я ничего не понимаю.

- Это люди, живущие в зеркалах. Так их у нас называют. Двумерные существа, которые обитают в двумерном мире отражений, мыслящие, самостоятельные организмы, которые сами определяют, где им жить. Я эту Яэль никогда не приглашал, она сама выбрала мой дом и, очевидно, считает его своим. Они и нас воспринимают только через наши плоские зеркальные изображения, трехмерное пространство для них не существует.

Арик недоверчиво покачал головой, пытаясь понять, не шутит ли Габи. Нет, на розыгрыш было непохоже.

- А откуда они взялись? Зачем они вам?

- Это очень древний народ, такой же древний, как наш. Думаю, они сосуществовали с нами всегда. Погляди в окно.

Арик выглянул и увидел, что через весь город в разных направлениях тянутся высокие, полыхающие всеми цветами радуги серебряные ленты – зеркальные стены – и дома буквально нанизаны на них, точно огромные, неправильной формы бусины. Издали казалось, будто эти стены текут и движутся, словно поставленные вертикально взбесившиеся реки.

- В каждой квартире есть зеркальная комната, – пояснил Габи. – Не спальня, разумеется. То, что происходит в спальне не предназначено для чужих глаз. И все эти зеркала сообщаются между собой, образуя единую систему.

- Да, но для чего это вам?

Габи пожал плечами.

- Они доброжелательны и, как правило, красивы. Никому не причиняют вреда и не потребляют пищи, то есть обходятся нам бесплатно. Иногда с ними довольно интересно побеседовать. Кроме того, это наша история и основная достопримечательность города, уникальное явление природы, если можно так выразиться. Так почему мы должны их уничтожать?

Несколько минут Арик стоял, задумавшись, а его друг тем временем поспешно завершил свой утренний туалет. Пора было идти завтракать, тем более, что Яэль уже ждала их у пустого стола.

Очевидно, она успела проголодаться и теперь по-детски радостно приветствовала «появление» еды – яиц всмятку, бутербродов, кофе и фруктов. В огромном хрустальном блюде с персиками и апельсинами заиграл, распадаясь на проворные разноцветные искры, солнечный свет, и в просторной комнате стало как-то необыкновенно, по-семейному празднично и уютно.

- Ты уже познакомился с Габи, Арик? – спросила Яэль (оба при этих словах не смогли сдержать улыбки). – Габи, это Арик, он «приехал» к нам из другого дома.

Она села к столу и взяла с блюда отражение персика. Настоящему персику это, впрочем, никак не повредило.

- Давно не ела таких вкусных фруктов, - сообщила Яэль, надкусывая бархатистую мякоть. Маслянистые капли сока закапали на стол, тут же исчезая, и на белоснежной скатерти не осталось ни пятнышка. - Ты принес в наш дом счастье, Арик.

- Аминь, - сказал Габи с усмешкой и опустил глаза. Его длинные нервные пальцы отчаянно, почти до боли, стиснули чайную ложку, но Арик и Яэль этого не заметили. Они смотрели друг на друга.

- Что вы собираетесь делать после завтрака? - осведомилась девушка, когда дружеская трапеза подходила к концу.

- Мы думаем немного погулять в парке, - ответил Габи. - Надо кое-что обсудить.

- Хорошо, - Яэль гибким движением выскользнула из-за стола. - Я найду вас там.

Парк, как и каждый дом в городе, оказался нанизанным на сверкающую серебряную ленту. Его центральная аллея была зеркальной, но от нее в солнечно-зеленую глубь, словно лучи, отходили узкие тропинки, доступные лишь «трехмерным» людям.

По одной из таких тропинок и направились Арик и Габи.

- Да, так что ты хотел рассказать мне о той девушке?

- О Жени? - рассеянно отозвался Арик, уже успевший всем существом погрузиться в мутную пучину весеннего расцветающего леса. - Ты обязательно хочешь знать? Мне больно о ней говорить.

Он подумал о Жени и ничего не мог вспомнить кроме ночного свидания, ветра и лунного света, бушующего вокруг ее бесплотной фигурки.

- Ветер и лунный свет, - задумчиво повторил Габи. - Ты уверен, что весь остальной парк был слабо освещен, а ветер только слегка колыхал верхушки кустов? Подумай, это очень важно.

- Да, только шевелил кусты и струил листву. Я не успеваю следить за ходом твоих мыслей, Габи, и почему-то мне совсем не хочется этого делать.

- И это правильно, - согласился Габи неожиданно мягко. - Но, тебе все-таки придется. Посмотри, мы вышли к озеру. Самый романтичный уголок в парке, но, к сожалению, неисправимой мечтательнице Яэль сюда не добраться.

Они подошли к воде. Упругая поверхность прилежно скопировала их опрокинутые, вытянутые силуэты.

- Интересно, в этом зеркале тоже кто-то живет? - полушутливо, полунастороженно поинтересовался Арик.

- Рыбки, наверное. Да еще одинокий лебедь. Вот он плывет.

И правда, им навстречу невесомо скользила грациозная, словно изваянная из снега и воздуха, белая птица и, нахохлившись, выклевывала что-то из воды,

очевидно, рыбьих мальков или насекомых. Со стороны казалось, что она целится клювом в свое отражение.

- Раньше их было двое, - объяснил Габи. - Но потом один лебедь умер, и второй остался в одиночестве.

- Почему он не нашел себе новую подругу? - удивился Арик.

- Это озеро - весь его мир. Он живет здесь, сколько я его помню, и никогда не улетает. Странное, наверное, чувство - что ты один в целом мире.

Они нашли Яэль на центральной аллее, грустно сидящей на скамейке под большим кустом сирени. Она и сама была, как дерево, тонкое, печальное, вплетающее свои золотистые ветви в яркий узор стремительно разгоревшегося полдня.

«Они неизменно доброжелательны, это верно» - отметил про себя Арик, глядя, как преображается и оживает лицо девушки и легкий румянец растекается по смуглым щекам.

- Вы сказали, что пойдете в парк, - упрекнула их Яэль. - Я жду вас здесь уже целый час.

- Мне очень жаль, - галантно извинился Габи. - К сожалению, я вынужден вас оставить, у меня много дел. Встретимся за обедом. Думаю, сегодня он «появится» около двух часов дня.

- Но ведь ты-то никуда не торопишься? - выразительные глаза Яэль с мольбой обратились на Арика. - Мы могли бы немного погулять.

Арик чувствовал себя глупо, разговаривая с зеркальной стеной, но ему было неловко отказывать Яэль. А она продолжала трогательно уговаривать его:

- Подожди, видишь легкая позолота тронула лепестки цветов? Это значит, что скоро на небо взойдет солнце, и во всем мире станет сказочно-красиво.

«Солнце перейдет зенит и отразится в зеркале, - понял Арик. - И тогда Яэль сможет увидеть его».

- Я столько лет встречаю в этом парке восход, и каждый раз не могу сдержать восхищения.

Наконец, Арик сдался и они медленно пошли, прогуливаясь, по зеркальной аллее. Впрочем, они были не единственной такой парой. Еще несколько человек на значительном расстоянии друг от друга шли вдоль зеркала, разговаривая со своими двумерными собеседниками.

- «У меня много дел», - передразнила Яэль последние слова Габи. - Какие у человека могут быть дела, когда вокруг все цветет и первые лучи солнца уже переливаются через бледно-лиловые вершины кустов, наполняя каждый цветок прозрачным, как дождевая вода, золотым нектаром? И таких людей на свете очень много, Арик. Они живут, погруженные в какие-то не стоящие внимания мелочи и не осознавая, как удивительна жизнь. Знаешь, во всем мире не осталось

ни одного не исследованного мной уголка и ни одного не познанного мной явления Природы, но я не перестаю удивляться ее многообразию. Разве не чудесно проснуться утром и обнаружить, что сегодня в твоей комнате новые обои, или что на завтрак – твои любимые фрукты? Самые неожиданные предметы возникают в самых неожиданных местах, когда ты их совсем не ждешь, превращая жизнь в сплошное ожидание чуда. Даже небо – оно ведь тоже всегда разное!

Арик невольно поднял взгляд туда, где среди заостренных темно-оливковых вершин, слегка покачиваемых невидимыми потоками воздуха, бежали быстрые фиолетовые облака. Ему было забавно слушать Яэль и совсем не хотелось ее перебивать. Да и что он мог ей возразить? Она бы все равно не поняла.

А между тем жгучие оранжевые блики заскользили по поверхности зеркала, пожирая холодным огнем склоненные к дороге ветви.

«Это солнце», - прошептала Яэль и остановилась. Жидкое, подвижное, как ртуть, золото медленно заливало ее обращенное к небу лицо, волосы, плечи, струилось по одежде, стекая на землю яркими, мгновенно испаряющимися каплями. Она была похожа на прекрасную восковую скульптуру, таяла в огне, и Арик наслаждался изысканностью и хрупким совершенством представшей перед ним картины. Картины, подобной тем, что являются нам раз в тысячелетие на неуловимой грани слияния Искусства и Природы.

Именно тогда Арик осознал один из самых странных парадоксов времени – как то, что должно длиться несколько секунд, растягивается на вечность. Весь день он пел про себя Яэль, словно легкую мелодию, и исполнял ее на всех известных ему инструментах, как симфонию, перевоплощенную в свет.

Ночью он спал безмятежно и видел удивительные сны. Ему снилось, как скорбно жалуется на что-то неизвестная птица с человеческим голосом, и как по темному стеклу скатываются ослепительно белые звезды – слезы и заволакивают комнату прохладной молочной пеленой, в которой, будто в тумане, бродят неприкаянные тени. Это плакал одинокий лебедь, тоскуя по невозполнимой потере. По тому, что никакая в мире сила уже не могла ему вернуть.

Глава 3

Габи оказался прав: с «зеркальными людьми» было интересно общаться. Арик хотел отвлечься и получил желаемое. Беседы с Яэль развлекали его и помогали приглушить тупую боль, в которую постепенно переродилась его неразделенная любовь. Нет, образ Жени не потускнел в памяти, но слегка отодвинулся в тень, и те часы, когда ему удавалось о ней не думать, казались Арику райским наслаждением.

В другое время он или осматривал вместе с Габи город, или лежал ничком на кровати и волны мучительных воспоминаний прокатывались над ним, все

сильнее придавливая его беспомощное тело к яркому, затканному стрекозами и цветами, покрывалу.

От нечего делать он в шутку занялся «образованием» Яэль и проводил короткие летние вечера в бесплодных попытках объяснить ей необъяснимое.

- Откуда здесь эти яблоки? – спрашивал он, показывая на вазу с прозрачно-золотыми, словно светящимися изнутри, плодами.

- Они «появились» сегодня утром.

- Да, но откуда?

Яэль по-детски удивленно смотрела на него широко открытыми солнечными-кариими глазами.

- Не знаю... Ведь все откуда-то появляется. Просто так устроен мир.

Арик любовался ее искренней растерянностью и трогательно хрупкой, как стеклянная веточка, красотой. Яэль была похожа на озеро, полное отражений, но отражений светлых и простых, порождающих иллюзию, что мир удобен и чист, и сотворен для вечного счастья. Только протяни руку – и это счастье свалится тебе на ладонь, точно спелый плод... как магическое яблоко с Дерева Жизни. Вкуси его – и забудешь, что рай когда-то считался потерянным.

Арик улыбался: как приятно почувствовать себя умнее кого-то, даже если в этом нет твоей заслуги.

- А тебе не приходило в голову, Яэль, что эти яблоки кто-то вырастил, собрал с дерева и принес сюда? Ты видела, как они растут в саду, как из отцветшего цветка появляется завязь, как она растет, зреет, наливается соком? Как учится у солнца быть упругим и золотым, как по капле собирает его тепло, пропитывает его терпкой сладостью свою рассыпчатую мякоть? Неужели ты думаешь, что не существует связи между дарами сада и яблоками на твоём столе?

Мелодичный, гибкий, словно гнущийся к земле колосок, голос Яэль прозвучал тихо, но твердо.

- Нет, не существует. Я знаю, есть люди, которые проповедуют, что все в мире может быть сотворено человеческими руками. Это заблуждение, Арик. Несколько месяцев назад я пыталась нарисовать узор на потолке – композицию из листьев и птиц, но он держался не более двух часов, а потом исчезал. А через три дня он появился сам, как раз такой, как я хотела, даже красивее.

Арик взглянул на потолок, и в глазах у него зарябило от буйства красок и оттенков, многообразия форм крылатых силуэтов, и абстрактных геометрических фигур, концентрическими кругами расходящихся от огромной, похожей на усыпанный цветами куст жасмина, хрустальной люстры. Каждая деталь этой странной сюрреалистической картины была тщательно выписана.

- И тогда я поняла, – говорила Яэль, и задумчивая зеркальная комната притихла, прислушиваясь к ее словам, – людям не дано изменить мир. Он будет таким, каким ему суждено быть, что бы мы ни делали: ломали, строили, писали картины, украшали, втапывали в грязь. Дерево не напьется водой, если эту воду принесем мы, и птица не примет корма из наших рук. Мы пользуемся

предметами, но не можем распоряжаться ими; у каждой, даже самой крохотной и ничемной вещички своя судьба, не зависящая от нас и наших желаний.

И вновь Арик попытался улыбнуться нелепости ее мыслей, но поднявшаяся откуда-то из глубины души мутная горечь отравила его улыбку. И следующий вопрос прозвучал совсем не так, как он собирался его задать, а надтреснуто и ломко, точно позвякивание льдинки в бокале с вином.

- Но тогда зачем это все? Я хотел сказать: что мы должны делать?

- Просто жить, - серьезно ответила Яэль. - Мыслить, чувствовать, разговаривать, писать стихи, петь. Или еще что-нибудь... Какая разница, что делать, если это ничего не меняет?

- Когда-то я писал стихи, - сказал Арик. - Непонятные и красивые, по крайней мере, мне так казалось. Такие, чтобы ни о чем и в то же время о чем-то. Но в этом не было смысла, и теперь я ничего не пишу.

Он говорил правду. Смысл исчез из стихов, когда от Арика отвернулась Жени. Слова, когда-то горячие, проникновенные, болезненно образные, стали похожи на разведенный теплой водой сироп. Собственно, слова остались те же самые, но нарушилась соединительная ткань, то невидимое поле, на которое они прежде накладывались.

Арик не обманывался. Он прекрасно знал, что с ним произошло. От него ушла его Муза, та единственная женщина, в которой он черпал вдохновение для поэзии и для жизни. Яэль пыталась заменить ее собой, но подмена казалась горькой насмешкой.

Единственное, что теперь писал Арик – это послания Жени, а вернее, самому себе, потому что он никогда их ей не отправлял. «Моя гордая холодная Муза! – писал он. – Моя судьба... Понимаешь ли ты, как много ты значишь в моей жизни? Постарайся никогда этого не понять...»

Дома Арик запирали листки с посланиями в ящик письменного стола. Виной тому было неотступное, почти суеверное чувство, что Жени может каким-то образом найти их и прочесть. Здесь Арик не видел смысла их прятать, и они валялись где попало: на столе, на буфете, а порой и просто на полу. И не удивительно, что однажды Габи поднял одну из этих бумажек и машинально пробежал глазами.

- Кому это ты объясняешься в любви? – со странной усмешкой спросил он лежавшего на кровати Арика. – Яэль?

- Идиот, - откликнулся тот бесцветным голосом.

Арику было безразлично, что подумает о нем Габи, но сама мысль о том, что можно влюбиться в зеркальное отражение, показалась ему абсурдной и пугающей. «Словно сотворенной из антивещества, если можно говорить о веществе мысли», - подумал Арик.

- Не такой уж это абсурд, - возразил Габи, неприметно ощупывая взглядом его побледневшее лицо. – Ты очень много времени проводишь в ее обществе.

Она молода и красива, а какой мужчина может устоять перед молодостью и красотой? Вспомни хотя бы Нарцисса.

- Она отражение, - сказал Арик, не отреагировав на последнюю реплику, смысл которой дошел до его сознания несколькими секундами позже.

- Что ты знаешь об отражениях?

На пару минут воцарилась пауза, долгая и страшная, совсем не похожая на чуткую, полную музыки и холодного света ночную тишину.

- Ничего, - ответил, наконец, Арик и сел на кровати так резко, что закружилась голова, и комната, медленно качнувшись, поплыла влево. - Я приехал сюда отвлечься, Габи, и, может быть, получить новые впечатления. А эти ваши «зеркальные люди» - такая экзотика... Да и с кем еще мне здесь беседовать?

- Со мной, например. Ведь это я тебя сюда пригласил. И, между прочим, совсем не для того, чтобы знакомить с Яэль.

- А для чего же тогда? Нет, я не то хотел сказать... извини, Габи. - Мысли Арика путались, копошились в голове, как змеи, - тугой, отливающий золотом и бронзой клубок - и никак не удавалось распознать в них главную, единственно нужную. - Я как-то странно себя чувствую... Уж не гипнотизируешь ли ты меня?

Арик хотел улыбнуться, но улыбка получилась жалкая и слабая, такая, что ему самому стало стыдно.

- Если бы я умел гипнотизировать, - с горечью отозвался Габи, - ты бы сейчас совсем не так со мной разговаривал... но, какая разница? Ведь ты хотел о чем-то спросить?

- Да, - Арик помедлил, позволяя неизвестно откуда взявшейся пустоте расползтись и заполнить его мозг. - Ты говорил, что можешь помочь мне избавиться от любви к Жени.

Вопрос вздрогнул и повис в воздухе, словно наполненный гелием шар, и легкий сквозняк чуть заметно покачивал его.

Габи молча смотрел на Арика, и новое, незнакомое выражение появилось в его глазах.

- А ты этого хочешь? - спросил он, наконец.

«Хватит ли у меня мужества сказать «да»?» - подумал Арик, чувствуя, как мучительная, сладковатая, точно мякоть перезревшего плода, боль зарождается в груди и, опускаясь ниже, разливается по всему телу. Головокружительная иллюзия невесомости, нечто среднее между ощущением падения и полета.

- Ну скажи, что ты этого хочешь, - голос Габи прозвучал почти умоляюще.

Но Арик отрицательно покачал головой. Где-то далеко, за окном, за зеркальными стенами пошел дождь, и его крупные капли запрыгали, зашуршали по отдающей тепло мостовой. Их шорох складывался в музыку, музыка - в слова, а в словах содержался ответ, который люди вот уже на протяжении тысячелетий не хотели знать.

«Может быть, они прислушаются хотя бы на этот раз? Может быть, они, наконец, решатся услышать?» - думал дождь, с многовековым терпением продолжая отстукивать по быстро намокающему камню все ту же бесконечно мудрую, неуловимую для человеческого слуха песню.

Глава 4

- Как называется эта птица, что поет ночами и чей голос похож на человеческий? – поинтересовался Арик у Габи, когда они вдвоем прогуливались по городу.

Габи что-то показывал ему, но Арик не смотрел: кроме зеркальных стен в этих краях не было ничего интересного. Разве что люди. Одетые ярко, даже эпатажно, они держались обособленно, как будто не смотрели друг на друга, а двигались, точно атомы, каждый по своей траектории. Казалось, лишь какое-то шестое чувство удерживает их от столкновений.

- Это Сирена, - ответил Габи.

- Сирена?

- Так называется эта птица. Ее никто никогда не видел. Но голос слышен везде, и его невозможно ослабить самой мощной звукоизоляцией.

- Странно, - вслух подумал Арик. – А может быть, ее и нет вовсе?

Солнце, медленно ползущее по прозрачному небосводу, выглядело безжизненным и хрупким, а густой воздух казался ломким, как стекло. Но самым страшным представлялось Арику не это, а то, что так было всегда.

- Твоя идея не бесспорна, - откликнулся Габи. – Но мне нравится, что ты начинаешь мыслить. Между прочим, могу подкинуть тебе еще один повод для раздумий. Вчера Яэль пожаловалась, что из комнаты, где она раньше спала, исчезла кровать. Очевидно, для нее это что-то вроде суеверия: желания, высказанные в моем присутствии, как правило, исполняются. Хотя вряд ли она видит какую-то связь между мной и их осуществлением. Так вот, мне пришлось поставить ей диван в нашу зеркальную комнату.

- Да, так что же? – отозвался Арик без всякого интереса.

- Она хочет быть поближе к тебе. Ночевать там, где ты обычно бываешь, и, очевидно, надеется, что тогда ты будешь проводить ночи с ней.

От неожиданности Арик остановился.

- Какая наглость! – невольно вырвалось у него. – Нет, Габи, ты можешь себе это представить? – он отстраненно слушал собственные реплики, вполне уместные и немного театральные, они успокаивали и позволяли продемонстрировать правильный образ мыслей.

Но внутри была пустота и растерянность, и еще что-то, похожее на опрокинутое зеркало, а в нем – его, Арика, широко раскрытые от испуга глаза. Красноватый блеск в зрачках... это отблеск свечи, такой тонкой, что длинные, нервные пальцы вот-вот переломят ее пополам. Сплетенный из трех блед-

но-зеленых нитей восковой столбик неравномерно покачивается в такт... дыханию? Музыке? Молитве?

Когда и где Арик видел себя таким? И почему его память хранит не саму картину, а только бледный отпечаток, мутное отражение в косо поставленном стекле?

- Ты действительно этого не понимаешь? – спросил Габи, в упор глядя на него. – Ведь ты отказался от объяснений.

- Что? – Арик вздрогнул так, будто его ударили. - Что ты хотел сказать?

- Я хочу сказать, что Яэль любит тебя, - спокойно пояснил Габи. – Да, не удивляйся, такое иногда случается. Я слышал о зеркальной девушке, которая покончила с собой из-за любви к «настоящему» человеку. И знаешь как? У парня была зажигалка в виде пистолета, а девушка взяла ее отражение буквально из его рук и выстрелила себе в висок. Зеркало ведь не знало, что это всего лишь безобидная зажигалка.

«Наверное, в зеркальном мире и цветы пахнут по-другому, - догадался Арик, - и воздух теплее или прохладнее, и облака можно достать рукой, а на ощупь они похожи на влажную морскую пену. А яд можно выпить, как обычную воду, и не отравиться».

- Все зеркало было забрызгано кровью, - продолжал Габи и тонкая, неуловимо жестокая усмешка покривила его губы. – А потом она исчезла, словно высохла, даже следа не осталось. А через два дня и тело исчезло, растворилось в зелени, цветах и переливах неба. Вот такая у них смерть.

Арик только слегка вздохнул.

- И все-таки... как она может? – спросил он минуту спустя, имея в виду Яэль.

- Она не понимает, что мы не такие, как она. Для нее ты – вернее, твоё отражение – просто один из окружающих ее людей, плоский житель двухмерного мира. Собственно говоря, она и не догадывается о твоём «реальном» существовании, а если бы догадалась, ты, наверное, представился бы ей каким-нибудь монстром, отвратительным и непостижимым для разума чудовищем.

Габи рассмеялся, сухо, с издевкой; а Ариком вдруг овладела горькая апатия, граничащая с бессилием. «Ну зачем он злорадствует? – шевельнулась в сознании неприятная мысль. – Ведь это же не искренне».

- А ты хотел бы, чтобы я рыдал над этой трогательной мелодрамой? – язвительно поинтересовался Габи.

Подсознательно Арик чувствовал, что ему следует как минимум испугаться, но внутри у него все было мертво, вяло, словно от одного его внутреннего горизонта до другого простиралась безжизненная и бескрайняя, лишённая растительности равнина. У него хватило сил только сказать:

- Ты отвечаешь на мои мысли, а не на слова. Как странно... Я замечаю это не в первый раз.

А мысленно добавил: «Я давно замечаю, Габи, что в тебе есть что-то противоестественное. Что-то, не позволяющее тебе быть таким, как все. Но я не боялся

тебя, потому что думал, что ты никогда не захочешь причинить мне вреда. Сейчас я не уверен даже в этом».

Легкая тень пробежала по лицу Габи, как будто кто-то невидимой рукой стер с него улыбку. Теперь оно было усталым и болезненным, а кожа приобрела землистый оттенок.

- Я не причиню тебе вреда, Арик. А что касается всего остального, то ты заблуждаешься.

Арик ничего не ответил, и они молча вернулись домой, каждый погруженный в свои мысли. Во всяком случае, Арику было о чем подумать. Закрывшись в своей комнате, он лежал на небрежно задрапированной лазурно-золотым шелком кровати и наблюдал, как медленно движутся по потолку тонкие тени. Как извиваются в зыбком причудливом танце, совокупляются, образуя изящные живые конфигурации, и с неизъяснимой грацией пожирают друг друга. Вот такая у них смерть, как сказал бы Габи.

А когда огненное, жидкое солнце, пульсируя, перелилось через ломкую линию горизонта, Арик выбрался, наконец, из своего убежища с готовым решением.

- Габи, - начал он, стараясь не смотреть другу в глаза, - я долго злоупотреблял твоим гостеприимством. Поверь, мне здесь было очень хорошо, и я искренне благодарен тебе, но... мне пора возвращаться.

- К Жени? - резко спросил Габи, словно арканом перехватывая его убегающий взгляд.

Арик неопределенно пожал плечами.

- Ну что ж, - казалось, Габи был не то растерян, не то огорчен. - Всему хорошему когда-нибудь приходит конец, иногда гораздо раньше, чем мы рассчитываем. Но на прощание я хочу исполнить твою просьбу. Помнишь, ты просил меня погадать...

- Так ты можешь? - слабо улыбнулся Арик.

- Ты ведь знаешь, что могу.

Они прошли в боковую комнату, где Арик никогда раньше не был, через дверь, которую он прежде принимал за встроенный стенной шкаф. Из мебели там находился только инкрустированный красным стол, два простых стула и маленькое зеркальце в круглой оправе посреди стола. Габи принес блюдо с водой, поставил его перед зеркалом, зажег свечу, и по поверхности импровизированного фарфорового пруда с бледно-зелеными берегами заструилась алая лунная дорожка. Подул легкий ветер, пустив по воде зыбкую рябь, качнулись темные кроны невидимых деревьев. Нет, это не луна... луна не светит так ярко.

Габи буквально впился глазами в сотворенную им фантастическую картину, и под его настойчивым взглядом она задвигалась, ожила. В ней что-то происходило, неуловимо и страшно менялось, и следы этой перемены все явственнее насыщали воздух, подобно плесени, проступали на стенах комнаты, багровыми пятнами пошли по столу.

Арик сидел, не смея шевельнуться.

- Ты боишься? – спросил Габи, не переставая смотреть в зеркало.

Арик слегка покачал головой.

- А если я скажу, что ты скоро умрешь?

Арик вздрогнул, как от удара, внутри у него все похолодело, и сердце, точно маленькая птичка, затрепетало и сжалось в комок под чьими-то ледяными, безжалостными пальцами.

- Но ведь это не так?

- Это не так, - с легкой улыбкой согласился Габи. – Но если?

Арика била тяжелая, мучительная дрожь. В эту минуту ему, действительно, казалось, что его жизнь и смерть целиком зависят от решения Габи.

- Нет, - прошептал он умоляюще. – Я не хочу... Я еще так молод... Я ничего не успел сделать.

Габи поднял глаза от зеркала и с холодным любопытством устремил их на Арика.

- А что, собственно, ты хотел успеть?

- Я не знаю. Наверное, то же что и все... жениться, иметь детей...

Габи презрительно усмехнулся, и искренняя заинтересованность, вспыхнувшая было в его взоре, потухла.

- Это сделают за тебя другие. Земля не опустеет, если ты не оставишь после себя потомства.

Арик опустил голову. Невыразимая печаль овладела им, нахлынула, как удушливая волна; и все его надежды, все то, что он нежно и бережно лелеял в сердце, растворилось в ней, точно соль.

- Так что ты хотел успеть? – снова спросил Габи, с едва заметной насмешкой.

- Я должен привыкнуть к мысли о смерти... свыкнуться с ней, принять в себя, как неизбежное. Обрести гармонию на грани небытия.

Арик говорил и одновременно с удивлением и как будто со стороны вслушивался в свой голос. Что это за странные слова и откуда такая удовлетворенная улыбка на лице Габи?

- Не беспокойся, у тебя еще есть время, - произнес Габи, вставая, и легким движением опрокинул зеркало на стол.

Арик понял, что отсрочка получена.

Глава 5

Как фантастически красива она была в то утро! Как благоговейно и нежно обволакивал ее стройную, словно надломленная тростинка, фигуру дымчато-голубой свет неба, как мягко струились по плечам темно-русые волосы... Арик собирался уехать, не попрощавшись с Яэль, но вспомнил тот миг, когда очарованный солнцем, он впервые разглядел в ней гениальное

творение непризнанного, но великого художника, редкостный и тонкий порыв к совершенству, - и не смог отказать себе в удовольствии увидеть ее в последний раз.

Она ждала его, слегка разочарованная и нетерпеливая. Но стоило ему появиться на пороге, как ее лицо озарилось такой неподдельной радостью, что Арику стало стыдно. Стыдно за боль, которую он собирался ей причинить, и одновременно странно спокойно на душе, потому что эта боль едва ли могла оказаться долговечной. Зачем Габи говорил про Яэль всякие гадости? Даже если она влюблена, ее любовь светла, как меловое дно сбегающего с гор ручья.

- Яэль, - сказал Арик как можно мягче, - я должен уйти из этого дома. Мне не хотелось бы тебя огорчать, но, наверное, мы никогда больше не увидимся.

Она не поняла, но инстинктивно напряглась и сделала невольное движение в его сторону, словно стремилась удержать дорогое ей отражение, обманчивую иллюзию присутствия рядом другого человека.

- Почему? Разве тебе было плохо со мной? Понимаю – ты боишься Габи... Но ведь мы можем уйти вдвоем и поселиться в другом месте.

- Нет, - Арик беспомощно покачал головой. – Дело не в этом.

До сознания Яэль, наконец, дошло то, что он собирался сделать. Она вскочила с дивана и бросилась к нему - прекрасный смертельно раненый зверь - робко, почти испуганно, взяла его за руку. Вернее, не его, а отражение.

- Ну пожалуйста, не оставляй меня... Не уходи. Я так тебя люблю.

- Яэль, - серьезно и искренне сказал Арик, - ты самое лучшее, что было в моей жизни. Но ты должна понять... Нет, ты ничего не должна понимать, просто прими все, как есть. Мы не можем быть вместе. Мы и сейчас не вместе, так зачем обманывать самих себя?

«Ты думаешь, Яэль, что я там, рядом с тобой, - мысленно досказал он, зная, что она его не услышит. – А я так далеко, что ты даже не в состоянии себе это представить. Потому что ни в твоём, ни в моём мире нет таких расстояний».

- Арик, - в голосе Яэль послышались слезы, еще мгновение и они потекли по щекам. Я не понимаю тебя... Ты говоришь странные вещи. Ты все время ищешь смысл там, где его нет. Неужели эта призрачная истина дороже для тебя, чем я? Чем моя любовь?

Она плакала легко и красиво, так же, как двигалась, ела, смеялась. Но Арику больше не хотелось на нее смотреть.

- Ты ведешь себя так, как будто я неприятна тебе, - говорила Яэль и сквозь радужную пелену слез пыталась заглянуть ему в глаза. – Ты не устаиваешь меня даже взглядом. Твоя рука мертвая и холодная, в ней не больше жизни, чем в этой полированной спинке стула. Ну неужели ты не можешь хотя бы на прощание, хотя бы на две минуты стать другим?

- Так ты только сейчас заметила, что я другой? – спросил Арик горько.

Но мысли его были уже не с Яэль. Стоять и объяснять что-то зеркалу, что может быть бессмысленнее. Печальный и изысканный самообман – пытаться

разглядеть в своем собственном отражении образ другого человека. С мимолетным отчаянием Арик почувствовал, как через его мозг текут чужие мысли: холодные, отстраненные, острые, как лезвие ножа. Он пытался избавиться от них и вспомнил, как однажды, гуляя в парке, увидел молодого парня, стоящего на коленях перед зеркальной стеной. Но на эту картинку невольно накладывалась другая: одинокий лебедь, замороженный и прекрасный, как нарцисс, смотрит в зеркально прозрачную воду. Ты один в целом мире, но под тобой и вокруг тебя – зеркало-пруд, а значит ты не одинок.

Арик вышел из дома, шагнул в студенистую солнечную муть, и стеклянное небо над его головой расплылось блеклыми голубыми пятнами.

- Тебе плохо? – поинтересовался Габи, садясь в машину и даже не взглянув на своего измученного, прикрывшего глаза пассажира.

- Зачем ты спрашиваешь? – слабо откликнулся Арик. – Ведь и так все знаешь.

- Нет, не все.

Автомобиль плавно тронулся с места, и за окном замелькали невесомые, словно наклеенная на цветную бумагу аппликация, дома. Плоские от белого света лица, так бездарно похожие друг на друга. От жары, движения и режущих глаза солнечных бликов Арика слегка тошнило. Он откинулся на мягкую спинку сидения и рассеянно вслушивался в доносившуюся из радиоприемника песню.

А песня была странная: на фоне надломленной, словно скачущей мелодии приятный, но совершенно лишенный эмоций женский голос речитативом произносил слова:

«...Зеркала – это наши мысли, опрокинутые в другое измерение. Забудь об их назначении, попытайся постичь их суть».

Удивительно. Но и интонации, и голос были Арику непостижимым образом знакомы. Он мог поклясться, что где-то слышал их, и притом совсем недавно. В них было что-то неуловимо неправильное, почти нечеловеческое, что-то такое, чего просто не должно быть, и Арик почувствовал, как знакомая тоска снова сжимает ему горло холодными, подвижными пальцами.

- Что это за песня?

- Какая песня? – нахмурился Габи.

- По радио.

- Радио выключено.

И правда, из приемника не слышалось больше ни звука, даже фоновое потрескивание смолкло.

- Вот видишь, тебе померещилось, - равнодушно заметил Габи и после недолгой паузы добавил, – ведь ты еще вернешься сюда, Арик?

- Вряд ли, не хочу тебя обманывать.

- Нет, ты вернешься.

- Значит, вернусь, - у Арика больше не было сил сопротивляться. – Только сначала поговорю с Жени.

Машина затормозила у здания порта, и мягко застывший воздух привычно взорвался гулом, скрежетом и скрипом бурно кипящей жизни большого города. Вокруг, точно пчелы на намазанной медом ветке, сновали люди, громко разговаривали, смеялись, подзывали друг друга, и только откуда-то издали, но не перекрываемый этим шумом, звучал печальный и невыразительный женский голос. Теперь он пел, но разобрать слова было невозможно.

Глава 6

Жени появилась как всегда неожиданно, словно материализовалась из воздуха. Обычная худенькая девушка в длинной черной юбке и полупрозрачной блузке из синего шелка. Воротничок застегнут на последнюю пуговицу, рукава прикрывают руки почти до запястий – ей незачем выставять напоказ свою красоту.

При виде Жени Арика вновь охватил привычный трепет, и жизнь, еще минуту назад пустая, бледная, обмельчавшая, как пересыхающая река, наполнилась тайным смыслом, заиграла редчайшими красками и оттенками. Снова вернулась боль, растеклась по жилам, горячая, как кровь, и жгучая, как кислота... но, какое наслаждение видеть, что небо больше не стеклянное, оно полно чистейшей голубой воды, такой прозрачной и глубокой, что камни на дне кажутся звездами, а отражение разведенного на другом берегу костра полыхает так ярко, что его легко принять за Солнце. Как странно смотреться в такое небо и видеть усеянное туманно-белыми песчинками дно, и понимать глазами то, что не дано постичь разумом.

- Ты уезжал, чтобы отдохнуть от меня, - сказала Жени. – Поэтому я не стала тебя искать.

- А ты знаешь, где я был?

Девушка слегка наклонила голову, не то присматриваясь, не то прислушиваясь к чему-то.

- Жени, - медленно произнес Арик, борясь с непреодолимым отвращением к самому себе. – Я должен тебе кое-что сказать.

- Не надо, - ответила она очень мягко. – Правда, не надо. Мы можем быть друзьями, поверь, Арик, ты не пожалеешь.

Она стояла подчеркнуто прямо, хрупкая и спокойная, и в ее фиолетовых, с поволокой, глазах плавали странные блуждающие огни, вспыхивали и гасли, точно столкнувшиеся в темноте глубоководные рыбы. Гордая и одинокая, она ничего не просила и ничего не предлагала, а просто пришла поговорить, развлечься, и, может быть, взглянуть на себя со стороны.

- У меня к тебе только один вопрос, - продолжал Арик, не обращая внимание на ее слова. – Почему ты никогда не смотришь мне в глаза? Почему не отвечаешь на прикосновение? Ведь ты не можешь, верно?

Жени молчала, но что-то неуловимо переменилось в ее лице, и Арика поразило это новое выражение: отчаянное, горькое, жестокое.

- Ты видишь, я не терял времени даром. Я кое-что понял и теперь мы можем разговаривать почти на равных, в открытую.

- Ничего ты не понял, Арик, - голос ее прозвучал неожиданно печально и взволнованно, - ничего...

Мог ли он ошибиться? Еще не поздно было сделать шаг назад, обратить свои слова в шутку, оставить все, как есть, как она хотела. Может быть, они и в самом деле стали бы хорошими друзьями.

- Уходи, - сказал Арик сухо. – Я не хочу тебя больше видеть. Уходи... или разбей зеркало.

Бешенство исказило красивое лицо Жени, она отпрянула и подняла руку, точно для удара. И Арик, закрыв глаза, с ужасом и смирением ждал, как сейчас Вселенная расколется надвое и к ногам разгневанной красавицы посыплются осколки его мира.

Но, секунда, и рука опустилась, безвольная, растерянная, словно ослабевшая. Жени повернулась и навсегда ушла из его жизни.

«Кто выдумал эти зеркала? Кто-то такой же мудрый, как ты, или мудрее тебя?

Почему одна свеча, отражаясь в тысяче зеркал, превращается в звездное небо; а букет увядшей травы на твоём столе в цветущие сады и густые заросли чертополоха?

Зеркала... Ты даришь им свое отражение, а они возвращают тебе то, чего нет и никогда не было. Потому что зеркала – это наши мысли, опрокинутые в другое измерение. Забудь об их назначении, постарайся постичь их суть...»

- А ты ее знаешь? – вслух спросил Габи.

Пение смолкло, и несколько секунд он вслушивался в тишину.

Он знал, что в другой комнате такое же живое существо, как он, хотя и совсем на него не похожее – полуптица Сирена – напряженно затаилась, кутаясь в свое фантастическое бледно-лимонное оперение.

Сколько мгновений тишины способен вынести человек?

- Ну, продолжай же, - взмолился Габи. – Пожалуйста, продолжай.

Ответ пришел почти сразу: «Приди сам и попроси».

Чтобы попасть в другую комнату нужно было пройти пятнадцать шагов по темному, искривленному коридору. И это было страшно, потому что по стенам коридора ползали, извиваясь, сверкающе-синими змеями, ледяные вихри, а под потолком гнездились проливные дожди.

Но самым пугающим было не это. Как уйти из своего постоянного жилища – небольшой прямоугольной комнаты, сплошь уставленной двух-, трех- и четырехмерными зеркалами, крошечной по размеру и бесконечной по протяженности.

Зеркала, поставленные друг напротив друга, создают иллюзию безграничности Вселенной, и тебе кажется, будто ты окружен людьми, твоими друзьями и врагами. Они живут каждый своей жизнью и, похоже, не придают значения твоему существованию. И даже не догадываются, как они нужны тебе.

Габи помнил, чем кончается песня Сирены. «Но стоит тебе повернуться к зеркалу спиной, и целый мир померкнет в твоих глазах; и ты умрешь от ужаса наступившей пустоты, и восстанешь посреди осколков рассыпавшихся миражей, и познаешь смысл одиночества».

Габи зажмурил глаза и на ощупь, как ступающая по лунному лучу сомнамбула, двинулся к двери. Пока он достиг конца коридора, его волосы побелели от инея, а заочковенные пальцы не сгибались и почти утратили чувствительность. Но Сирена ждала его!

Он подошел и, опустившись перед ней на колени, погрузил руки в теплые, шелковистые перья; а она, тихо воркуя, принялась выклевывать голубые кристаллики льда из его спутанных волос.

Конечно, Сирена безобразна и ненавидит зеркала, но, Господи, как она поет!

Серое небо Йоника

Над Йоником было серое небо. Оно всегда казалось таким, даже в погожий день, сырым, рваным, точно обитым скомканной ватой. Под ним давно вымерло все живое, остались только люди и их безумные сновидения.

Да и остальное не радовало глаз. Узкие тротуары, мостовые, всегда идущие под уклон, чахлые скверы и здания уродливой архитектуры, приземистые и длинные, как поезда, или, наоборот, высокие и худые, точно церковные свечи.

Йоник лежал вдали от крупных мегаполисов, окруженный болотами и черными торфяными озерами. Этаким городок в табакерке, царство пружинок и молоточков, прихлопнутое сверху тяжелой латунной крышкой. И все, что в нем происходило, не выплескивалось наружу, а закисло и булькало внутри, точно недобродившее вино в запечатанном сосуде.

Большой мир решал свои маленькие проблемы, и мало кто слышал о загадочной эпидемии, охватившей Йоник и лишившей рассудка, а потом и жизни десятки, а то и сотни горожан.

Болезнь проявлялась странно. Люди начинали во сне выходить из тел... даже не так, из их спящих тел выходили разные животные. Иногда совсем маленькие - мышки, морские свинки, кролики или черепахи. Порой более крупные - кошки, волки, собаки. Волки даже чаще, видно, много в человеческой натуре хищного и дикого. А бывало, что и совсем крупные, вроде слонов.

Они слонялись по комнате, роняли предметы, толкались в двери и окна, до смерти пугая случайно проснувшихся домочадцев больного. Если удавалось, выбирались из домов на улицы, под бледно-зеленый свет фонарей, лакали гнилую воду из водосточных канав, выли на медную луну, рылись в мусорных кучах, вынюхивая остатки еды, перепахивали лапами жалкие городские газоны. Не вели себя агрессивно и ни на кого не нападали, но случайные ночные прохожие шарахались от них, торопясь забиться в подъезды, квартиры, наглухо запертые комнаты. Никто больше не чувствовал себя в безопасности. Звери были из плоти и крови и почти неотличимы от настоящих, разве что по мягкому рубиновому свечению в глубине зрачков.

Сами больные, проснувшись утром, ничего не могли вспомнить. Иногда только обрывки запахов, привкус травы и скрипящего на зубах мокрого песка, да причудливый калейдоскоп размытых или, наоборот, неестественно четких и объемных картин. Станные, нечеловеческие ощущения.

Потом - через несколько дней, недель или месяцев, никто точно не мог предсказать когда - наступало резкое ухудшение, а вернее, вторая стадия болезни. Люди сходили с ума, теряли память, речь и рассудок, и сами становились, как животные, причем животные нечистоплотные и тупые.

Ухудшение прогрессировало, постепенно пропадали рефлексy, зрение, слух... и больные умирали.

Йоник охватила паника, но, паника тихая, на грани обреченности. Власти запретили жителям покидать город, вокруг была создана карантинная зона, которая охранялась строже, чем государственная граница.

Заболевших изолировали - отвозили в бывший санаторий на Зимней горе, спешно переоборудованный в клинику, а точнее, в закрытый исследовательско-медицинский центр. Об их дальнейшей судьбе никто не знал.

Глава 1

Яркие синие блики дробились в мелких лужах, упругими горошинами скакали по асфальту, но глазам от них было не больно, а тепло и весело. Воздух казался разноцветным, пропитанным солнцем и запахом молодой травы, мягким воркованием голубей и радужными брызгами дождя. У кромки тротуара двое детей безуспешно пытались поджечь влажный тополиный пух.

Такой странный для Йоника апрель. Симон Соловейчик, студент второго курса политехнического института, возвращался домой после лекций, но по дороге успел занести в редакцию местного еженедельника три новых стихотворения и карандашный рисунок. Как всякий художник, Соловейчик мечтал стать великим, а как всякий поэт, в тайне надеялся спасти мир. Вот уже год, как люди покупали журнал исключительно ради пары зарифмованных строчек, подписанных скромным псевдонимом «Симон-сказочник». Не то чтобы этот самый сказочник отличался талантом, но, он был молод, и оттого в каждом его стихе жило что-то озорное и светлое, похожее на только-только вылупившуюся из невзрачной личинки стрекозу. Оно порхало между строк, звонкой каплей срывалось с кончика карандаша, так что даже серое небо Йоника выходило у Симона не бесцветным и скучным, а радостным, полным живых оттенков.

А еще он украдкой писал роман - длинную и правдивую историю настоящего Сказочника, имя которого он себе легкомысленно присвоил, Ханса Сказочника. О Хансе в городе рассказывали неохотно, и Симону приходилось подолгу просиживать в библиотеке, листая старые подшивки газет, чтобы выудить хоть какую-то информацию о своем герое. Потом каждую найденную фразу, каждый вытащенный из забвения штришок Соловейчик расцвечивал образами, которые подобно воспоминаниям всплывали в голове, так что он и сам не понимал в конце концов, где правда, а где выдумка. И чем дальше писал, тем больше ему казалось, что все, им сочиненное - правда.

Но главное поведал о Сказочнике профессор философии, лекции которого Ханс когда-то слушал в тех же самых стенах, что теперь Симон.

«Он был очень похож на тебя, - говорил пожилой философ, промакивая салфеткой слезящиеся глаза. - Такой же долговязый и худой... и нос с большой

горбинкой. Я бы подумал, что вы братья. Тебе не мешает в жизни твой нос, Соловейчик? Ему мешал...

Да, о чем я? Он все время что-то выдумывал, поэтому его и прозвали Сказочником. Да... И все потом сбылось, до последнего слова. Вот, взгляни, - он протянул Симону несколько плотно исписанных листков, - его сказки. Немного осталось, но кое-что мне удалось сохранить. Я могу сделать тебе копию, но только ты никому... понимаешь?

Он все предсказал. И эту болезнь, от которой мы сейчас сходим с ума. Звери-призраки... ты сам-то догадываешься, чьи это призраки, Соловейчик? - и тут профессор понизил голос до шепота. - Зло не остается безнаказанным, вот в чем мораль любой сказки... И несправедливость, и подлость. С ним поступили подло и жестоко, и теперь его герои восстали и мстят нам.

Он знал, что так будет...»

Симон почтительно взял из его рук ломкие, точно сухие осенние листья, странички. Пожелтели от времени? Вряд ли, скорее, бумага желтоватая. Не так много лет прошло.

- Та самая сказка?

- Ту сказку уничтожили, разве не знаешь? Его самого чуть не уничтожили... Ханса и раньше не любили, а это была последняя капля. Его выгнали из института, а потом... да ты, наверное, знаешь всю историю.

Симон вздохнул. Пересказывать историю Сказочника считалось в городе чем-то неприличным, вроде того, как разглядывать в общественном месте порнографический журнал или подать гостям на стол надкусанное печенье.

- И с тех пор его никто не видел?

- Может быть, и видели... но будешь много спрашивать, молодой человек, закончишь так же, как этот...

Он многозначительно посмотрел на Соловейчика, тщательно сложил листки и сунул за пазуху.

Говорят, что обещанного три года ждут. Симон уже и не чаял получить заветные копии, пока однажды после лекции, прохаживаясь между рядами, профессор не уронил ему на колени большой конверт. Соловейчик нетерпеливо надорвал угол и увидел отксеренную на белой бумаге рукопись. Изящные, словно парящие в пространстве листа буковки. Четкие, как по линейке, прописанные строчки. «Неужели он был таким, как про него говорят? - спросил себя Симон, пряча конверт в сумку. - Ханс... Сказочник-графоман, которого ненавидел весь город. Забитый, истеричный, комплексующий из-за собственной внешности? Нет, глупости, клевета.» От рукописи исходило тонкая, но отчетливая аура спокойной уверенности и внутренней силы.

В конверте оказались две сказки-малютки и одна длинная, незаконченная. Придя домой, Симон разложил их на письменном столе и с наслаждением прочел. Сперва детскую - про улитку, которая боялась солнца и всегда носила на

спине домик цвета дождя. Правильно, все улитки боятся солнца. Незатейливая история, яркая и живая, точно копошащийся на ладони жучок.

Затем прочитал о молекуле воды, которая жила сначала в снежинке, потом в капельке, до тех пор, пока не научилась летать. И наконец - красивую и мрачную легенду-притчу о пропавшем городе. Увы, она обрывалась на полуслове. Симон так и не понял, почему город вдруг ни с того ни с сего исчез со всех географических карт, а его название - из телефонных справочников и адресных книг. Стал ли он жертвой колдовства, пространственно-временного катаклизма, нашествия инопланетян? Пало ли на него чье-то проклятие?

«И в чем тут преступление? За что его возненавидели? - размышлял Соловейчик, неторопливо перебирая в сонном свете голубого ночника рассыпанные по подушке листки. - Что такого плохого или вредного он сочинил? Взрослые люди не любят сказки и сказочников, вот в чем, наверное, дело».

Даже если это не последняя вещичка Ханса, то, наверняка, одна из последних. Его уже затравили. Он устал, отчаялся, больше не надеялся быть услышанным и понятым. И все-таки писал... Каждая фраза - это крик в пустоту. Каждое слово сочтется кровью, точно израненное дерево - смолой. Словно болел он этим пропавшим городом, Ханс Сказочник, и хоть у позорного столба, да под градом плевков, но должен был о нем рассказать. «Интересно, - подумал Симон, - а можно ли отыскать Йоник хоть на одной карте?»

Загадочная легенда растревожила его сон. Листок выскользнул из ослабшей руки, ночник замигал и превратился в полную луну, тусклую и любопытную. Небо стало тягучим и густым. И вот он сам, Симон, летит, продираясь сквозь вязкие облака... даже нет, не летит, а плывет по черным волнам, а под ним, на дне, расстилается город.

И город этот похож на Йоник и не похож в то же время, потому что никто еще не видел в Йонике такого буйства ночных красок, такой отчаянной, кричащей красоты, ломкого изящества форм и хрупкой гармонии линий. Симону кажется, что там, внизу, лежит огромный, сверкающий каждой гранью бриллиант.

«Наверное, не так это плохо - исчезнуть... если не насовсем, а только с географических карт. Исчезнуть и при этом остаться, в сказках, в снах, на морском дне...», - думает Соловейчик, пробуждаясь, и комната тонет в теплых золотых лучах.

После того сна что-то изменилось. Словно из рукописей Ханса в мир перетекла какая-то яркость. И небо стало не серым и даже не голубым, а нарядным и красочным, точно поле весенних цветов. Симон чувствовал себя, как человек, который много лет носил темные очки, а потом вдруг снял, и в глаза ему хлынул солнечный свет.

Вроде бы нет причин радоваться, потому что город гибнет от неизвестной болезни, и каждый день людей забирают в клинику на Зимней горе, и по улицам страшно ходить ночью.

И все-таки в Йонике снова апрель, и голова кружится от легкой эйфории, и не хочется думать о плохом. А хочется поджигать вместе с детьми тополиный пух, пусть он и не горит, или бежать вприпрыжку, или сочинять стихи и расклеивать на фонарных столбах, как это делал тот, другой... стоп, не надо уподобляться злосчастному Сказочнику. Он, Симон, поведет себя умнее. Будет писать безобидные рифмовочки и чинно относить в редакцию. Ну, и рисунки заодно. Пускай привыкнут к нему, узнают его, как человека приличного. А потом он вдруг принесет им...

И тут Соловейчик, зажмурившись, представлял, как входит в кабинет главного редактора и кладет на стол рукопись романа — подлинную историю Ханса Сказочника. «Что они со мной сделают? - спрашивал он себя, внутренне улыбаясь. - Четвертуют? Зажарят на медленном огне? Ничего они мне не сделают!»

Он так замечтался, что не заметил, как очутился у собственного подъезда. А жил Симон Соловейчик в доме странной архитектуры, похожем на взлетающий из-под земли самолет, огромный и тупоносый, с прижатыми к корпусу неуклюжими крыльями. Но так казалось только с одной стороны, если подойти с другого бока, это был дом, как дом.

Симон поднялся по лестнице на второй этаж, позвонил и - укололся об испуганный взгляд матери.

- Mam, привет. Что-нибудь случилось?

Ну почему они все так боятся?

- Сегодня утром... забрали Лесли Шпигельмана.

- Кого?

- Шпигельмана из восьмой квартиры. У него дочка осталась, маленькая, десять лет. Одна. Мать полгода, как умерла.

Симон пожал плечами. Жалко девочку Шпигельманов, ну, да, наверное, есть родственники, которые о ней позаботятся. Или нет? Не оставаться же девчонке одной в пустой квартире.

- Может, ей помочь чем?

- Да чем мы поможем? Нам бы кто помог.

Симон сел за стол, мать поставила перед ним тарелку супа. Сейчас он пообедаст, потом выучит главу для завтрашнего семинара, а там можно и чем-то для души заняться. Романом, например. И пусть мир рушится. Симон ел, не поднимая взгляда от тарелки и стараясь не встречаться с матерью глазами. Покончив с обедом, быстро ушел к себе и закрылся в комнате.

Скупой свет, просачиваясь сквозь тонкие кисейные занавески, окрашивал белые стены во все цвета радуги. Переливчатыми пятнами дрожал на линованных страницах лежащей на столе тетрадки.

«Он всегда сочинял сказки, - писал Соловейчик, низко склонившись над рукописью. Время от времени он останавливался и покусывал от нетерпения колпачок шариковой ручки. - Иногда совсем крохотки, не больше странички, а

иногда целые сказочные повести. Населял их животными, и цветами, и злыми гномами, и коварными волшебниками, и простодушными феями, не ведавшими, сколько бед может навлечь на людей неумелое колдовство. Выдумывал истории о проклятых городах, и о затонувших кораблях, и о мудрых дельфинах, и о мечтах, живущих в прекрасном стеклянном дворце, и о тех, кто бросал в этот дворец камни. Его собственному дворцу суждено было обрушиться очень скоро...»

Вот и нас погребло под обломками, подумал Симон, и вряд ли когда-нибудь сумеем выбраться.

«Его истории нигде не печатали, но он все равно нес их людям, потому что сказки должны жить среди людей. Он раскидывал повсюду исписанные листки, как одуванчик парашютики. Оставлял на партах после лекций, развешивал на стенах, забывал в автобусах и на скамейках. Подбрасывал в почтовые ящики.

Йоникцы не хотели читать, боялись увидеть жизнь разноцветной. Но ничего не могли с собой поделатъ. Сказки Ханса завораживали, притягивали, мягко брали за руку и увлекали в неведомое. Врывались в сердце, точно ветер в открытое окно, делая людей послушными и слепыми... нет, наоборот, зрячими.»

Симон задумался. Чем по сути дела слепой человек отличается от зрячего? Пожалуй, тем, что у первого больше иллюзий. Тот, кто не видит окружающего, может представить его себе, каким угодно. Но, терять иллюзии больно. Поэтому, когда слепые исцеляются, им вначале очень мешает зрение, так что порой приходится следить, чтобы они не выцарапали себе глаза. Соловейчик помедлил и вычеркнул последнюю фразу.

Он просидел над рукописью до позднего вечера. Не столько писал, сколько размышлял и вспоминал. Припомнил детство, неяркое, словно подернутое серой пеленой. Блеклые годы под блеклым небом. Тогда Йоник еще не слышал про Сказочника, и все казалось другим, не таким, как сейчас.

За окном сгустилась бархатная фиолетовая ночь. Соловейчик со вздохом убрал тетрадь в ящик стола и вышел на кухню. Мать уже спала, она последнее время ложилась рано. В раковине поблескивала немытая посуда. На буфете горкой возвышался нарезанный хлеб. И больше ничего. Странно, совсем не похоже на его всегда аккуратную и заботливую маму, для которой накормить единственного сына завтраком, обедом и ужином было делом чести. «И что с ней случилось? - с легкой тревогой подумал Симон. - Что, вообще, происходит?» Он вымыл тарелки, протер и убрал в кухонный шкаф, попил чаю с бутербродами и вернулся в комнату. Разделся и лег, притушив голубой ночник.

Обычно Соловейчик спал крепко, хотя и беспокойно, и никогда не просыпался до рассвета. Но в ту ночь его что-то разбудило - звук, словно от падения чего-то тяжелого, звон разбитого стекла и испуганное дребезжание зеркального трюмо. Симон приподнялся на локте, чувствуя головокружение и тошноту. Должно быть, от духоты. Он забыл открыть на ночь форточку.

Сознание медленно возвращалось к нему, красочные обрывки сна разлетались потревоженной стайкой райских птиц. На полу лунно серебрились

осколки упавшей с полки большой хрустальной вазы, одинокая гвоздичка кровавым пятном темнела на сером линолиуме.

Соловейчик резко сел на кровати, и его еще больше затошнило, теперь уже от страха. Ваза с цветком не могла упасть сама по себе, ее кто-то толкнул. Окно закрыто, значит, ничто не могло проникнуть в комнату с улицы. Это могло быть только... Симон подумал о матери, но нет, она всегда запирала дверь, ложась спать, заперла и на этот раз.

«Значит, я», - произнес он вслух, почти спокойно, хотя слова эти были приговором. Он даже не очень удивился, словно подсознательно ждал такого конца. Да что там говорить - все в городе ждали беды, и каждый верил, что ему-то как раз удастся не заболеть.

Симон окончательно проснулся, встал и, не зажигая света, подошел к зеркалу, которое в полутьме казалось старым, словно поросшим изнутри густым зеленым мхом. Заглянул самому себе в глаза - не расстроенные, не испуганные, а счастливые, просто пьяные от счастья. Чудеса продолжаются?

Так, и что теперь делать, раздумывал Соловейчик. Ждать, пока на него донесет кто-нибудь из соседей? Мать скорее всего никуда не станет сообщать. Да она уже наверняка знает. Или не знает? «Будь неладна эта всеобщая паранойя», - вполголоса выругался Симон.

А если и не донесет никто... Жить в постоянном страхе, покорно ожидая печальной развязки?

«Нет уж, я буду сопротивляться, - сказал он своему отражению в зеркале. - Пусть никто не выздоравливает, а у меня получится. Вот получится и все.»

Он понимал, что единственная надежда - не прятать, подобно страусу, голову в песок, делая вид, что ничего не случилось, а самому отправиться в клинику на Зимней Горе и добровольно сдать в руки врачей. Там ему могут помочь. А дома - сколько ни хорохорься, сколько ни запирай двери, чтобы скрыть свой неожиданный позор - но болезнь его одолеет, как одолела сотни его несчастных предшественников. Значит, так он и сделает. Утром скажет матери... нет, пожалуй, он ничего не будет ей говорить, просто тихо уйдет. Не стоит лишний раз мучить друг друга.

Глава 2

Зимней Горой называлось место на вершине йоникского холма, дикое, покрытое редким сосновым лесом. Во всем городе снег сошел к апрелю, и только здесь, под угрюмыми кронами хвойных гигантов, на окутанной молодым подлеском земле виднелись то тут, то там белые островки.

Соловейчик шагал по раскисшей от весеннего половодья тропинке и думал о том, что ни одна вещь в мире не пахнет так светло и призрачно, как тающий апрельский снег. Разве что, надежда.

Он не взял из дома ничего, кроме личных вещей и тетрадки с романом. Не известно, удастся ли его закончить, но, если правда то, что рукописи не горят, то история Ханса не должна пропасть. Кто-нибудь ее сохранит и, возможно, допишет.

А вдруг все обойдется? Вдруг именно его, Симона, пощадит суровый Сказочник? Глупо-то как. При чем тут Ханс? Болезнь вызывается каким-то возбудителем... не таким, конечно, как ветрянка или грипп. Скорее, это информационный вирус. «Да, но... - Соловейчик даже остановился, ошеломленный - разве сказки не могут быть информационным вирусом?»

И как он раньше не догадался! Надо было взять с собой «Историю пропавшего города» или на худой конец уничтожить. Она осталась на письменном столе, вместе с детской сказочкой про улиткин домик, и теперь мать их прочтет, если еще не прочла.

Но, что-то подсказывало Симону, что все не так просто. На самом деле он понятия не имел, как передается от человека к человеку информационный вирус: через взгляд, улыбку, невзначай сказанное слово... Ты просто идешь по улице и смотришь на играющих детей, любишься серебристой стайкой голубей в апрельском небе, здороваешься со знакомыми, улыбаешься, дышишь... И распространяешь вокруг себя ядовитую ауру безумия и смерти. Вот так. И ничего с этим не поделать, разве что убить себя или запереться в четырех стенах.

На пропускном пункте у Соловейчика отобрали паспорт - как будто в тюрьму сажают, удивился Симон - и предупредили, что ограда находится под напряжением. Спасибо, хоть обыскивать не стали.

Он увидел длинные серые строения бывшего санатория, соединенные между собой асфальтовыми дорожками; черные, раскопанные клумбы; останки детской площадки и тянувшийся вдоль забора густой, чуть выше человеческого роста кустарник. То ли жасмин, то ли сирень... Несколько таких же окутанных мягкой зеленой дымкой кустов сбились в кучки у входов в корпуса. По выложенным мелким ракушечником стенам сползали длинные плети дикого плюща, лохматые, с крупными блестящими листьями.

«Когда-то здесь был неплохой садик», - отметил Симон. Санаторий на Зимней Горе в недалеком прошлом считался элитным. Теперь территория выглядела неухоженной, сирень разрослась и вылезла ветвями на дорожку, кое-где валялся мелкий строительный мусор. И все-таки ненавязчивое ощущение уюта согревало и успокаивало, как глоток хорошего вина.

Соловейчик потоптался немного возле ПП, осматриваясь, и - поскольку никто не выказал желания его сопровождать - направился к корпусу, который показался ему административным. На гранитной лестнице сидела, нахохлившись и зябко кутаясь в песочного цвета куртку, худенькая девушка с густой светлой челкой и двумя тонкими золотыми косичками. Симпатичная девочка, наверное, еще школьница. «Как Пеппи», - про себя улыбнулся Симон.

- Привет, - бросил он ей и, чуть помешкав, присел рядом на ступеньку. Все равно торопиться некуда. - Ты здесь давно?

- Больше года, - девушка подняла на него глаза, ярко-серые, удивленные, как у застигнутого врасплох ребенка. - С позапрошлого февраля. Я была одной из первых.

- Одной из первых? - озадаченно переспросил Соловейчик. Что-то тут не так... - И ты до сих пор... то есть, я хотел сказать... значит, лечение помогает?

- Здесь никого толком не лечат. Обследуют, ставят разные опыты, как над кроликами или белыми мышами. Скоро сам увидишь. Тут двое главных - отец и сын Хартманы. Раньше были еще доктор Вольф и доктор Мертен, но потом они куда-то пропали... Хартман-отец, Йоси Хартман - он так ничего, а младший - Эдуард... ну, он очень неприятный. Его лучше лишний раз не злить.

- Но тогда я не понимаю. Если никому не становится хуже...

- Становится, - просто ответила она. Должно быть, здесь это считалось делом привычным, будничным. - Раньше это случалось чаще, особенно в самом начале, а теперь все реже и реже. Последние месяцы, вообще, прекратилось.

«Если лечения нет, то почему? - подумал Симон. - Постепенно вырабатывается иммунитет к инфекции? Но, если так, то есть надежда, что и я продержусь, по крайней мере год.»

- А кто-нибудь выздоравливает? - спросил он снова. - Кто-нибудь выходит отсюда?

- Я не знаю, - ответила девочка, тряхнув головой, и лежащие на плечах золотые косички смешно подпрыгнули. - Здесь никто ничего не знает.

- Ну ладно, - вздохнул Соловейчик, - пойду познакомлюсь с врачами. И неплохо бы положить куда-нибудь вещи... Кстати, меня зовут Симон.

- Аня, - представилась она. - Ты можешь занять любую свободную комнату, в этом корпусе большинство одноместные.

- Ммм... спасибо. Пока, увидимся.

Здание оказалось ассиметричным внутри, в правом крыле находились кабинеты врачей и процедурные, а в левом, более длинном - палаты пациентов. Свободную Симон нашел не без труда, почти во всех валялась на кроватях одежда или из-под закрытых дверей доносились голоса. Наконец, в конце коридора отыскалась комнатуха, узкая, похожая на пенал, с одной кроватью, тумбочкой и маленьким шкафчиком. Кровать была застелена полосатым шерстяным одеялом. Из окна лился мутный свет и, дробясь о стоящий на тумбочке пустой графин, рассыпался в воздухе пыльной радугой. Соловейчик положил сумку в шкаф и отправился знакомиться с врачами.

Доктора Хартманы с первого взгляда вызвали у него антипатию. Симон не любил рыжих людей, а особенно такого типа. Коренастые, с бледной веснушчатой кожей. Старший, которого по словам Ани звали Йоси или, возможно, Иосиф - с проседью в редющих волосах. Младший, Эдуард, с отвратительно

огненной шевелюрой. Ему бы еще нос картошкой и зеленые штаны - был бы клоун клоуном.

Симон вошел и вежливо поздоровался.

- Ну вот, еще один, - оба воззрились на него с плохо скрываемым презрением.

- Я осмотрю его, - сказал Эдуард Хартман отцу, - можешь идти. Что стоишь, давай, раздевайся и ложись на кушетку, - бросил он Симону.

- Успею, у меня еще полчаса в запасе. Вместе пойдем, - откликнулся Йоси. - Сначала разберемся с молодым человеком.

- Я, вообще-то, с Вами на брудершафт не пил, - заметил Соловейчик, расстегивая рубашку.

Врачебный осмотр он выдержал с достоинством, понимая, что любое сопротивление его только унизит.

- Может, и не на брудершафт, но выпить придется, Вам по крайней мере, - Хартман старший протянул ему стакан воды и две белые таблетки на блюдечке.

- Что это? - подозрительно спросил Симон.

- Снотворное. Мы должны убедиться, с каким «клиентом» имеем дело, правильно? Вы сами-то знаете, кто там у Вас сидит внутри?

- Не знаю, - признался Симон и, взяв с блюдца таблетки, проглотил их и запил водой. Ему самому было интересно услышать про своего «зверя». - Кто-то летающий или прыгающий, потому что ухитрился вчера скинуть вазу с полки.

- Все они скачут, как кузнечики, - вмешался в разговор Эдик Хартман, - даже ежики и кроты. Это же не настоящие животные, а... - он подыскивал подходящее слово, - ожившие мыслеформы.

- А почему они оживают?

- Это мы пытаемся выяснить, - наставительно произнес Йоси. - И вот что, уважаемый, у нас очень много работы, поэтому лишние вопросы... э, скажем, не приветствуются.

Симон хотел возразить, но ноги у него вдруг обмякли, голова закружилась, кушетка встала на дыбы, точно норовистая лошадь, и рванулась ему навстречу. Последнее, что Соловейчик успел сделать, это обнять ее крепче, и тут же мир вокруг распался цветными кружочками и исчез.

От сна осталось ощущение паники, как будто он, Симон, ослепленный ярким светом, бьется об оконное стекло, потом о стены, натывается на острые и блестящие предметы. Потом он почувствовал, как кто-то хлопает его по щекам, и очнулся. Комната казалась странной и непривычно белой, потолок - слишком низким, давящим, углы - искаженными.

- Ну-с, молодой человек, как дела? - услышал он, словно издалека, голос Хартмана-старшего.

- Нормально, - ответил Симон и сел на кушетку. Тошнота и головокружение постепенно отступали. - Вы его видели?

- Эд, я, пожалуй, пойду, уже полпятаго, - сказал Йоси, обращаясь к сыну, - ты пока объясни ему... И, вообще, приведи его в чувство.

- Он в порядке, - отозвался Эдик Хартман. - Да зачем объяснять-то? А впрочем, ладно, - он повернулся к Симону. - У тебя птица. Большая белая птица, вроде чайки, ну, или альбатроса. Чуть весь кабинет нам не разнесла. А когда ты стал просыпаться - втянулась внутрь, под левую лопатку. Я первый раз так отчетливо увидел, как «они» втягиваются.

- Птица, - повторил Соловейчик. Он ожидал чего-то подобного, но все равно, слегка удивился. Чаек он видел только на картинках и не понимал, откуда мог взяться такой мыслеобраз.

- Я видел, как «втягивается» собака, - заметил стоящий в дверях Йоси. - Ты помнишь пожилого господина, как его? Лев Шталь...

- Послушайте, - перебил его Симон, которого мало интересовали чужие «собаки». - А нельзя ли ее просто уничтожить, когда она в следующий раз вылетит? Поймать и убить? Тогда я, наверное, выздоровлю? Или вместо нее появится другая, такая же?

- Нет, не появится, - покачал головой Йоси и, кивнув Эдику, вышел.

- Если болит рука или нога, нельзя ли ее отрезать? Можно, но, ведь так не делают, - резонно возразил Хартман-младший. - Орган стараются сохранить. Эта птица - часть твоего организма. Патологическая часть, но, мы не должны ее ампутировать, пока не выясним, чем она для тебя является.

- Но, - сказал Симон, - я бы, пожалуй, согласился рискнуть. Не думаю, что мне будет не хватать этой самой части. Жил ведь я без нее раньше.

- Не нравится у нас? - усмехнулся Эдик. - Хочешь побыстрее вырваться на свободу? Не бойся, отпустим. Как только избавишься от своей птички, так сразу и пойдешь домой, мы здоровых людей тут не держим. Хорошо, решим, сначала надо тебя обследовать. Подпиши пока согласие на операцию, а там посмотрим, - он подал Соловейчику бланк. - Не торопись, прочитай сначала, а завтра занесешь. И еще - сегодня не ужинай, а после трех часов ночи ничего не пей. Завтра утром будем делать тебе эндоскопию желудка, вот прочитай, побочные действия и так далее, - он сунул Симону еще одну бумажку. - Все, иди.

«И для чего это нужно? - с тоской подумал Соловейчик, стоя в коридоре с двумя бланками в руках и чувствуя себя одновременно подавленным и беззащитным. - Здесь не лечат, а мучают людей якобы обследованиями, - Симон понимал, что, возможно, и не совсем справедлив к врачам, но его уже понесло. - Удовлетворяют свои садистские наклонности. Эд точно, а его отец - просто выживший из ума старикан. И жаловаться некому.»

Впрочем, ему ведь обещали нечто реальное? Или не обещали? Он пробежал глазами первый листок. Вдохнул, достал из кармана шариковую ручку и подписал. Пусть и призрачный шанс, смутный, но, надо его использовать.

В ту ночь, лежа на узкой кровати под грубым казенным одеялом, Симон попытался растянуть момент засыпания, и на пару мгновений ему это удалось.

Он ощутил, как стеной надвигается черная пустота, как подкрадывается хищное нечто, опутывает голову мягкими щупальцами и высасывает мысли.

Остались только шорохи за окном, и прикосновение ночного холода к щеке, и полуулыбка-полувоспоминание о маленькой золотой пчелке... как ее звали... Аня. Крохотная пчелка в лапах огромного злого паука... как это похоже на сказку Ханса.

Вдруг в груди что-то затрепыхалось, отчаянно и радостно, рванулось наружу, расправляя жесткие крылья. На миг сердце обожгло болью, и тут же все тело сделалось невесомым, маленьким. Неизвестно откуда взявшийся ветер подхватил его, спеленал и швырнул в открытое окно. Симон провалился в сон.

Глава 3

Симон Соловейчик сидел на скамейке возле небольшого розария, на заднем дворе административно-лечебного корпуса. Сидел, опустив голову на руки, но даже сквозь сомкнутые ладони в глаза ему мягко затекал золотой свет. Приближалось время обеда, но после утренней процедуры совсем не хотелось есть. Живот сводило судорогой, в горло словно кто-то вогнал неприятный, скользкий ком.

- Симон?

Он отнял руки от лица и вымученно улыбнулся. Перед ним стояла Аня, все в той же песочной курточке и голубых джинсах. Только волосы девушка не заплела в косички, а гладко зачесала за уши, и была теперь похожа не на Пеппи с виллы Кунтербунт, а на девочку Гретель из «Пряничного домика».

- Привет. Я искал тебя вчера, но не смог найти.

Аня опустила рядом с ним на скамейку.

- Ты не переживай так. Здесь всем поначалу трудно, а потом привыкаешь. Я тоже первые дни после того, как меня родители сюда сдали... несколько ночей рыдала, честное слово. А теперь, как видишь... - она потупилась, нервно теребя брелок на застежке куртки, точеную золотистую змейку с зелеными глазами. - Ты уже познакомился с кем-нибудь?

- С парой человек. Встретил бывшего соседа, наврал, что с его дочкой все в порядке.

- А с ней не все в порядке?

- Понятия не имею. Я не успел узнать, сам сюда попал.

- Я вот тоже не знаю, что с моими... Наверное, если не здесь, то здоровы.

- Не факт, - заметил Симон. - Я, например, случайно узнал. А мог бы узнать, но не прийти сюда.

- Ты сам пришел?

- Да. Считаешь, глупость сделал?

- Трудно сказать... Все равно когда-нибудь стало бы хуже.

- А что здесь делают с теми, кому стало хуже?

- Переводят в другой корпус, вон там. Его отсюда не видно, он загорожен высокими елками.

Соловейчик взгляделся в темные еловые заросли. Сизые вершины вздымались плотным частоколом, не позволяя рассмотреть спрятанное за ними здание. Вот, значит, куда помещают этих несчастных. С такими пациентами можно делать все, что угодно.

- Пожалуйста, не думай о них, - робко попросила Аня. - Ведь мы пока еще здесь, правда? Здесь не так уж и плохо... много ярких, интересных людей... есть даже музыкант, а одна девочка сочиняет стихи...

- Я тоже пишу стихи, - признался Симон. - Иногда. И рисую... Хочешь, нарисую твой портрет?

- Хочу! Конечно, хочу!

Можно ли простым карандашом нарисовать цветную картинку? У Симона получилось! Он изобразил Аню такой, какой хотел ее видеть. Милой домашней девочкой, доброй, легкомысленной и счастливой. Стер с лица мелкие черточки усталости и крохотные морщинки боли. Заменял брюки и куртку на длинное платье в стиле «ландхаус», а ветку на заднем плане усыпал темно-фиолетовыми звездочками.

- Не правильно, - засмеялась Аня, - это кусты белой сирени. Через пару недель она зацветет... увидишь, как красиво. А у тебя здорово получилось, даже ветер в листве чувствуется.

- Мир без ветра - мертвый, - серьезно сказал Соловейчик. - Первое, чем должен овладеть художник, это научиться передавать невидимое.

- Я всегда хотела уметь рисовать, - мечтательно произнесла Аня. - Красками. Жизнь такая яркая! Иногда гуляю ночью в саду, смотрю на деревья, цветы, звезды... и представляю себе, как все это ложится на полотно.

- Ты гуляешь по ночам? - изумился Симон. - А можно?

- Нельзя только выходить за территорию. А так за нами никто не следит. Здесь чудесный сад, он возвращает силы после... - она запнулась, - ну, ты понимаешь.

- А звери?

- Что звери? - она передернула плечами. - Их тут почти нет. Я за все время только пару раз встретила, да и то не в саду, а в коридоре лечебного корпуса.

- Где же они?

- Это мы здесь заперты. А для них проволока под током не преграда, - пояснила Аня. - Перемахивают через забор и уходят в город. Ну, давай сегодня вместе погуляем? Сейчас не то, что зимой, ночи не холодные... Хорошо? - она заглянула ему в глаза. - Вот увидишь, тебе станет легче.

Они договорились встретиться в десять у входа в административное здание. До вечера Соловейчик успел познакомиться с большинством обитателей больницы. Поэтесса, два художника, музыкант, ученый-астроном, искусствовед,

детский писатель... Нигде не встречал Симон такого фейерверка талантов, как в их маленькой пациентской общине.

В нем крепла догадка, что болезнь выкашивает самых лучших, самых одаренных, ранимых и душевно тонких. Таким, как Хартманы, инфекция не грозила, и в этом была страшная, неумолимая логика. Вирус, внедренный в произведения искусства, должен в первую очередь поражать эстетически развитые личности.

Тогда получается, что городу грозит не вымирание, а духовное вырождение? Неужели этого хотел неумолимый Сказочник, творивший из серости похожих друг на друга дней такое радостное, нетерпеливое разноцветье, что даже самое черствое сердце оживало, точно бабочка весной?

«Как же должен он был возненавидеть Йоник, - думал Симон. - Нет, не мог он так ненавидеть. То, что ему сделали... это, конечно, больно. Но боль не превращается в ненависть, если душа полна любви». А в том, что Ханс любил Йоник, он не сомневался.

Соловейчик воскрешал в памяти сказку о пропавшем городе, повторял строчка за строчкой, и понимал, что в его теории что-то безнадежно не стыкуется. словно один крохотный фрагмент мозаики выпадал и никак не желал встраиваться в общую картинку.

Гулять ночью было странно. Симон как будто попал в один из своих диких снов. Только теперь он не созерцал город с высоты птичьего полета, а шел рядом с Аней по дну глубокого, полного чистой серебряной воды озера. Тонкие ростки молодой травы на газонах шевелились, как водоросли от слабых подводных потоков. Кусты блестели, осыпанные маленькими хрустальными пузырьками лунного света. А звезды... Боже мой! С тех пор, как в Йонике началась эпидемия, Симон избегал выходить из дома с наступлением темноты. А раньше, если и выходил, то редко смотрел на небо. А когда смотрел, то видел его атласным черным полотном в тусклых узорах светящихся точек.

И вот, неведомым колдовством черный атлас превратился в темно-фиолетовый бархат, а дешевые блески – в праздничные елочные фонарики. Красные, зеленые, голубые, желтые, крупные и нарядные, они заставляли вспоминать о самой чудесной ночи в году, когда от обычных вещей ждешь волшебства. Заставляли чувствовать себя наивным и доверчивым ребенком, заплутавшим в сказочной стране Оз.

- Красиво, правда? - сказала Аня, робко тронув его за рукав. - Похоже на драгоценные камни...

- Я подумал о них, как об огнях на новогодней елке. Но, мне нравится твое сравнение, - улыбнулся Симон, и волшебные звезды вспыхнули горячими рубинами, сочными изумрудами и огромными сахарными бриллиантами. В груди стало тепло и тесно, и что-то настойчиво толкнуло под ребра... нет, не сердце... и голова закружилась от мягкого ощущения полета.

За пять недель пребывания в больнице на Зимней Горе Соловейчик убедился, что пыточный арсенал у медиков гораздо богаче и разнообразнее, чем у любого профессионального палача. Каждый день его таскали на всяческие обследования или процедуры, всегда неприятные и болезненные. Лечить радикально никто не спешил, да Симон и сам уже не верил, что это возможно. Он побледнел и осунулся, и теперь, разглядывая в зеркале свое лицо, измученное, с заострившимися чертами, все чаще вспоминал слова пожилого профессора философии о Хансе, которому якобы всю жизнь мешал собственный длинный нос. Симон грустно усмехался... если бы длина носа была сейчас самой большой его проблемой!

Болезнь прогрессировала. Соловейчик почти физически чувствовал, как поселившаяся у него внутри птица вытягивает жизнь из хрупкой человеческой оболочки. Чем слабее становилось тело, тем ярче и фееричнее сны.

Глазами таинственной части самого себя он смотрел на расцвеченные золотом и серебром ночные улицы-реки. Город распускался под ним, словно огромный фиолетовый цветок из бархатного бутона. Пронизанные стеклянными прожилками дорог лепестки отражались в глубоком зеркальном небе, полном неоновых звезд. Город пытался дотянуться до облаков тонкими шпильками церквей и черными раздвоенными пальцами водонапорных вышек. Птица видела его сразу весь, как на ладони - огромный сверкающий холм, осыпанный ледяным крошевом огней, открытый ночным ветрам, хрупкий и настороженный.

Просыпаясь по утрам, Симон думал, что не таким горьким будет конец, как ему представлялось. Он просто однажды не вернется в свою никчемную скорлупу, а останется большой белой чайкой - дикой и свободной. Совет гнездо на одной из сосен Зимней горы, а может быть, покинет Йоник и отправится искать море. Ведь чайка - птица морская.

Когда Соловейчик размышлял так, ему становилось легче. Жалко только, что мать осталась одна. Жаль, что не будет больше прогулок по лунному саду-озеру, рука об руку с Аней, к которой Симон успел по-настоящему привязаться. Сложись все иначе, эта нежная, полудетская привязанность со временем могла превратиться в любовь... вот только времени у них, похоже, не осталось.

Жаль, что так и не удастся закончить роман о мести Сказочника, если только это, действительно, месть, а не что-то иное. Симон чувствовал, что совсем близко подошел к разгадке. Но, кто сбережет рукопись, если его не будет? Что делают с личными вещами тех, кого переводят в «другой» корпус, выкидывают, отдают родным? Сжигают?

- Ань, я хочу тебя кое о чем попросить, - начал Соловейчик, когда они вдвоем гуляли по саду среди кустов отцветающей сирени. - Я... - он замялся и не знал, как сказать. Они избегали разговоров о смерти, хотя оба знали, что вот она, совсем рядом, стоит и заглядывает через плечо.

- Я сделаю, что смогу, Симон.

Как она все чувствует! В простой белой кофточке и с мерцающими в волосах серебряными снежинками цветов, она напомнила Соловейчику теперь уже не Пеппи и не Гретель, а израильскую девушку Суламифь, стерегущую заколдованный виноградник.

Жаль, что ничего не получится. Если бы не эта болезнь, все могло быть так хорошо.

- Я... наверное, мне скоро придется уйти.

- Ты устал, - быстро сказала Аня. - Скучаешь по дому. И Эдик Хартман тебя замучил. Ты никогда не жалуешься, но я ведь знаю, каково это...

- Нет, - возразил Соловейчик мягко. - Не в нем дело. С Хартманом у нас ненависть с первого взгляда, да... Но я собирался попросить тебя... У меня в тумбочке лежит рукопись. Если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, возьми ее и постарайся сохранить. Может быть, ты еще выйдешь отсюда или сумеешь кому-нибудь передать. Только чтобы не пропала.

- Я постараюсь. А что за рукопись?

- Ну... это я пишу роман... про Ханса Сказочника, - проговорил Соловейчик нерешительно и, видя, ее удивление, поспешно добавил. - Так, как я его себе представляю.

- А что, Сказочник, действительно, существовал?

- Разве он умер?

- Я думала, что это очень старая легенда.

- Вовсе нет. Он должен быть на восемь лет старше меня.

- Я мало слышала о Хансе, - призналась Аня. - Только что он сочинял истории, и что его изгнали из города. Я толком не поняла почему. И что с ним сделали? Как будто что-то очень плохое?

Симон замялся.

- Его очень сильно унизили. Он больше не мог жить среди тех людей и покинул Йоник. А потом... ну, потом его учила жизнь, и учила жестоко. Я как раз сейчас описываю его злоключения.

- А как ты описываешь? Откуда тебе все известно?

«Выдумываю», - хотел ответить Соловейчик, но только виновато улыбнулся и покачал головой.

Он чувствовал: то, что со стороны кажется выдумкой, на самом деле правда. История Сказочника расцветала в нем, вращалась в памяти, постепенно становясь его собственной.

И уже не Ханс, а он, Симон, лежал, стелая, на припудренной тусклым лунным золотом траве. Над ним глумилась распаленная его унижением и болью толпа, злобное многоликое чудовище. Даже самый бессердечный садист способен раскаться и пожалеть истерзанную жертву, даже самая безмозглая тварь в состоянии понять, когда, наконец, хватит топтать человека. И только толпа, у которой тысяча голов и тысяча сердец, не знает ни пощады, ни сострадания.

«Он лежал на черной траве, а вокруг искалеченные и растоптанные умирали сказки, - писал Симон, примостившись в углу кровати с тетрадкой на коленях. - Забавные гномики, проворные лисята, говорящие цветы, радужные паучки и бабочки, ожившие рукавички, шапки и пуговицы, купцы, звездочеты, колдуны, принцы и путешественники, искатели пропавших городов. И плюшевый олененок с большими доверчивыми глазами. Все, чем жил Ханс Сказочник, что хотел подарить людям, было осквернено, поломано и убито. Втоптанно в жидкую осеннюю грязь...»

Косые оранжевые лучи падали на белую бумагу, пропитывая ее призрачной кровью. Соловейчик отложил ручку, несколько раз сжал и разжал кулак, чтобы размять затекшие пальцы. Страшно, когда умирают сказки, горько и несправедливо. Впрочем, одернул он себя, посмотри, что происходит вокруг. Сотни жителей города гибнут, детей бросают на произвол судьбы. А ты переживаешь из-за одной единственной несправедливости, которая совершилась в мире.

«На следующий день он побросал в рюкзак личные вещи, оставил ключ в двери своей квартиры и уехал из Йоника. Далеко-далеко, куда глаза глядят. Ему пришлось нелегко, чужбина не заигрывала, не ласкала, была наотмашь. Но никто не знал, что он - Сказочник, поэтому там, вдали от дома, люди принимали Ханса за своего. И тогда он набрался смелости и стал жить, как раньше.

Он снова учился сочинять сказки. Только теперь его истории получались не наивными и беззащитными, похожими на разноцветные лучики солнца, а колючими и жесткими, точно выросший на пожарище чертополох.»

Глава 5

- Нет, я не передумал. Конечно, нет, - Соловейчик едва мог говорить от волнения. Он и не чаял, что врачи решатся, наконец, на операцию. Да и какая это операция, если рассудить здраво? К его телу даже не прикоснутся, он заснет и проснется здоровым. Уж по крайней мере, это гораздо менее болезненно, чем когда тебе засовывают куда попало всякие трубки и шланги. Или прокалывают живот без наркоза.

- Тогда подпишите, что ознакомились с разъяснительной брошюрой, - сказал Йоси Хартман сухо. - И завтра в восемь утра будьте готовы.

«Убить, вырезать, как раковую опухоль, - подумал Симон, в отчаянии стискивая ручку непослушными пальцами. - Прости, Ханс, чем бы ни был твой дар, мне он не нужен. Я хочу жить. И хочу остаться человеком. Что за бюрократы, для чего им столько моих подписей?»

Ему не терпелось поделиться новостью со своей подружкой, рассказать, что скоро выйдет на свободу, а если получилось у него, то значит, есть надежда и для остальных.

Соловейчик нашел Аню на их излюбленном месте в саду, сидящей на скамейке под почти облетевшим кустом. Как быстро промелькнуло лето,

не успеешь оглянуться, и наступят холода. А ведь он и не надеялся, что доживет до зимы.

- А как же я? - глаза девушки от огорчения потемнели, сделались большими и туманными, словно подернутые рябью осенние лужицы. - Симон? Тебя выпишут, а я...

Соловейчик видел, что она готова заплакать, но сдерживается изо всех сил.

- Мы что-нибудь придумаем, - сказал он растерянно, поглаживая ее по волосам. словно вся застывшая в душе нежность оттаяла и устремила в кончики пальцев, сделав их заботливыми и чуткими. - Аня... мы что-нибудь придумаем.

Вот только что? Симону ничего не приходило в голову. Хотя...

- Интересно, а «их» трудно уничтожить? - произнес он задумчиво.

- Ты мог бы? - девушка ухватила его мысль на лету и вцепилась в нее, как в спасительную соломинку. - Ты мог бы сделать это для меня?

- Не уверен, - признался Симон. - Все зависит от... Ты знаешь, кто у тебя? Хартманы говорили?

Странно, что он никогда не спрашивал раньше. Стеснялся что ли, хотя чего тут стыдиться? Он и про свою птицу не рассказывал, молчал, как о чем-то интимном, что не просто доверить даже близкому человеку.

- Не говорили, но точно кто-то некрупный. Может быть, мышка или ежик маленький. Мне все время снится, что я бегаю по саду, а вокруг меня стебли травы, высокие, как лес.

- У ежика колючки. Разве что ножом ткнуть? Длинным. А вдруг «их» только серебряной пулей возьмешь?

Оба рассмеялись, Аня - с облегчением, Симон - слегка истерически. Он чувствовал себя измотанным, взвинченным, почти неадекватным. Наверное, так и срываюся за черту безумия. Но сегодняшнюю ночь нужно выстоять, потому что она - последняя. О том, что будет потом, Соловейчику думать не хотелось. Их отпустят, а может быть, и нет, от Хартманов всего можно ожидать. В любом случае, Аня разделит судьбу Симона, а Симон судьбу Ани. Это лучше, чем погибнуть поодиночке.

До обеда они блуждали по притихшему кружевному саду, взявшись за руки и перешептываясь, точно заговорщики. Обсудили все до мельчайших подробностей. Аня ляжет спать в одиннадцать часов вечера, затворив окно и прикрыв дверь, а Симон войдет через пятнадцать минут. А дальше ему остается рассчитывать только на собственную ловкость и силу. Из оружия у Соловейчика был перочинный нож с коротким лезвием, открывалкой для бутылок и штопором - не самая подходящая вещь для охоты на ежей.

Ровно в десять во всех холлах корпуса погасили свет, пациенты пожелали друг другу спокойной ночи и разбрелись по палатам. Еще полчаса отовсюду доносились шаги, хлопали дверцы тумбочек, скрипели пружины кроватей. Симон сидел на неразобранной постели и слушал, как засыпает больница. Он видел, как

в здании напротив один за другим гаснут теплые квадратики окон. Слышал, как по звонкому кафелю пола цокают копытца и коготки, мягко ступают мохнатые лапы. Где-то хлопнула форточка, кто-то большой с хрустом продрался сквозь растущие в саду кусты, что-то грузно сорвалось с карниза и протяжно ухнуло, шлепнувшись на каменные ступени лестницы. Затем все стихло.

Соловейчик посмотрел на тускло фосфорицирующий циферблат наручных часов, встал и вышел в коридор.

Перед дверью Аниной комнаты он остановился и на пару секунд задержал дыхание. Неужели опоздал? «Даже если окно заперто, маленький зверек мог пролезть в какую-нибудь щель», - подумал Симон и, толкнув дверь, скользнул внутрь. Аня спала, по-детски положив кулачок под щеку, одеяло чуть-чуть сползло, обнажив худенькое острое плечо. В изголовье кровати горела тусклая лампочка.

Соловейчик стоял посреди палаты и обшаривал взглядом пол. Никого. Может быть, это и к лучшему. Симон сам не понимал, почему ему так не хочется делать то, ради чего он пробрался ночью в комнату к девушке. Он ощущал даже не страх... бояться было, в общем-то, нечего, а смутную тревогу. Как будто, обдумывая свой план, они не учли что-то важное.

Соловейчик вздохнул и приблизился к кровати. И вот тут-то он увидел на кромке одеяла... нет, не мышку, не крольчонка и не ежика, а маленькую золотую ящерку. Тоненькую и изящную, с темным зигзагом на спинке и изумрудными бусинками глаз.

«Ага! - прошептал Симон. - Попалась?» Он ловко прижал ящерку двумя пальцами, и чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Животное резко изогнулось, потом распрямилось сильно и жестко, как стальная пружина, и острой головкой вбуравилось ему в ладонь.

«Ах ты, тварь...», - он злобно сжал кулак, не обращая внимания на струящуюся по руке кровь. И сжимал до тех пор, пока крошечное тельце не лопнуло, превратившись в мерзкую зеленую слизь. «Тьфу, гадость какая!» Он вытер о брюки окровавленные и испачканные зеленью пальцы, бережно подоткнул одеяло, и еще немного постоял, вглядываясь в лицо спящей.

Все оказалось просто, и не то что серебряная пуля, но даже нож не понадобился. С крупным зверем было бы труднее справиться, но, главное, что «они» - смертны, их можно убить, и, как сказал Йоси, они больше не возвращаются. Йоси... постойте, а откуда он знал? Значит, кто-то проделывал такое раньше... да, конечно, проделывал, по-другому и быть не могло. Но, если так... Симон не стал додумывать мысль до конца, настолько она показалась ему страшной.

Аня тихо дышала во сне. Игольчатые тени от ресниц распушились на щеках, на губах блуждала рассеянная улыбка. Как будто душа девушки витала далеко-далеко... Где? От маленькой ящерки осталась пара капель темно-зеленой крови, да и те впитались в грубую шерсть одеяла. «Все в порядке, - сказал Симон самому себе. - Не впадай в панику. Завтра ты все узнаешь».

И он узнал...

Утром Соловейчика разбудили возгласы и суeta в коридоре. Кто-то произнес громко, словно у него над ухом: «Это опять случилось». Кто-то нервно расхохотался, но, тут же, судя по звуку, истерика успокоили пощечиной. Симон вскочил и, как был, полуодетый, выбежал в коридор.

Беспорядок исходил из комнаты Ани, тонкими струйками отравленного дыма вырывался из-за приоткрытой двери и расползался по больнице. Соловейчик растолкал столпившихся у входа пациентов и заглянул внутрь. Девушка сидела на полу, странно подогнув под себя ноги, и лакала из тарелки овсяную кашу. Спутанные и перемазанные едой волосы свисали патлами, с подбородка капала слюна.

Симон отступил на шаг и, чтобы не упасть, схватился то ли за стену, то ли за чье-то плечо. Некто сунул ему в руки стакан воды и сказал голосом Эдика Хартмана: «Пойдем-пойдем, не надо на это смотреть». Переставляя ноги, точно механическая кукла, Соловейчик позволил себя увести. Он все понял, но – слишком поздно. Последний кусочек страшной мозаики встал на свое место.

- Вот он, - сообщил Хартман-младший, вталкивая Симона в кабинет. - Чуть не хлопнулся в обморок, когда увидел...

- Да неважно, - отмахнулся Йоси. - Что там с этой... Анной Вайнсберг? Впрочем, тоже неважно... потом... Сперва займемся Соловейчиком.

«Займемся?» Что значит, «займемся»? Симон вспомнил вчерашний разговор, и подписанную бумагу, согласие на операцию. По сути дела им же подписанный смертный приговор самому себе.

«Нет!» - хотел он закричать, но, язык словно прилип к небу, губы безвольно шевельнулись, будто ватные, тело сковала страшная усталость. Не усталость, сонливость. В стакане, очевидно, было сильнодействующее снотворное.

Симон пошатнулся и вцепился в край кушетки, уже не сознавая, стоит ли он или лежит, и что такое белое над ним, низкая притолока или край простыни, и обо что он так бессмысленно, горько, отчаянно ломает крылья...

Очнулся он резко, как от толчка. Осторожно досчитал в уме до десяти, потом до ста. Убедился, что разум ему повинует. Тело, как будто тоже. Симон пошевелился и открыл глаза. Сквозь пузырьчатые, в пыльных разводах стекла лился мутный осенний свет. Комната выглядела, как обычно, тусклой и маленькой, прилизанно-стерильной. Все, как раньше, и в то же время неуловимо по-другому, хотя в чем именно разница он бы объяснить не мог.

- Соловейчик, Вы меня слышите? - Йоси и Эдик склонились над ним, пристально вглядываясь в лицо. - Вам плохо? Можете не отвечать. Если слышите, то кивните, - настойчиво повторил Хартман-отец.

- Я здесь, - отозвался Симон и сел на кушетке.

- Получилось! - врачи взволнованно переглянулись и в порыве радости пожали друг другу руки. - Я тебе говорил, что нельзя их разрушать? - захлебыв-

ваясь словами заговорил Эдик. - Говорил? Еще два месяца назад, а ты... Можно удалять, не нарушая целостность. Целостность, вот!

- Что вы сделали? - спросил Соловейчик, и оба, как по команде, повернулись к нему.

- Как Вы себя чувствуете? Вы нас понимаете? - они были похожи на двух школьников, которые только что поставили мудреный химический эксперимент и сами не поняли, что получилось.

- Понимаю, конечно. Но, что вы сделали?

- А вот что! - Эдик с гордостью продемонстрировал ему покореженную клетку, с погнутыми во все стороны прутьями. - Ты бы видел, как она билась, чуть не вырвалась. Отлеталась птичка.

На дне клетки неподвижно лежала, вытянувшись и как будто одеревенев, большая белая птица, нечто среднее между чайкой и буревестником. Голова ее была запрокинута, шея неестественно вывернута на сторону, крылышки и хвост оторочены черным.

- Мертвая, - прокомментировал Йоси и, открыв клетку, взял птицу в руки. Подержал, потом передал Симону. Она оказалась холодной и твердой, точно набитое опилками чучело.

«Вот странно, - удивился Соловейчик. - Как может у живого человека находиться внутри такое... такое... И почему она мертва, а со мной ничего не случилось? Ведь я должен...» Ему вдруг представилась Аня, сидящая на полу с тарелкой в руках, он снова ощутил на пальцах липкую зеленую слизь, и тоскливо, болезненно заныла свежая рана на ладони.

- Эй, - окликнул его встревоженно Эдик. - В чем дело? Что это он плачет? - недоуменно повернулся Хартман-младший к отцу.

- Перенервничал, - снисходительно заметил Йоси. - Ничего, теперь легче будет. Все хорошо, молодой человек, - сказал он Симону. - Скоро домой пойдете. А это можете взять на память, если хотите. Только берегите, - он усмехнулся, - аки Кощей иголку.

Но взять на память не пришлось. Птица некоторое время валялась на столе у Хартманов, а потом куда-то исчезла, и не понятным осталось, кто ее взял, а главное - зачем. Соловейчика судьба мертвой чайки не волновала, он впал в апатию, почти ничего ел, спал по ночам урывками, неглубоко и беспокойно. Даже на свежий воздух выходил редко. Лежал в палате и, как заевшую, стершуюся кинолентку, прокручивал в памяти события последней перед выздоровлением ночи. И каждый раз, как будто этим можно было что-то изменить, раскрывал великодушно ладони, выпуская на свободу маленькую золотистую ящерку, с темным узором на спинке.

Через три недели Симона Соловейчика выписали.

Он спускался с Зимней Горы по той же петляющей серпантином раскисшей дороге, только теперь на ветвях сосен лежал холодный туман и в воздухе больше не пахло весной. Солнце в пепельном небе мигало и дергалось, точно готовая перегореть лампочка, и Симону хотелось, чтобы оно поскорее перегорело, потому что бледный дневной свет раздражал глаза.

Соловейчик пересек сырую ложбинку, перешел по мостику ручей с темной водой, полной коричневых опавших листьев, и, выйдя из леса, окунулся в шум и бестолковое оживление городских улиц. Люди сновали туда сюда с усталыми, озабоченными лицами. Открытый мусорный бачок атаковала стайка голубей.

Как будто никуда и не уходил. Симон достал из кармана оставшиеся от завтрака полбулки и раскрошил на асфальте. Птицы вызывали у него неприязнь, но ему больно было видеть, как они едят из помойки.

Матери дома не оказалось. Вначале Соловейчик не встревожился, но, заглянув на кухню, увидел, что картошка в отключенном холодильнике зачервивела, а заварочный чайник выслан изнутри меховой шкуркой плесени. Похоже, мать не появлялась в квартире уже пару недель.

Симон позвонил в две городские больницы и в морг, потом в полицию. Безрезультатно. Может быть, матери удалось каким-то образом покинуть город? С Йоника сняли карантин? Да нет, вряд ли. Или переехала к родственникам? Но, у нее никого не было.

Соловейчик сидел, уронив на стол телефонную трубку, и думал о том, что надо как-то жить дальше. Надо съездить в университет и получить стипендию за последние шесть месяцев. Вероятно, придется объяснять в деканате, где он пропадал все это время. Но, у него есть справка из больницы, так что проблем не возникнет. Надо съездить в полицию и оставить заявление о пропаже человека, хотя это бесполезно, мать все равно не найдут и даже искать не станут. Надо что-то делать, а не ждать у моря погоды... Но у него не было сил ни на что. В пустой квартире гулко и страшно тикали часы.

А ночью... Он не мог заснуть и коротал время, разбирая старые бумаги. Стихи, карандашные эскизы, пара акварелей... надо же, когда-то он рисовал красками.

Вдруг что-то глухо торкнулось в окно, на лакированную поверхность стола упала крылатая тень. Соловейчик вздрогнул и поднял голову.

- Ты? - прошептал он испуганно.

Из мутно-кофейной темноты на него смотрели два тусклых красных глаза. На карнизе сидела, уцепившись коготками за водосточный желоб, большая белая птица, похожая на крупную чайку.

Его птица, он узнал бы ее из тысячи. Не застывшая, с вывернутой шеей и неловко растопыренными крыльями. Живая.

Птица поймала его взгляд и постучала клювом в стекло.

- Очухалась, значит? Что ж, рад за тебя, - сказал Симон. - Нет, я тебя не впущу. С меня довольно, понимаешь?

Странно это - разговаривать с животным. Хотя она - не животное. Соловейчик чувствовал, что ее мучительно тянет к нему. А его тянуло к ней. Как две половинки одного целого.

- Ну, пожалуйста, улетай, - попросил Симон. - Не мучай меня. Знаешь, сколько мне пришлось вытерпеть по твоей милости?

Он боялся ложиться спать. Представлял себе, что, стоит ему отключиться, как чайка ворвется в комнату, затечет сквозь щели в стене или просочится под дверь. Мало ли, чего от нее можно ожидать.

Только под утро, когда узкая полоска неба между двумя соседними домами начала проясняться и сереть, Соловейчик задремал, а когда проснулся, птицы не было.

Она стала прилетать каждую ночь. Билась в окно, теряя перья, и ее удары глухой болью отдавались в теле беспомощно съжившегося за письменным столом Симона. Или прохаживалась по подоконнику, заглядывала в комнату, расклеивала почерневшую от дождей раму, отколупливая от нее маленькие кусочки дерева.

Тем временем наступили холода, и лужи на улицах затянулись тонкой стеклянной корочкой. Симон восстановился в институте и даже иногда ходил на лекции, но, чувствовал себя неважно. Его мучала бессонница, вдобавок он постоянно мерз, особенно по вечерам, и не снимая носил толстый шерстяной свитер, подаренный матерью на прошлый Новый год. А на трюмо, в изголовьи кровати, лежал брелок - золотая змейка с зелеными бусинками-глазками.

- Ты убил человека, Симон, - говорил немигающий взгляд птицы. - Прекрасного, доброго, юного человека. А теперь хочешь убить себя.

- Неправда, - защищался Соловейчик. - Я не собираюсь себя убивать. Я хочу жить.

И знал, что лжет. Жизнь опротивела ему, поблекла, выцвела, лишилась смысла. От души остались одни ошметки, да и те он раздавал по кусочкам, вкладывая их в рисунки и стихи. Но, вместо рифмованных строк на бумагу выплескивалось нечто липкое и блестящее, как протянутый улиткой скользкий след. Симон писал, не признаваясь самому себе, что ему хочется не сидеть за письменным столом и тягуче связывать буквы в слова, а кричать, бить об пол тарелки, выть на луну. Что боль внутри плещется морем.

Он отчаянно желал смыть с себя мутную, тупую усталость, содрать, как омертвевшую кожу. Наивно верил, что, если раздарить душу, то нечему будет болеть. Но болело все равно. Болела память.

Иногда Соловейчик перечитывал свои старые стихотворения, самые удачные и любимые, и понимал, что сказал достаточно, и то, успеет и сможет ли он сказать что-то еще, не имеет значения.

«Я понял, произведения искусства никому не нужны, - однажды попытался он объяснить прильнувшей к оконному стеклу чайке. - Даже оттого, что Шекспир написал «Гамлета», мир не изменился. Но «Гамлет» написан и существует, пусть и не для нас, а сам по себе».

Птица согласно кивнула, распушив веером длинный жесткий хвост. «А не схожу ли я с ума? - подумал Соловейчик. - Наверное, это должно рано или поздно случиться. Я только получил отсрочку.»

«Но, одно надо успеть сделать, - сказал он себе, доставая из ящика стола недописанную рукопись романа. Господи, как давно он к ней не прикасался! - Сказочник... Сказочник должен вернуться в город.»

Симон благоговейно раскрыл тетрадь чувствуя, как проясняются мысли, как отступают отчаяние и безумие. Словно в этих страницах еще жили хрупкие фантомы прошлого. Он аккуратно разгладил тетрадку на сгибе и начал писать.

«Темно-синей декабрьской ночью, после долгих скитаний, Ханс вернулся в Йоник. В кармане у него лежала тонкая черная трубочка, ядовитая и гладкая, прохладная, как кожа змеи. Он стал Угрюмым Дудочником...»

Соловейчик положил ручку и, подперев щеку ладонью, задумался.

«Дудочник из известной сказки заставил крыс прыгать в пропасть, - размышлял Симон, печально вглядываясь в смутный нахохленный силуэт за окном. Из-за снежных узоров на стекле птицу было не рассмотреть, но Соловейчик знал, что она здесь, подслушивает его мысли. - Но мы не крысы, мы не обязаны прыгать. А не для того ли Сказочник подвел нас к обрыву, чтобы убедиться, что мы - люди?»

Глава 7

С начала декабря столбик термометра неуклонно сползал вниз и за неделю до Нового Года накрепко примерз к отметке минус двадцать пять. Лекции в институте отменили из-за холодов, так что Симон только зря тащился через два квартала. Он шел, продираясь сквозь ветер и сухую поземку, желая только одного - поскорее оказаться в тепле, когда на перекрестке, у фонарного столба, заметил небольшую толпу. Вернее, не толпу, а высокого долговязого парня в длинном пальто и надвинутой на лоб рыжей меховой шапке и вокруг него человек шесть-семь. Люди стояли, втянув лица в поднятые воротники и пританцовывая на месте, но не расходились, а парень размахивал листом бумаги и что-то объяснял им.

Соловейчик приблизился и увидел, что несколько листов развешаны на столбе. Неужели новый сказочник? Но, это оказалась не сказка, а воззвание, озаглавленное броско и однозначно: «Не убивайте их!» Симону даже не понадобилось читать, чтобы понять, о ком речь.

«Боже мой! - он остановился, как вкопанный. - За два года первый человек осмелился громко сказать правду. Почему другие молчали? Почему я молчал?!»

«Что есть болезнь? Проявление жизни, которого мы не понимаем, - разглагольствовал между тем парень. - Не понимаем, что «они» на самом деле такое...»

«Вот это правильно, - подумал Симон. - Мы объявляем болезнью и пытаемся убить ту часть себя, которая и есть настоящие мы.»

Соловейчик постоял немного, послушал и побрел прочь, чуть не рыдая от стыда. Слезы замерзали в глазах и острыми кристалликами кололи веки. «Вот человек, не побоявшийся встать к позорному столбу и сказать во всеуслышание о своей ошибке. А что же я? Чего я боялся?» - горько упрекал он себя.

Симон с трудом добрался до дома, скинул куртку и, не раздеваясь, свалился на кровать. Его бил озноб, казалось, холод превратил все тело в желе, а кости проел насквозь, как ржавчина металлические балки. «Ничтожество, эгоист! Думал только о себе и своей жалкой жизни. Вот почему мне было так плохо...»

Он медленно согревался под ватным одеялом, ресницы отяжелели и устало опустились. «Я... я... - думал он, беспомощно балансируя на грани сна. - Теперь все станет по-другому...»

Когда Соловейчик проснулся, была ночь. В окно зябко и призрачно светила полная луна. На его постели сидел Ханс Сказочник и, молча, внимательно, взлядывался Симону в лицо.

«А ведь мы и правда могли быть братьями, - мелькнула в сознании сонная мысль. - Мы так похожи.»

- Ханс, - прошептал Симон, - зачем ты пришел? Ты хочешь спасти нас? Или увести в смерть, как тех неразумных детей?

Сказочник улыбнулся ему тепло и дружелюбно, как хорошему знакомому. И у Соловейчика вдруг сделалось легко на душе, непривычно спокойно и безмятежно. Словно ночной гость разом отпустил ему все грехи.

- Да, неразумные дети, вот они кто, - задумчиво произнес Ханс. - Глупые, жадные, жестокие... и все-таки дети. Не знаю, Симон, как получится. Все равно мне больше не жить в Йонике. А ты? Ты остаешься?

- Я остаюсь, - твердо сказал Симон.

- Ну что ж, тогда удачи, - снова улыбнулся Сказочник. - И вот тебе, на счастье.

Соловейчик ожидал, что Ханс растворится в воздухе, но тот просто встал и направился к двери, а на подушке остался лежать темный продолговатый предмет. Симон взял его в руки и увидел, что это волшебная дудочка, та самая, с которой Сказочник первый раз после своего изгнания вернулся в Йоник.

Теперь Соловейчик знал, как завершить роман.

«Он ходил по ночным улицам города и играл до утра. Сказки столпились на кончике его самодельной свирели, капали на мерзлую землю горячим соком, срывались в темноту таинственными звездами. Люди не могли услышать их, потому что давно оглохли для музыки, ослепли для красок. Потеряли способность мечтать и удивляться. Но, что-то в них услышало и откликнулось на зов.»

Вот и все, можно ставить точку. Соловейчик закрыл тетрадь и встал из-за стола. Так закончился роман о Хансе Сказочнике, но не история Йоника и не его, Симона, история. Он надел сапоги и куртку, положил в карман подаренную Хансом дудочку и вышел из дома.

Помедлил у подъезда, вдыхая резкий холод, всмотрелся в пустое зимнее небо, усыпанное тусклыми звездами. Не драгоценности, а дешевая бижутерия.

Он стоял, понурившись, и ждал. Вдруг быстрая тень метнулась наискосок, и боль разорвала грудь, и птица затрепыхалась у него внутри, расправляя крылья, забила в унисон с его сердцем. Он задохнулся и упал на колени, утонув в глубоком, наметенном за ночь снегу.

Но, боль постепенно успокаивалась, Соловейчик поднялся и с удивлением огляделся. В зеленом луче фонаря танцевали разноцветные снежинки. В морозном воздухе витал свежий и острый аромат, как будто в комнату внесли мокрый букет нарциссов, или сейчас, в конце декабря, неожиданно расцвела сирень. Симон поднял глаза. Небо было теперь не черным, а бархатно-синим, и на этом темно-синем бархате, сверкали, переливаясь и искрясь, словно чьей-то небрежной рукой раскиданные, бриллианты звезд.

Сказки для Алекса

Его звали Алекс. А фамилия звучала необычно, на французский манер - де Темплъ. Сказать, что он был странным мальчишкой, было бы не совсем верно. Это мы сделали его странным.

Алекс, сколько я его помню, всегда был отщепенцем, неприкасаемым, с которым брезговали общаться даже первоклашки. Его не принимали ни в одну игру, да что там игры, он даже в столовой сидел не за общим столом, а за отдельным столиком около двери. Любая беседа смолкала, стоило Алексу приблизиться, а говорившие молча, в упор, разглядывали его, усмехались и ждали, когда он отойдет.

Де Темпля считали в интернате парией, так повелось, и повелось не случайно. Большинство ребят у нас были из неблагополучных семей, многие круглые сироты. Официально информация о происхождении воспитанников скрывалась, но, так или иначе, все про всех знали и обсуждали тайком, кто, как, почему и откуда. Про Алекса сплетничали, что он отказной ребенок несовершеннолетней матери. И это воспринималось, как клеймо. Ясно, что яблочко от яблони недалеко падает. Чего, скажите на милость, можно ожидать от сына малолетней шлюшки, забеременевшей бог весть от кого и кинувшей выстрадавшее чадо на попечение государства?

Увы, но Алекс де Темплъ разве что залететь не мог, поскольку был мальчиком. Зато с самых что ни на есть юных лет привык ложиться подо всех подряд - так о нем говорили - под учителей, оценок ради, под старших ребят, за просто так, по первому требованию.

Может быть, и неправду болтали, но два факта были известны доподлинно. Однажды девятилетнего Алекса вытащили из постели старшеклассника Кевина В. Конечно, скандал на весь интернат, позор обоим, но очень скоро Кевин куда-то исчез: вероятно, его перевели в другую школу. А маленький де Темплъ остался неприятную кашу расхлебывать. И расхлебывать пришлось по полной.

Не прошло и полугода, как его вызвал к себе для педагогической беседы директор интерната Пауль Штеттлер. То есть просто втолкнул в кабинет и двери плотно закрыл. О чем получился разговор мы могли только догадываться. И гадали: еще долго после того рисовали в своем неокрепшем воображении картины, одна другой гротескнее, в то время как несчастный Алекс плакал, закрывшись в душевой кабинке. К нему не решались даже приблизиться и обходили молчаливым полукругом, как будто он был поражен бациллами чумы.

Именно тогда начало возникать вокруг Алекса де Темпля пространство отчуждения. Сперва хрупкое. Мы, хоть и чувствовали, что с нашим товарищем творится что-то чуждое и противоестественное до жути, но не могли по малолетству осознать всей глубины его падения.

Однако визиты в директорский кабинет повторялись с удручающей периодичностью. И Алекс больше не плакал, разве что ночью, в подушку. Но кроме меня - а наши кровати стояли рядом в комнате, рассчитанной на четверых - его всхлипываний никто не слышал.

И он изменился. Уже к двенадцати годам в его речи появились грубствующие, манерные нотки, а в походке - педерастическая расхлябанность. Так нам казалось.

У него даже завелись карманные деньги (о, неужели Штеттлер ему за это платил?), которые мальчишка тратил, самовольно отлучаясь в ближайший поселок. Покупал себе иногда сладости, а чаще - книги. Ему все сходило с рук.

Как, скажите, могла наша маленькая детская община защититься от такого разлагающего явления, как Алекс де Темпл? Нам ничего не оставалось делать, кроме как отгородиться от него - ребенка, так подло предавшего собственное детство.

Пускай читает книжки, вон, у него даже Библия на тумбочке лежит - пухленький томик в черной, тисненой золотом обложке. Грехи замаливает? Ну-ну!

Ему, конечно, хотелось поиграть. Погонять мяч в футбольной команде, посмотреть пьеску в школьном театре, да мало ли что еще. Но за любые попытки нарушить дистанцию Алекса били. Заталкивали молча в угол и колотили до синяков, а порой и до крови, вкладывая в удары все свое презрение, не к нему даже, а к тому безнравственному, что он в наших глазах олицетворял.

И я бил, каюсь. И долго потом мне чудился его тяжелый, укоризненный взгляд. Ни на кого из мальчиков Алекс не смотрел так, как на меня. А один раз обронил вполголоса: «Жестокость тебе не к лицу, Натан.» И отвернулся, кусая губы.

Но он никогда не жаловался. Хотя мог бы наклеветать своему покровителю-любовнику. Или любовникам? Безропотно терпел побои, а с изоляцией смирился, привык. И держался не униженно, а как наследный принц в изгнании. Не опускал глаза, а гордо вскидывал голову, проходя мимо нахохлившейся компании ребят. Брал книжку и усаживался на виду у всех на ступенях жилого корпуса. Сидел, греясь в мягких лучах сострадательного солнца, и читал... он, вообще, много читал. А что ему оставалось делать?

Таким он был, Алекс де Темпл. Да, странным, а кто бы не был странным, окажись, не дай Бог, на его месте?

Наши кровати стояли рядом, но мне как-то ни разу не случилось остаться с ним один на один. Не то чтобы я этого избегал - хотя, может, избегал инстинктивно - но так выходило, что всегда покидал комнату вместе с остальными и не возвращался, зная, что в ней нет никого, кроме Алекса. Я неловко себя чувствовал в его присутствии.

Но в тот день - а нам было уже лет по четырнадцать - оба восьмых класса отправились с утра в поход к окутанной молодым сосновым лесом Огненной Горе. Традиционная весенняя вылазка с гриль-вечеринкой и набившим оскомину

рассказом о шахтерском прошлом нашего края. Когда-то здесь горела земля. Точнее, в районе Огненной Горы полыхали глубокозалегающие угольные пласты, так что весь красно-бурый склон клубился едким дымом. Что привело к подземному пожару - не знаю, какая-то авария на шахте - но продолжался он почти четверть века. Потом понемногу стих, перешел в спокойное тление. Но и сейчас из трещин между камнями вытекают струйки тепла, и в воздухе разлит острый запах серы.

Все ушли, а меня с утра лихорадило, и сильно болело горло. Я лежал натянув одеяло до подбородка и отрешенно смотрел в левый верхний угол окна, где среди яркий бисеринок паутины барахтался, все больше запутываясь, огненный мотылек. Боролся за свою маленькую, ничемную жизнь.

- Болееешь? - я вздрогнул, услышав над собой голос Алекса де Темпля. Как ему удалось так неслышно войти? Или я задремал? И как он смеет со мной разговаривать?

Алекс стоял у моей кровати, небрежно усмехаясь. Высокий, хорошо сложенный мальчик, физически, наверное, гораздо сильнее меня. Стоял слишком близко, мне сразу сделалось неуютно.

Мог ли он меня ударить? Да пусть бы только попробовал, ему бы ребята... его бы потом... Не хорохорься, Натан, не боится он ни тебя, ни твоих друзей. Он чего-то другого боится... того, чему ты и названия подобрать не сможешь.

- Почему ты не пошел на Гору? - спросил я, и собственный голос показался мне тонким и бесцветным, как мучительно пробивающееся сквозь темноту растение. Лихорадка превратилась в жестокий озноб.

Де Темпл передернул плечами.

- Чего я там не видел? Мне Пауль разрешил остаться.

Пауль... Как жеманно он произнес имя директора, слегка растягивая гласные. Конечно, для всех нас «господин Штеттлер», а для него просто «Пауль». И эта гнусная улыбочка... Что за тварь ты, Алекс!

Мотылек в паутине перестал биться, спеленал сам себя в тугой, искрящийся кокон. Теперь настало время пауку полакомиться добычей. Приблизился осторожно, черный, лохматый. Вцепился в жертву всеми восемью лапами, всосался прямо в сердце, гася хрупкое живое пламя. Крошечное насекомое отчаянно дернулось и замерло. В комнате было так тихо, что мелкое серебряное тиканье часов казалось оглушительным. И в этой страшной тишине я каким-то необъяснимым образом услышал полный боли предсмертный крик мотылька.

- Маленькое жертвоприношение, - прокомментировал увиденное Алекс. - Совсем маленькое. Бабочка не может страдать как человек. Даже если у нее вырывают сердце.

- Что? - растерялся я.

Он и на уроках иногда говорил странные вещи. Начитался книжек.

- Жертвоприношение, - повторил Алекс. - Зачем оно, как ты думаешь?

- Паук был голоден, - предположил я.

- Так, - де Темплъ бесцеремонно присел на мою постель и, закатав рукав до локтя, продемонстрировал руку, вспухшую сплошным черно-багрово-желтым синяком. - Это сделал мне ты позавчера. Тоже был голоден?

Я отвел глаза. Он прав, стыдно целой компанией бить одного.

- Подожди, я прочту тебе кое-что, - Алекс потянулся и взял со своей тумбочки черный томик, раскрыл его на коленях. - «Левит», глава первая, - он принялся читать. О том, как следует выбрать жертву, самого лучшего тельца в стаде, «без порока». Как заколоть его у жертвенного камня, содрать кожу, вынуть внутренности, окропить жертвенник кровью. Живодерство, да? - А вот еще из «Бытия», - он перелистнул несколько страниц назад. - «Бог сказал: возьми сына твоего, которого ты любишь...»

Я зевнул. История жертвоприношения Исаака была мне известна.

- Ты можешь себе представить, Натан, чтобы Бог так сказал?

- Не знаю, Алекс. Это было давно, - разговор на абстрактные темы нагонял скуку. Я, вообще, не понимал, что хочет от меня де Темплъ.

- Давно, говоришь? А не пару ли дней назад мы изучали эту книгу на уроке религии? Да ты почитай Библию, Натан, почитай внимательно! Там в каждой строчке - призыв убивать или калечить. «Око за око, зуб за зуб»!

- Христос учил: не убий, - попытался возразить я, не очень хорошо представляя, кто из библейских персонажей к чему призывал.

- Его самого убили! - Алекс захлопнул книжку и презрительно швырнул ее обратно на тумбочку. - И не Христос, а Моисей в десяти заповедях. Натан, помнишь, как ты во втором классе сцепился с Йенсом, когда он залил чаем твой рисунок? С домиком, качелями и собачкой?

Я не помнил ни драки, ни, тем более, рисунка. Как, впрочем, и самого Йенса. Вернее, помнил, но смутно. Это был мальчик, который учился с нами два года, а потом его забрали из интерната в приемную семью.

- Ну?

- Твоя мазня доброго слова не стоила. Детские каракули. Но и домик, и собачку ты нарисовал. Сам. И тебе было обидно, что кто-то их испортил. Неужели ты думаешь, что Бог на самом деле желает, чтобы убивали, мучили и оскверняли его творения?

- А кто тогда?

Алекс де Темплъ торжествующе улыбнулся. Я задал правильный вопрос.

- Идем, сейчас узнаешь. Тут недалеко.

- У меня температура.

- Ерунда, - он резко сдернул с меня одеяло. - Одевайся.

Я быстро натянул брюки и футболку, путаясь в одежде - хоть бы он не смотрел на меня так! - сунул ноги в сандалеты, и мы вышли на залитое жестким белым светом крыльцо.

Меня трясло, мутило от ярких красок, голова предательски кружилась. Пахнувший цветами весенний ветер неприятно охлаждал мое разгоряченное лицо.

- Пойдем за территорию, - попросил я.

Алекс усмехнулся и кивнул.

Прямо за воротами интерната начинался луг, желто-белый от диких нарциссов, а за ним - прозрачная лесная просека. Если пройти дальше по сухому, пропитанному солнцем пролеску, можно выйти на дорогу, ведущую к Огненной Горе.

Мы выбежали на середину луга и одновременно нырнули в теплое озеро молодой травы. Я растянулся на его мягком дне и с облегчением закрыл глаза, позволив ласковым бликам играть на моих ресницах.

- Слушай, - прошептал Алекс.

Жужжали пчелы, сочно гудели оранжевые шмели, назойливо чирикала какая-то птичка. Вдалеке глухо бормотал ветер, заблудившись в опрокинутых в синюю пустоту кронах осин.

- Что я должен услышать?

Алекс вздохнул.

- Слишком много посторонних звуков. Надо прийти сюда ночью, когда птицы и насекомые будут спать.

- Хорошо, - улыбнулся я.

Мир вокруг вдруг сделался расплывчатым и удивительно уютным, и совсем не хотелось возвращаться в пропахшую пылью комнату. Алекс де Темплъ больше не внушал мне ни страха, ни неприязни. Странно было лежать рядом с ним и вслушиваться в ленивую тишину.

Наверное, я задремал. Очнулся от осторожного прикосновения травинки к щеке.

- Натан, тебе плохо?

- Нет... Не знаю. Я, похоже, заснул.

Де Темплъ склонился надо мной и обеспокоенно вглядывался в мое лицо.

- Ты, правда, болен. Не стоило никуда тебя тащить, извини.

Неплохой он, как будто, парень, и мы могли бы стать друзьями, но...

- Слушай, зачем ты это делаешь? - спросил я его в упор.

- Ты о чем?

- Зачем трахаешься со всеми подряд?

- Я... что? - взгляд Алекса стал растерянным и жалким. - С кем это со всеми?

- Ну, со Штеттлером. И с другими тоже.

- С какими «другими»? - я чувствовал, что его растерянность начала перерастать в злость. - Что, черт возьми, вы там про меня болтаете?

- Но насчет Штеттлера ты согласен? - продолжал наседать я.

- Это никого не касается, - отрезал Алекс. - Господи, Натан, что за дурацкий вопрос «зачем?»! Неужели ты думаешь, что я сам этого хотел? - и совсем тихо прибавил: - Я был маленький... тогда... первый раз.

Несколько секунд мы ошеломленно смотрели друг на друга.

- Но... Алекс, - начал я неуверенно. - Понимаю, что тогда ты его боялся. И, конечно, он был сильнее. Но сейчас? Ты почти взрослый, что он может тебе сделать?

- Убить, например.

- Штеттлер грозился тебя убить? - опешил я.

- А ты как думаешь? Он уже преступник и терять ему нечего. А убийство не так трудно замаскировать под несчастный случай. Ну, или под самоубийство.

Де Темпль нервно теребил в тонких пальцах сорванный стебелек. Нарцисс, надломленный и почти увядший, со смятым золотым венчиком.

- Да. Пауль меня убьет. Еще раньше, чем мы закончим школу.

- Я не верил, что такое может быть. Но мне не понравилось, как он это произнес. Даже не испуганно. Обреченно.

- Алекс, он...

«Он не посмеет», - хотел я сказать, но запнулся. Откуда мне было знать, посмеет или нет Пауль Штеттлер убить Алекса де Темпля, которого он насиловал в течение пяти лет, чуть ли не на глазах у всех, пусть и за закрытыми дверьми кабинета? Преступление проще всего скрыть, уничтожив жертву. Никто не должен знать о том, что происходит за закрытыми дверями.

- Иди в полицию, - прошептал я торопливо, как будто кто-то мог подслушать. - Немедленно.

- Нет.

- Но почему, объясни...

- Нет, это ты, пожалуйста, объясни, - перебил меня Алекс резко и зло, и я видел, как от нас в испуге разлетались, расползались, распрыгивались крошечные луговые обитатели. - За что меня ненавидят твои друзья?

- Мы... - я споткнулся на этом слове и тут же поправился: «они» - Они считают, что ты сам во всем виноват.

- Прекрасно, - сказал Алекс. - Разумеется. И в чем же я виноват?

- Ну, во-первых... - я неловко пожал плечами. Желание обвинять де Темпля в чем бы то ни было пропало бесследно. Одно мне стало ясно: на его месте мог очутиться любой из нас. Хотя... а как же та давняя история с Кевином, с которой все началось?

- Продолжай, что же ты?

- Помнишь, как тебя застукали в постели с Кевином? - спросил я неуверенно. Конечно. Сейчас он заявит, что Кевин тоже затащил его насильно, разве шестнадцатилетний парень не сильнее девятилетнего мальчишки?

- Помню, - мрачно кивнул Алекс. - Меня отчитали, как последнюю тварь, и опозорили на всю школу, а я даже не понял, за что.

- А было не за что?

- Мы ничего не делали! В смысле секса. Просто грелись под одним одеялом, ночи тогда были холодные. И он мне рассказывал сказки. Всякие истории, я их почти забыл... про слепых эльфов, например. И другие.

- Слепые эльфы? - удивился я.

- Ну да, которые днем спят на чердаках, притворяясь обрывками газет или старым тряпьем, а по ночам вьются вокруг горящих фонарей и печных труб. Они не видят света, но тянутся к теплу, - Алекс грустно усмехнулся. - Такие глупые сказки. Смешно сейчас вспоминать.

Я тоже улыбнулся, хотя фантазии Кевина вовсе не показались мне смешным. Скорее жуткими.

Ночные эльфы. Наверное, температура у меня зашкаливала за сорок, потому что и шелковый тент неба, и зеленая стена травы дробились разноцветной мозаикой. Я блуждал по пыльным чердачным лабиринтам, и разбросанные то тут, то там газетные листки, привлеченные теплым запахом крови, хищно лгнули к моим ногам.

- Натан, да что с тобой? - Алекс тряс меня за плечо. - Пошли, сейчас наши вернутся.

Он мягко обнял меня и легко, точно тряпичную марионетку, поставил на ноги. Я полулежал в его руках, жмурясь от прямых оранжевых лучей, просеянных сквозь острые вершины далекого леса. Неужели так быстро наступил вечер?

- Идем, - настойчиво повторил Алекс. - Нехорошо будет, если нас застанут здесь.

Не знаю, как мы добрались до нашей комнаты.

Мое тело еще помнило его нечаянные объятия, а в голове испуганными бабочками бились обрывки разговора. Я зарывался в тонкое кружево сна и представлял себе Алекса, лежащего рядом со мной среди примятых цветов, и его страстный шепот: «Слушай!» Он обещал открыть мне какую-то тайну. Это я помнил точно, а все остальное смялось и перепуталось. Нужно пойти ночью на луг? Или в лес? На Огненную Гору? Мне виделось, что мы пробираемся по спящему лесу, странному и застывшему, и ищем магический цветок папоротника, который распускается раз в сто лет, но зато может исполнять любые желания.

А потом снилось, что мы оба стоим перед большим плоским камнем, у подножия окутанного серным дымом склона, и Алекс объясняет, что это друидский жертвенник.

«Ты хочешь меня убить?» Друиды приносили в жертву людей, если я что-то не путаю. Вырывали печень, сердце, глаза, а кровью окропляли корни священных деревьев... это будет покруче, чем все двадцать семь глав «Левита».

«О, нет,» - Алекс загадочно улыбается, лунный свет тускло блестит на стыдливо прячущемся в складках одежды лезвии ножа. «Мы избранные - ты и я. Мы избраны для настоящей друидской мистерии.» Мне страшно, я хочу убежать, но не могу пошевелиться, не могу издать ни звука, словно чьи-то липкие пальцы прижимают мой язык к небу. Де Темплъ - как я сразу не догадался, что фамилия у него вовсе не французская - осторожно берет меня на руки и кладет на жертвенник. Остро сверкнув мне в глаза, нож падает на землю. «Любовь, Натан, это всегда мистерия.» Ох! И пригрезится же такое!

Я ненадолго выныривал из горячего потока сновидений, чувствуя, как учащенно бьется сердце и пылают щеки. И не только от высокой температуры. Искал глазами Алекса, но его нигде не было. В комнату входили ребята, разговаривали. Вроде бы обращались ко мне, но их лица расплывались, а слова сливались в сплошной белый шум.

Потом приходил врач и тоже что-то говорил. Отрывисто, резко. Мне казалось, что он в чем-то меня обвиняет. Все меня в чем-то обвиняли. Нет, не меня, Алекса. Где он? Что с ним сделали?

В конце концов меня забрали в больницу со скарлатиной и какими-то осложнениями. А выписали только в начале июня. Я вернулся в родную школу ослабевший и недоверчивый. Со смутным беспокойством ожидая встречи с друзьями и особенно... Да, я продолжал думать о нем. Мог ли он подсмотреть мои горячечные сны? А что если я говорил в бреду? Я рисовал в воображении, как подойду к нему на глазах у всех и скажу: «Привет, Алекс!», громко, чтобы другие слышали.

Все казалось прежним, только в воздухе больше не пахло весной. Во дворе перед жилым корпусом двое моих товарищей по комнате - Кай и Цедрик - и еще один мальчик из параллельного класса, Петер, играли в «рестлинг-чипы». Алекс де Темпл сидел поодаль, на крыльце, по своему обыкновению с книгой в руках. Меня он не заметил или сделал вид, что не заметил. Я спокойно кивнул ребятам, неторопливо пересек двор и примостился на ступенях рядом с Алексом.

- Привет. Что читаешь?

Он быстро взглянул на меня и тут же снова опустил глаза в книжку, но я успел уловить тень улыбки, порхавшей в глубине его зрачков.

- Натан, - произнес он тихо. - Тебе лучше не сидеть здесь. Иди к остальным.

- Боишься? - спросил я с вызовом.

- Мне-то чего бояться?

- Я больше не хочу участвовать в бойкоте, который считаю несправедливым, - сказал я твердо, зная, что Петер, Цедрик и Кай уже прекратили игру и смотрят на нас.

- Смело. - Алекс одарил меня восхищенным взглядом. - Но глупо. Ты должен заботиться о своей репутации. Такими вещами не шутят, Натан.

Я знал, что веду себя неразумно, но отступить было некуда. Я шел по горящим мостам, без права вернуться. Без права спрятаться в удобную скорлупу неведения. Сделать вид, что не было нашего разговора, или, может быть, он мне приснился, как друидский жертвенник, как мистерия любви?

Так просто оболгать человека, еще проще - согласиться с теми, кто лжет. Ты видишь, Натан, серединного пути нет. Полуправда – это та же ложь, если не хуже.

- Ты ошибаешься, - прервал мои размышления Алекс. («Неужели он умеет читать мысли?» - удивился я) - Ты просто не все понимаешь. Я обещал тебе кое-что показать, помнишь?

- Когда? - я жадно уцепился за его слова. - Сегодня ночью?

- Посмотрим, - он поднялся, рассеянно отряхивая брюки от тонкой золотой пыли. - Пока, Натан.

Я ожидал, что ребята забросят меня вопросами о больнице - шутка ли, проваляться целых шесть недель! - и о беседе с де Темплом, конечно. Но я ошибся. Они, вообще, не спросили. Ни о чем. Как будто меня не было.

Не люблю ночные прогулки. Ночью не только кошки серы, но и контуры смазаны, углы искажены и звуки навязчивы. Каждый шаг эхом разносится по дому, дробится на множество шорохов и скрипов. Заставляет испуганно съезжаться, кутаясь в рваное покрывало темноты.

Я торопливо оделся и выскользнул вслед за Алексом из комнаты. Спустился на первый этаж, скользя рукой по тускло серебрящимся во мраке перилам. Осторожно, чтобы не упасть и не наделать, не дай Бог, шума. Покидать жилой корпус после отбоя запрещалось, а входная дверь запиралась в половине одиннадцатого вечера.

- «Откуда у тебя ключ?» - «Ясно откуда. От Пауля, мог бы и не спрашивать.» - «Ты что, по ночам к нему ходишь?» - «Ш-ш-ш... заткнись, перебудишь всех».

Мне было все равно, куда идти, на луг или в лес. Поговаривали, что в наших краях водятся волки, кабаны и даже иногда встречаются бешеные лисицы. Но страха я не испытывал, только острое, радостное возбуждение, словно сама природа вокруг нас была пропитана пряным запахом тайны. Рядом с Алексом можно было бояться людей, но не лесного зверья.

Внешняя калитка тоже оказалась на замке, но перелезть через низенький заборчик не составило труда. Мы шли по колено в черной траве, искрящейся зелеными бусинами светлячков. Ночь смотрела на нас тысячами любопытных звезд, услужливо стлалась нам под ноги бледной дорожкой лунного света. У самого края луга, там, где травяные заросли кончались, сменяясь мягкими кустиками мха, Алекс даже не лег, а упал, прильнув к земле, словно выслеживающий добычу хищник. Я последовал его примеру. Было влажно, но не холодно, и так тихо, что стук собственного сердца казался оглушительным.

- Слушай землю! - приказал Алекс.

Я замер, вдавив ухо в колючий мох. Затаил дыхание... Мне навстречу, сквозь сплетение корней, рвался тонкий, плещущийся звук. Вибрировал, уплотнялся, переходя в глухое ворчание, чавканье, неприятный скрежет. Потом вздымался до приглушенного визга. Словно в глубине кто-то, умирая, корчился от боли.

Странно. Кто там может быть или что? Полевые мыши? Кролики? И те, и другие живут в норах, и не исключено, что шум от их возни достигает поверхности.

Грунтовые воды, текущие, как кровь, по черным венам Земли? Почвенный газ?

- Что ты слышишь?

Я постарался описать, как мог.

- Нет, не кролики, - сказал Алекс, - и не подземные родники.

- А что?

- Ты должен был услышать сам, иначе не поверил бы.

Он замолчал и как будто задумался.

Необычное место здесь. Словно земля живая: ворочается, стонет, скулит. Мне мерещилось, что я лежу на спине огромного зверя, заблудившись пальцами в его слипшемся от ночной росы меху.

- Это не только тут, - заметил де Темплъ. - Это везде. Они всюду, но очень глубоко.

- Кто они, Алекс?

- Не знаю. Я не знаю, как они называются, и никогда их не видел. Собственно, их невозможно увидеть. Думаю, они похожи на гигантских гусениц или личинок майского жука. Знаешь, толстые белые черви. А питаются не листвой или корнями, а болью. Не только нашей, а всех живых существ, но у человека страдания больше всего.

Я молча кивнул: да, так. Когда кому-то больно, вокруг него возникает нечто липкое и жгучее, какая-то невидимая, но, тем не менее, реальная субстанция. Наверное, это можно есть или пить, ведь пьют же некоторые насекомые кровь.

Алекс де Темплъ говорил спокойно, почти равнодушно, но чем-то зловещим веяло от его слов. Чем-то похожим на сказки Кевина, и все-таки слишком настоящим, чтобы принять их за выдумку. И доносившиеся из-под земли звуки были настоящими. Но я все-таки спросил:

- Тебе Кевин рассказал?

- Ну, да, - нехотя признался Алекс. - Он, кажется, в книжке прочитал. Но, не важно. Я сразу понял, что это правда. А сейчас точно знаю, что правда. Я их чувствую. Висят на мне, как пиявки. Десятки, а может быть, сотни. И тянут, сосут... Заставляют мучиться и заставляют других меня мучить.

- Жертвоприношение, - подсказал я, вспомнив мотылька в паутине.

- А когда нечего станет тянуть - боль ведь постепенно притупляется - тогда убьют. Какая разница, чьими руками, Пауля или кого-то еще. Только школу мне не окончить. Да, Натан, жертвоприношение. Я обречен на заклятие и ничего не могу с этим поделать. Бьюсь, как рыба в сачке, но без толку, в меня уже вцепились. Барахтайся - не барахтайся, все равно зажарят и съедят.

Он тщетно пытался скрыть страх, но голос все равно дрожал. Чуть-чуть, самую малость. Мужественный Алекс, но до чего же не хочется умирать в четырнадцать лет!

- Так это и есть те самые боги, которым древние приносили человеческие жертвы, - задумчиво произнес я.

- Они даже не разумны! Какие боги? Безмозглые черви-паразиты. Мы каждую секунду совершаем миллионы жертвоприношений, только для того, чтобы задобрить прожорливых монстров, чтобы они могли размножаться и

расти. И находить новые жертвы, - он судорожно вздохнул. - Сами не знаем, что делаем, Натан.

- Но как они могли к тебе присосаться, - недоумевал я, - если ты здесь, а они - там?

Я похлопал ладонью по ершистой моховой подстилке.

- Человек как дерево. Корнями уходит в землю, а вершиной достает до звезд, - ответил он загадочной фразой и снова замолчал.

На мое лицо падал перламутровый свет, и в глазах тонула полная луна. Алекса скрывала густая тень, только зрачки мерцали в темноте таинственно-зеленым.

Де Темпл казался мне гораздо старше своих лет, может быть, потому, что у него уже был сексуальный опыт. Я чувствовал себя рядом с ним ребенком... глупым, мечтательным. И поверил ему, как он сам когда-то верил Кевину, греясь теплом его тела и растворяясь в странном очаровании его злых сказок-фантазий. Не зная, что стоит лишь на секунду забыть, и сон превратится в явь.

Когда в таинственный предутренний час мы возвращались обратно, я видел, как обугленные клочки газет выются вокруг единственного на территории интерната мутно-желтого фонаря. Земля под ногами кишела кровожадными монстрами, готовыми впитаться мне в пятки сквозь толстые подошвы ботинок. А моя рука доверчиво лежала в ладони Алекса де Темпля. Отверженного, неприкасаемого, изгоя. Я чувствовал себя запущенным в сапфировое небо мячиком, так жутко и радостно было на душе.

- Теперь ты понимаешь, почему от меня лучше держаться подальше? - спросил он меня тогда, заглядывая в глаза. С затаенной надеждой, что я скажу «нет». - Сожрут, примутся за того, кто рядом. Хочешь разделить мою участь?

- В том, что касается Штеттлера - нет, - ответил я спокойно. - А в остальном... Я не боюсь Их.

- Не веришь мне?

- Верю.

Хрупкое чувство, которое зародилось в нас той ночью... дружба на грани любви. Подобное переживают только в детстве или очень ранней юности. Чистые ощущения, не омраченные ни страстью, ни ревностью, ни желанием обладать.

Мы просыпались с первыми проблесками утра, когда грязно-серое небо на горизонте начинало зеленеть, обретая яркость и прозрачность озерной воды, а верхушки далекого леса - слегка серебриться. Тихо выскальзывали из душного корпуса и устремлялись на свободу, туда, где нас никто не мог увидеть, одернуть, схватить за руку. И роса обжигала наши босые ноги. По заросшему клевером лугу мы бежали, как по горящим углям. Бродили по лесу, иногда доходили до самой Огненной Горы, взъерошенной рыжими облаками тумана.

Помню, как указал Алексу на простой деревянный столик с двумя скамеечками из распиленного вдоль дерева.

- В моем сне здесь был друидский жертвенник.

И тут же осекся, увидев страх в его глазах.

- В каком сне, Натан?

Я рассказал. И даже то, что относилось к «мистерии». Ожидал, что Алекс удивится или хотя бы усмехнется, но он смотрел на меня внимательно и печально.

- Мне никогда не нравилось это место. Пойдем отсюда.

На нас словно повеяло смутной болью ранней осени, как будто медленно растущая ночь уже похищала волшебные рассветные часы и облетало с деревьев наше недолгое счастье.

Мы шли назад, держась за руки, по неширокой лесной улочке. Живой изумрудный свет сочился сквозь сомкнутые кроны, расцвечивая песок под нашими ногами.

- Натан, - мягко остановил меня Алекс. - Смотри.

Два засохших дерева застыли рядом, переплетаясь ветвями. Прямые и облитые солнцем, они казались лестницей, уходящей в небо. Может быть, той самой, по которой на заре монотеизма поднимались и спускались ангелы. Но ангелов мы не видели, лишь дрожащую на теплом ветру прозрачную радугу, будто невзначай зацепившуюся за одну их ступенек. Мы чуть не поднялись по ней тогда, по этой лестнице, одного шага не хватило. Одного движения, и вырвали бы свои корни из земли. Но мы стояли, не смея шелохнуться, боясь спугнуть зыбкую иллюзию.

Увы. Конечно, днем мы вели себя не так демонстративно. Но можно ли что-то скрыть, когда все у всех на виду?

Я был готов к тому, что меня станут бойкотировать, как Алекса, сплетничать за спиной. Говорить гадости, и даже не трудно предположить какие. У моего друга определенная репутация, тут уж ничего не попишешь.

Одного я не предполагал: что всю злобу и негодование ребята обрушат на Алекса. Что изоляция сменится травлей, его начнут избивать уже не для острастки, не для того, чтобы держать на расстоянии. А по-настоящему жестко, жестоко, страшно. Каждый день, не давая оправиться. И никто за него не вступится, и он никого не попросит о помощи, уверенный, что это - начало конца.

А, наверное, можно было что-то сделать, отменить предрешенное, Алекс, ведь можно было? Почему же мы ничего не сделали, почему никто не вмешался, чего мы все боялись, почему... Стоп. Не надо истерик.

Дело минувшее, а что прошло - то прошло. Но смогу ли я забыть, как он сидел на холодном кафеле в душевой, вытирая с лица кровь. А я обнимал его, самого дорогого человека, сам плача от его боли, жалея, что не против меня беснуются голодные монстры.

«За что они тебя» - «За то, что подружился с одним из них.» - «Я не один из них.» - «Знаю.»

Алекс улыбался мне разбитыми губами, вымученно, через силу. И прижимал к себе, преодолевая боль.

Почему-то ребята меня не трогали. Избегали общаться, но не били. Смотрели скорее с пугливым сочувствием, чем с неприязнью. А мне было бы легче, если бы меня избивали тоже. Ведь я поклялся разделить его участь: в рай - так в рай, на жертвенник - так на жертвенник.

А потом он покончил с собой. Наглотался битого стекла, и... не стану описывать. Но спасти его не смогли. Не успели. Я не понял, что толкнуло его на самоубийство, и, кажется, никто не понял. Но причина была, он не сломался бы так просто. Он был сильным.

Возможно, Штеттлер пытался с ним что-то сделать, но я не верю, что смог. Конечно, не смог бы, Натан бы ему не дался, кто угодно, только не он.

Его хоронили всей школой, очень многие плакали. Потому что Натана Галеви все любили.

Нет, я не оговорился. Натан Галеви. Я солгал вам, простите. Это я - Алекс. Стыдно было признаться в некоторых вещах, вот и смалодушничал, и рассказал свою историю от чужого имени. Но все, что рассказал - правда.

И все-таки - как ошибся! Думал, что меня выберут жертвой, а ведь жертва должна быть чистой, «без порока». Таких, как Натан, забирают первыми, такие, как я, приговорены жить.

Три года прошло со дня его смерти. Я кое-как окончил школу, да, было не до оценок. Учусь в Berufsschule и подрабатываю, чтобы оплачивать отдельную квартиру. Стараюсь хоть как-то наладить незамысловатый быт, собрать по жалким крупичкам, склеить из осколков.

Прошлое еще впивается в меня своими крючками, но я отцепляю их, один за другим. Да, Натан, я кое-что понял. Не желаю больше участвовать во всеобщем жертвоприношении.

Я буду счастлив, неважно, где и с кем. Счастье, оно здесь, стоит и смиренно ждет, не решаясь постучать. Я открою дверь и впущу его, и плевать, кто и что обо мне подумает. Главное - не откармливать подземных вампиров, вот только залижу царапины на сердце и буду жить так, как хочу.

Вампиры? Да полно, Алекс! Сон разума рождает чудовищ, неужели ты не знаешь? Хватит верить в жестокие сказки. Пора взрослеть.

Таракан разумный

Сотрудник Института Времени и Пространства Даниэль Фукс по прозвищу Адольф Великолепный любил гулять в сумерках по набережной и смотреть, как умирают поденки. Он приходил туда ради нескольких минут перед темнотой, когда небо мутно, точно рифленое стекло, а вечер кажется белым листом бумаги, по которому расплескались бледные акварельные краски. Обычно темная речная гладь, по которой сонно дрейфовали похожие на рыбок серебристые листья ивы, полнилась каким-то особым светом - затягивающим и пугающим одновременно. Светом смерти. Великолепный сидел на скамеечке или стоял у самой кромки суши, в том месте, где расступались заросли тростника, и наблюдал, как красивые несчастные создания взмывают в густую синеву, замирают на мгновение, а потом медленно планируют вниз. Он любовался ими, ощущая в то же время свое, человеческое превосходство над однодневками, чьи слабенькие жизни виделись ему незначительными, как рябь на поверхности воды. В другие моменты ему представлялось, что это единая душа Поденки, которая непрерывно воплощается во множестве маленьких «я» и тут же сама себя разрушает.

Так или иначе, в душе, обреченной каждый вечер умирать, есть некая ущербность.

Даниэль Фукс улыбался. Чужая ущербность заставляла его ненадолго забывать о собственной. Потому что, несмотря на прозвище, великолепия в его облике было мало. Сложенный, как мальчишка, но без намека на юношескую грацию, Даниэль выглядел почти карликом - не потому, что был мал ростом, а из-за идиотской привычки горбиться и втягивать голову в плечи. Костюм всегда сидел на нем нескладно, волосы топорщились вихрами, как он их ни приглаживал, и не помогали ни фиксаторы, ни лаки. Кожа на носу жирно блестела, а над верхней губой чернели усики, смешные и висячие, даже не как у пресловутого Адольфа, а как у Чарли Чаплина. Человек от природы застенчивый, он никогда не смотрел собеседнику в глаза, а только в пол или на свои худые, с короткими пальцами и плоскими ногтями кисти, нервно тиская одну другой, а всем казалось, что он говорит неправду или что-то скрывает.

И это еще полбеды. Если древний царь Мидас мог одним прикосновением обращать предметы в золото, то Даниэль Фукс обладал даром прямо противоположным. Все, к чему ни притрагивалась его рука, превращалось в мусор, черепки, осколки. Он ухитрялся сломать самое ценное оборудование - и приносил лаборатории большие убытки, чем налоговая инспекция и коммунальная служба вместе взятые. Так про него говорили - в шутку, конечно.

Коллеги над Фуксом подтрунивали, а начальник - господин Квитчин, иммигрант второго поколения, поляк и, как шептались в кулуарах, тайный коммунист - издевался и всячески принижал. Иногда публично, но чаще - в своем

кабинете, развалился за гнущимся под тяжестью канцелярского хлама письменным столом. Неаккуратность шефа раздражала Даниэля, но еще больше - злорадная ухмылка, с которой тот высказывал подчиненному обычные, казалось бы, вещи. Даже не высказывал, а - благодаря этой ухмылке - припечатывал беднягу, словно комара мухобойкой.

Три дня назад Квитчин сообщил Великолепному, что временно замораживает его проект по изучению свойств конгруэнтных объемов, а его самого просит присоединиться к группе «Оракула».

Даниэль побледнел и невольно сжал кулаки, но совладал с собой - съежился, втянул эмоции внутрь, как улитка рожки. В проект он вложил очень много времени и сил - два года работы, надежды и бессонные ночи. Сейчас данные уже находились в стадии тестирования. Если бы все прошло гладко - а не могло не пройти - это стал бы его первый доведенный самостоятельно от начала до конца проект.

- Хорошо, господин Квитчин, - ответил Фукс бесцветным голосом, по обыкновению изучая рисунок линолеума на полу. - О'кей. Только на «машине времени» от меня будет мало пользы - ее послезавтра запускают.

Шеф взирал на него с задумчивой жалостью и казался разочарованным - как будто сорвал с кого-то шутовскую маску, а под ней обнаружил очень усталого человека.

- Послезавтра вряд ли успеют, - сказал он нарочито бодро. - Вот и прекрасно, сможешь присутствовать при запуске. На первом, закрытом, без всяких там масс-медиа и прочего. Это же глобальное событие. Другой бы радовался на твоём месте.

- Я радуюсь, - вяло пожал плечами Фукс и еще больше сгорбился. Сделался совсем неприметным и маленьким. - Спасибо большое.

«Оракулом» в Институте называли вогнутый зеркальный диск, похожий на спутниковые антенны с двумя головками-конвертерами. Это и была антенна - устройство, способное улавливать идущие из прошлого и будущего информационные потоки. Преобразованное в видимую человеческому глазу картинку, излучение проецировалось на экран, позволяя заглянуть в толщу времени на несколько веков назад или вперед.

Насчет самих потоков мнения ученых разнились. Некоторые считали, что их всего два, и время, таким образом - непрерывная прямая, по которой мы движемся, как вагонетка по канату. Другие утверждали, что таких потоков бесконечное множество, но все они виртуальны, и единственная реальная точка на их пересечении - это настоящий момент, в котором мы, собственно, и живем. Третьи предлагали модель под названием «дерево» : свершившееся - едино, как ствол, и от него ветвями расходятся возможные пути. Какой мы изберем, зависит от нас, от случая, от каприза высшего разума (в народе именуемого Богом, но Бог - термин не научный).

Даниэль Фукс не знал, какая из теорий верна, но думал, что куда ни загляни, все равно мир - один большой пруд с поденками. Что в будущем, что в прошлом.

На Великолепного Адольфа напала меланхолия. От разговора с шефом осталась ломота в пояснице, легкая тошнота и кисловатый привкус во рту. Даниэля как будто вырвало перенесенным унижением. Как будто кто-то ударил его по рукам или вкрадчиво заглянул в лицо и сказал: «Все, что ты делаешь - не стоит ломаного гроша. Вот так».

Он сидел, понурившись, на скамейке. Погода портилась. Сильный ветер лохматил воду в реке, вздымая то здесь, то там маленькие фонтанчики, и тонко, противно - так, что закладывало уши - гудел в тростниках. Всю мошкарку куда-то сдуло.

«Такую тему загубили, идиоты, - думал Даниэль, перекидывая из ладони в ладонь мобильный телефон. - Ладно, черт с ними, с «Оракулом», с Квитчинным. Расслабиться надо... а то и с катушек слететь недолго».

Расслаблялся он редко и незамысловато, по-мужски. Только чтобы снять стресс - ни пьянка, ни женщины радости ему не доставляли. Великолепный вздохнул, тоскливо прищурился на реку - без поденок казавшуюся пустынной - на сердитое, в чернильных подтеках небо и, включив мобильник, набрал знакомый номер. Прикрывая трубку ладонью - словно кто-то мог подслушать - Даниэль пробормотал адрес, встал со скамьи и быстро зашагал в сторону дома.

Девушка явилась почти одновременно с ним - Фукс как раз снимал ботинки в прихожей. Длинноногая, в черных колготках, желтом платье и с красной лаковой сумочкой через плечо. Осмотрелась тревожно, и по одному взгляду на нее Великолепный понял - начинающая. Девушка потопталась в дверях и зачем-то протянула Даниэлю сумочку - жестом, каким обычно преподносят цветы. Она напоминала школьницу, которая пришла поздравить любимого учителя с юбилеем.

Начинающих Великолепный не любил. Они не умели скрывать стыд и презрение под гладкой профессиональной улыбкой. Перед их живой непосредственностью он робел, терялся и не знал, как себя вести. Поэтому только махнул девчонке рукой и, терзаемый дурными предчувствиями, поплелся на кухню.

- У вас есть кошка? - в больших, с теплой серой радужкой глазах светилось детское любопытство. - А разве кошки едят хлеб?

- Иди в душ, - сухо бросил Фукс и раскрошил в миску половину рогалика. Потом налил молока и как следует все перемешал.

- Эрих, выходи, - он тихо постучал костяшками пальцев по буфету. - Обед готов.

Из темного узкого закутка между буфетом и батареей на середину кухни выполз огромный - даже нет, не так, гигантский - таракан. Размером с черепаху, закованный в матовый хитиновый панцирь - он двигался на удивление проворно. Ткнулся головой в миску и зачавкал, жесткими передними лапами подгребая к себе еду. Зрелище было омерзительным, но Даниэлю оно таковым не казалось.

Облокотившись на стол, он умиленно - почти ласково - наблюдал за домашним питомцем и не заметил, как из ванной комнаты вышла девушка. Волосы ее блестели от капелек воды, а обмотанное вокруг бедер полотенце грозило вот-вот размотаться и соскользнуть на пол.

Как и всякая начинающая, она повела себя не так, как нужно. Не завизжала, не вскочила в страхе на стул, уронив полотенце, не попыталась спрятаться за спину Даниэля. Не замахала руками, не закричала: «Убери эту гадость». Если бы Фукс увидел девушку такой - испуганной и голой - это утвердило бы его мужское превосходство над ней. Но она ничего подобного не сделала. Только присвистнула, как девчонка-подросток.

- Фигассе... жук! Африканский, что ли? У нас, вроде, такие не водятся.

- Нет, не водятся. Ни у нас, ни в Африке. Этот таракан единственный в своем роде, - объяснил Даниэль, и его распрямившиеся было плечи снова печально поникли. - Мутант. У него поломан ген, который отвечает за старение и смерть организма. Поэтому он не умирает, а только все время растет. Видишь, какой? А будет еще больше.

- Везет таракашке, - завистливо вздохнула девчонка. - И почему у людей не бывает таких мутаций?

- Это случайность - подобная мутация. Очень редкая, можно сказать, уникальная. Один на миллиард... тьфу, на сотни миллиардов - если ты можешь себе представить - вот какова вероятность такого генетического сбоя. - Фукс гордо улыбнулся, как будто постигшая таракана случайность была его личной заслугой. - Между прочим, он живет в нашей семье с начала прошлого века.

- Фигассе... - снова присвистнула девчонка. - Слушайте, вы это. Давайте что-нибудь делать уже. А то у меня другие клиенты.

«Кому тут трахаться, мне еще уроки учить, - вспомнилась Даниэлю рассказанная коллегой - русским эмигрантом - старая шутка. - Тоже мне фирма. Присылают... сопливых», - подумал он с грустью. Великолепный уже знал, что ничего не получится. Хоть в постель не ложись.

Так и вышло.

На экране «Оракула» шел дождь. Уже час подряд — медленный, тягучий, густо-кофейный - так что все три поверхности казались забрызганными водой и грязью ветровыми стеклами, а люди чувствовали себя неумехами-водителями, на полной скорости проехавшимися по луже. Сквозь муть и глинистые разводы едва проступали очертания какой-то улицы - дом с крытым подъездом, лоскуток газона, серый асфальт, а слева топорщились частоколом низкие - в пол-человеческого роста - елочки.

Техник Василий Подольский - тот самый эмигрант-весельчак - возился в приборном щитке, пытаясь подкорректировать настройки, и шутил, что деревню Гадюкино смыло. Остальные не понимали, о чем речь, и вежливо улыбались. Во всех взглядах сквозило разочарование.

«А что вы хотели? - усмехнулся про себя Фукс. - Думали, сейчас на сцену выйдет коллега-ученый и устроит вам, олухам, экскурсию по городу будущего? Это же случайный сигнал». Впрочем, разработчики «Оракула» клялись, что случайности в таком деле, как предсказание будущего, не возможны, и каждый в конце концов увидит что-то нужное именно ему.

Из открытой двери подъезда скользнула маленькая человеческая тень - ребенок, и толпящиеся вокруг «Оракула» люди замерли и напряглись с такими торжественными лицами, как будто неожиданно стали свидетелями второго пришествия. В этот момент техник Василий ковырнул что-то в щитке, и помехи пропали. Экран залился солнечным светом, таким слепящим и жарким, что некоторые из коллег Фукса зажмурились, а кое-кто расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке.

Но горячее солнца было желтое пятно на асфальте - пяти- или шестилетняя девочка в цыплячем платье, сама похожая на цыпленка, в черном велосипедном шлеме на голове и черных наколенниках. Она стояла на роликовых коньках и, придерживаясь за металлический поручень, делала неуверенные шаги, как птенец, который учится - даже не летать еще - а ковылять на тонких ножках.

Даниэль Великолепный не увидел, но спиной почувствовал, как ослабились его коллеги, как потеплели их взгляды и улыбки. Сам он смотрел на девочку со все возрастающей неловкостью. Ему казалось почему-то, что вот сейчас она присвистнет, подмигнет ему и скажет: «Фигассе...».

«Оракул» ретранслировал картинку, но не звук. Тем чудовищнее выглядело то, что случилось потом - в полной тишине, как в немом кино. Только вместо музыки за кадром - тяжелое дыхание беспомощно сбившихся в кучку зрителей. Девочка запрокинула голову - словно кто-то окликнул ее из окна - крикнула что-то в ответ и помахала рукой. Выпустила перила, отважившись на первый самостоятельный шаг - точно пускалась в плавание по скользко лоснящемуся асфальтовому озеру. Почти в ту же минуту из колкой гущи елочек, надвинулось темное, членистоногое нечто - и, как танк на полном ходу, врезалось - вгрызлось в ребенка. Страшный, отчаянный крик девочки как будто прозвучал на ультразвуковой частоте - ничего не слышно, но столпившиеся вокруг зеркал ученые, как один, зажали ладонями уши. Никто с испугу не успел сообразить, что это было - не то гигантский краб, не то скорпион, не то насекомое... какой-то невообразимый монстр из голливудских ужастиков.

Никто, кроме Даниэля Фукса. От слабости и шока он еле устоял на ногах. На лбу выступили крупные капли пота, а щеки сделались блее штукатурки. Перед ним, на расстоянии двух метров и нескольких веков - разодранный жесткими роговыми челюстями, умирал человеческий ребенок. Фукс только успел подумать, как тошнотворно выглядит красное на желтом - как его скрутило, прямо в зале, от страха, отвращения и чувства вины.

С работы Даниэля отпустили с пол-дня: вид у него был совсем больной. По дороге домой Великолепный завернул в продовольственный минимаркет и

купил кулек попкорна, бутылку коньяка и пачку соленых орешков, а в магазине стройматериалов - за углом - увесистый молоток. Прямо в прихожей откупорил коньяк бородкой от ключа и, глотнув пару раз из горлышка, почувствовал себя храбрым.

Фукс не стал готовить для таракана обычную болтанку, а просто насыпал в миску попкорн и костяшками пальцев негромко постучал по буфету:

- Эрих, выходи!

Огромный жук завозился в своем закутке, как-то совсем не по-тараканьи заскрежетал и запыхтел - видно, за батареей ему уже становилось тесно - и выбрался на середину кухни.

- Ну, что же ты, Эрих, - опустив голову и сжимая в руке молоток, говорил Даниэль Фукс. - Я тебя выкормил - я, человек, а ты людей жрешь? То есть - будешь жрать, - поправился он. - Скотина ты, Эрих, тварь неблагодарная, вот ты кто. Ты меня понимаешь?

Он смотрел на жука сквозь радужную пелену слез и примерялся, как бы половчее ударить, чтобы не промазать - убить сразу. Не то чтобы он боялся, что раненый таракан может наброситься на него и укусить - хотя не исключено, конечно - просто не хотел причинять своему любимцу лишние страдания. Не хотел видеть его агонии. Ведь он его - тайно, глупо, уродливо - но все-таки любил.

- Не понимаешь ты ничего, Эрих. Тварь неразумная... Эх!

Великолепный смахнул слезы и крепче стиснул рукоятку молотка. Он вспомнил рассказы деда - как в войну, в голодные годы, тот кормил Эриха хлебными крошками - а хлеб в то время был на вес золота, потому что от этих крошек зависела человеческая жизнь. Как бережно завернув в платок, вынес его - тогда еще совсем маленького - из горящего Берлина.

И вот теперь... Да почему, черт возьми, он, Даниэль Фукс, должен его убивать? Ради кого и во имя чего? Может, и не он это был, не Эрих, там, на экране «Оракула», а может, «Оракул» врал.

А если и нет... Да пусть бы и не врал. Даниэль поднял голову и выпрямился. Распрямил плечи. Он представил себе, как возьмет таракана за руку... извините, за лапу, и они вместе плюнут в лицо миру, невечному, легкомысленному, каждый день себя предающему - миру поденок и проституток. Они ему отплатят за все унижения и насмешки, за его высокомерие, снобизм и жестокость - отплатят его же монетой.

Не сам ли этот мир - до отвращения пустой и несовершенный - вырастил себе возмездие?

И пока Даниэль Фукс вспоминал и размышлял, таракан по имени Эрих дохрустел попкорном и уполз за буфет.

Виртуальные человечки

В переводе с одного древнего языка «утро» означает «прояснение». Я размышлял об этом, стоя у подъезда и наблюдая, как мир постепенно проясняется, блик за бликом, лучик за лучиком, из влажно-серого становится прозрачным и ярким. Под ногами пронзительно золотился асфальт. Лиловые вершины деревьев, выныривая из тумана, начинали зеленеть, а забытый в песочнице грязно-болотный мячик, точно спеющее яблоко, наливался упругой краснотой.

Из дома выходили люди, останавливались на минутку, чтобы поздороваться, поинтересоваться, как дела. «Ночью умерла Лора», - отвечал я каждому. Они испуганно ойкали, сочувственно кивали, бормотали что-то приличествующее случаю, а в глазах плескалось мрачное любопытство. Не каждый день у соседа умирает жена. Потом разбегались-разъезжались по своим делам, красивые, молодые, стильные. С тех пор, как все научились облекаться в мыслеформы, на улицах не осталось некрасивых мужчин и женщин.

Городок просыпался. Из лежащей через дорогу пекарни запахло тестом для брецелей, заварным кремом и свежими булочками. В сладкие кондитерские ароматы вплетались тонкие струйки других: йодистый - океана и слабо цветочный - луга. Где-то асфальт кончался и росла трава. Где-то ворчал океан, вгрызаясь в глинистый берег, точно усталый пес, глодающий из века в век одну и ту же кость. Где-то кончались мыслеформы и начинались мы настоящие, сокрытые от чужих взглядов, точно моллюски в раковинах.

Еще вчера Лора в застиранном голубом переднике пылесосила диван в гостиной, сутилась у чайного прибора, улыбалась мне через стол. А сегодня я чувствовал себя, как человек, которому ампутировали руку или ногу. Не столько больно, сколько дискомфортно и странно. Вроде ты, и в то же время не ты. Не целый.

Стоять бы так целый день, не сходя с места, но надо соблюсти глупые формальности: съездить в похоронное бюро, потом в мэрию, оформить свидетельство о смерти. Зачем мертвому человеку свидетельство? Я вышел на середину улицы и поймал такси.

Таксист, мускулистый, загорелый парень, приветливо распахнул передо мной дверцу. Я скользнул взглядом по его бронзовым скулам, коротким напмаженным волосам и отвернулся. Какой примитивный типаж! У людей совсем нет фантазии. Куда ни погляди - везде одно и то же, вернее, одни и те же. По городу маршируют бесчисленные загорелые мачо и гламурные девицы. Да, встречается еще избитый мыслетип «а-ля поэт-художник-музыкант», пронзительно одухотворенные создания обоих полов, с тонкими бледными пальцами и небом в очах. Скукотища.

Вот, у меня образ хороший. Не навязчиво-яркий, а мягкий, вдумчивый. В меру харизматичный. Нечто среднее между «потомственным интеллигентом» и «талантливым руководителем небольшой, но честной фирмы». Я долго его разрабатывал, стоя перед зеркалом, даже подпустил седины в прическу. Чуть-чуть.

Помню, как семь лет назад я впервые увидел Лору. Она пришла наниматься в наше бюро и скромно сидела на банкетке у кабинета шефа, сложив руки на коленях и ожидая собеседования. Простое коричневое платье с воротничком-стойкой, нитка янтарных бус вокруг шеи, черепаховая гребенка в волосах. Темно-рыжая коса забрана в пучок на затылке - смешная детская попытка казаться старше. Чуть вздернутый нос, а глаза серые, как осенние лужи, глубокие, с теплыми золотыми ободками вокруг зрачков. Неужели можно выдумать такие глаза?! Я остановился, пораженный. Вот он, алмаз, в куче пластмассовой бижутерии. Лора заметила мою растерянность и улыбнулась слегка уголком губ, а я сказал себе, что только немного асимметричные лица по-настоящему красивы.

Я не беспокоился о том, что передо мной - дар природы или мыслеформа. Вообще, ни о чем не беспокоился. Я влюбился.

- Ну, едем или нет? - равнодушно спросил загорелый таксист, и я поспешно втиснулся на заднее сидение машины. Искося взглянул на часы: полвосьмого. - Куда везти?

Дрожащим голосом я назвал адрес ближайшего похоронного бюро. Надо скорее все оформить, чтобы самое позднее через час Лору забрали. Нет, не успеют.

Голос - он всегда выдает, его не спрячешь под мыслеформой, не подделаешь, как запах, не задрапируешь складками одежды. Когда Лора впервые заговорила о смерти, ее голос трепетал и бился, как тряпка на ветру. Это случилось полгода назад.

- Габи, я давно хотела тебя попросить... Просто так, знаешь, на всякий случай. Если вдруг я умру первой, обещаю, что ты... закроешь мне лицо.

- Да, конечно, я...

Это прозвучало так странно, что я не сразу сообразил, что она хочет сказать. Но по спине пробежал неприятный холодок.

- ... обещаю. Только зачем такие разговоры? Сейчас, когда нам жить да жить.

Я привлек ее к себе, обнял, а в висках застучало: «Что она скрывает? Почему боится смерти? А может, она - старая?»

- Ну, что ты, малышка? - я бережно погладил Лору по волосам и - как бы невзначай - по щеке. Нет, кожа гладкая, упругая. Молодая. Только прыщик маленький... ну, так я не из тех мужчин, которые способны разлюбить женщину из-за прыщика.

Ночью она приснилась мне - босая, простоволосая, в ночной рубашке, которая, когда я как следует пригляделся, оказалась широкой, несколько раз обернутой вокруг тела простыней. Лора и не Лора. На ее лицо падала густая тень,

и я никак не мог его рассмотреть. А так хотелось. Увидеть бы ее хоть раз, мою жену, такой, какая есть. Сразу стало бы легче.

Утром я понял - что-то изменилось. В наших отношениях, до этого безоблачных, появилась червоточинка. Словно кошка царапнула по сердцу когтистой лапой, и теперь из ранки капля за каплей вытекала наша с Лорой любовь.

Вроде бы все осталось по-прежнему. Аромат кофе и жареного хлеба по утрам, сонная толкотня в ванной, звонки с работы, разговоры за чашкой чая... Наши дни и ночи. По ночам, когда она засыпала, я легко, кончиками пальцев, скользил по ее лбу, щекам, носу, подбородку. Но пальцы незрячи. Они исследовали каждую морщинку, складку, впадинку, но не способны были открыть мне Лорин секрет.

Я говорил себе, что тревожусь попусту. Что в наши дни только чудачки живут с настоящими лицами. Что ничего особенного моя жена не скрывает, никакого уродства, а если бы и так, это ее личное дело. Ведь и я ни разу не показывался ей без мыслеформы. А мог бы? Наверное, да.

Я решил поговорить с ней об этом, осторожно, чтобы не испугать.

- Лора, ведь многие пары делают так. Не после чьей-то смерти, не дай Бог! Сами, по доброй воле, потому что доверяют друг другу.

- А так... ты мне не доверишь? - ее голос прозвучал напряженно.

- Доверяю. Именно поэтому хочу... Послушай, - взмолился я, - ведь мы не первый год вместе. И до сих пор не видели друг друга. Это... ну, не знаю, все равно что заниматься сексом в одежде. Хочется интима, близости.

Я заметил, как она сжалась. Сгорбилась и втянула голову в плечи, словно в ожидании удара или плевка.

- Но... я думала... мне казалось, что ты любишь меня, мою душу... Какая разница, как я выгляжу?

«Хм... - подумал я. - А что такое душа? Ее нельзя увидеть. Как можно ее любить?»

- Не все ли равно, какой меня сделала природа? Это же от человека не зависит... Grimаса случая. Моя мыслеформа - это то, какая я внутри. Ведь ты ее знаешь, мою душу.

«Милая, да я своей души не знаю...»

Мне так и не удалось ее убедить. И вот, сегодня ночью она умерла, беззвучно, во сне. У Лоры было слабое сердце.

Я проснулся, когда она уже остыла, и черты лица слегка размазались, поплыли - мыслеформа начала распадаться, а из-под нее проглядывало что-то другое, незнакомое. Но что - не рассмотреть. Я неосторожно прикоснулся к ее обнаженному плечу и отдернул руку. Вскочил с постели, поспешно вытянул из шкафа чистую простыню и накрыл Лору. Потом, несколько раз обернув широкое хлопчатобумажное полотенце вокруг тела, спеленал свою бедную жену, как египетскую мумию. Туго натуго. Так, чтобы не возникло даже соблазна откинуть

ткань и взглянуть. Я быстро оделся и, не умывшись и не позавтракав, выскочил из квартиры.

Никогда не думал, что бюрократические процедуры могут быть настолько мучительны. В похоронном бюро пахло ладаном и табаком. На выбор предлагались гражданская панихида или церковное отпевание, а после - кремирование, предание земле на благоустроенном городском кладбище, или в лесу, под деревом с мемориальной табличкой, или на собственном земельном участке, у кого есть. Не раздумывая, согласился на кремирование.

В мэрии полчаса стоял в очереди. В узком коридорчике было полутемно и душно, гудели мутные, засиженные мухами лампы дневного света. Пока ждал, понял, что Бог с ним, со свидетельством о смерти. Завтра оформлю.

Отпирая дверь нашей квартиры, я твердил про себя, как глупый попугай: «Лора, прости. Но если я не сделаю этого сейчас, больше не смогу доверять ни одной женщине».

Постоял у кровати, беспокойно озираясь, как будто в комнате мог кто-то прятаться и в самый ответственный момент схватить меня за руку, и принялся разворачивать простыню. Словно сдирал бинты с гноящейся раны.

Нет, она не оказалась уродиной. Просто очень некрасивой. На мой вкус. Кожа смуглая, пористая. Пухлые, с вывертом, губы, плоский нос, острые скулы. Мулатка, наверное, хотя, кто ее знает. Обычное лицо. Живое могло бы кому-нибудь понравиться. Только не мне. Я чувствовал себя, точно ребенок, который целый вечер бродил вокруг украшенной сладостями новогодней елки. Наконец, решил, сорвал с ветки конфету, развернул, а она пустая. Дурачок, какой же еще конфетке висеть на елке, как не пустой? Те, что можно съесть - в вазочке, на столе.

Я швырнул на пол измятую ткань, а вместе с ней - жалкие остатки моей любви. Все кончилось. Семь лет жизни обернулись ничем, самообманом, миражом.

Девушка, которую я любил, никогда не существовала. А эта... чужая... я не хочу ее знать. Кто она?

«А кто ты?» - спросил я, подходя к зеркалу. Медленно, точно змеиную кожу, стащил с себя мыслеформу - импозантного, харизматичного мужчину, умницу и лидера, интеллигента в десятом поколении. Туда же его, вслед за простыней. Вот он, я, настоящий, не выдуманный. Мальчишка с оттопыренными ушами, так и не успевший повзрослеть за свои тридцать лет, худой и веснушчатый, с голодным блеском в глазах и тонкой цыплячей шеей. «Ну, и кому ты такой нужен? Душа... Да не душа у тебя, а сплошное вранье».

Я вышел из квартиры, оставив дверь распахнутой - пусть приедут из похоронного бюро и заберут Лору.

Прохожие косились на меня, пряча ухмылки. Кое-кто крутил пальцем у виска, мол, у парня извращенная фантазия. Но я шел - через площади, улицы и перекрестки, через город и через разнотравье луга - на берег океана, туда, где в

радужной морской пене золотой рыбкой трепыхалось солнце. Мне нужно было увидеть что-то живое и искреннее, прямо сейчас, пока я не успел окончательно возненавидеть этот лживый мир.

Я уселся под старым платаном. Просеянные сквозь листву лучи мягко гладили мои руки. Дыхание океана шекотало нос, обметывало солью губы, тербило волосы на макушке. А я сидел и думал - не мог не думать - что когда-нибудь миру надоест играть с нами в глупую игру, и он отряхнет с себя, как морок, ненужный глянец, пурпур, лазурь, золото... И предстанет во всей своей ужасающей наготе. Черный. Другой. Чужой. Незнакомый.

И это будет страшно.

Желтые бабочки

Праздник закончился. Гости разошлись, оставив на столе грязные тарелки, стаканы, блюда, недоеденную половину торта с оплывшими разноцветными свечами и груды ярких коробочек и свертков на тумбочке в углу. Ну, посуда, это мамина забота, а Ростiku предстояло самое приятное - распаковать и осмотреть подарки. Он сгреб свертки на диван и с удовольствием захрустел оберточной бумагой. Водяной пистолет, конечно, Женька притащил. Пластиковый, дешевый. Сломается через пару дней, у Ростика уже был такой. Робот-трансформер - это от Костика. Конструктор. Фонарик с ЛД-лампами. Радиоуправляемый пенопластовый самолетик без батареек. Детский фотоаппарат, если верить наклейке, «для подводных съемок». Толстый свитер из светло-голубого махера. Бабуля подсунула. Ей заняться нечем, вот и вяжет всем свитера... Мальчик застенчиво улыбнулся, бабушку он любил. Настольная игра. «Бинго», а Ростик хотел «Монополию». Зря не позвал Алекса Майера, у него родители богатые. Правда, сам Алекс зануда, отличник и ябеда, но ради хорошего подарка можно и потерпеть. Да Бог с ним, с Майером... о чем Ростик по-настоящему жалел, так это о том, что опять не набрался смелости пригласить на день рождения Лизу. То есть, почти набрался, но Лиза, как на беду, заболела. Она часто болела и пропускала школу. Тогда Ростик тосковал. Ему как будто не хватало чего-то неуловимого, как солнечный зайчик, который крошечной радугой дрожит на странице раскрытой тетрадки. Пользы от него никакой, а глазам - тепло. Нет, о любви мальчик не думал, он был для этого слишком маленьким. Просто щурился на Лизины рыжие косички и говорил себе: «Какая хорошая девочка. Вот бы с ней подружиться».

Так... а это что такое? От кого? Подарков оказалось больше, чем гостей, даже если посчитать бабушку с ее свитером. Что-то тяжелое, прямоугольное, холодное на ощупь. Мальчик нетерпеливо надорвал край золотой фольги и выдохнул от разочарования - книга! Скучно-то как... Разве что ужастики про монстров, хотя ему и монстры надоели. Ростик развернул книжку полностью. Нет, не ужастики. По обложке витыми готическими буквами струилась надпись - «Пряничный домик», а под ней красовался дворец с облитой шоколадом крышей и сосульками-леденцами на карнизах. Вроде бы «Пряничный домик» сказка не длинная, так что, наверное, сборник, но Ростик уже окончательно потерял интерес к книге, потому что к тыльной стороне обложки оказался скотчем приклеен диск с компьютерной игрой. Баловаться на компьютере мальчику разрешали, правда, с оговоркой, что перед этим он должен сделать уроки, но сегодня - его праздник, так что уроки подождут.

Ростик прошел в детскую, поворошил учебники на письменном столе. С неудовольствием вспомнил, что завтра нужно выучить стихотворение и, бор-

моча себе под нос «невеселая дорога... эй, садись ко мне дружок...», уселся перед раскрытым ноутом. Компьютер заурчал, проглатывая диск, веселенькая заставка на экране - кадр из мультфильма «Шрек» - сменилась картинкой того же самого дворца, что и на обложке сборника сказок.

«Добро пожаловать в игру «Пряничный домик», - пригласил компьютер и осведомился. - Кем ты хочешь быть, Гензелем или Гретель?» Не без труда вспомнив, кто из персонажей мальчик, а кто девочка, Ростик нажал на «Гензель». Зазвучала музыка, двери сказочного дворца приветливо распахнулись, и новоиспеченный Гензель вступил в виртуальный мир.

«Пряничный домик» оказался вовсе не домиком, а целым городом, и не только пряничным, но и шоколадно-вафельно-мармеладным. Обочины тротуаров блестели влажным заварным кремом, шоколадные зайцы и белочки резвились на марципановых лужайках, лимонадные фонтаны били прямо в усыпанное яркими сахарными звездочками небо. Сложенные из батончиков «Баунти» скамейки отливали нежно голубым. У Ростика заныло под ложечкой и во рту скопилась слюна. Он сбегал в гостиную и принес себе кусок торта на блюде, поставил рядом с ноутом и снова углубился в игру. Теперь он мог не только видеть «пряничный город», но и ощущать на вкус.

Ростик бродил по улочкам, передвигая джойстиком свою фигурку, до удивления похожую на него самого - вертявую и худенькую, с буйными черными вихрами, которые выбивались из-под синей бейсбольной кепочки. Точь в точь такую родители купили ему в начале лета. Игра оказалась онлайн, населенная не компьютерными симулякрами, а реальными мальчиками и девочками. С ними можно было переговариваться, набирая текст реплики в правом верхнем углу, в специальной рамке, и возле головы фигурки в белом облачке высвечивался ответ. Ростик двигался осторожно, опасаясь наткнуться на какого-нибудь монстра, и с любопытством осматривался по сторонам. Но вдруг... кто это? Рыжие косички, солнечная челка на глаза, от мгновенного чувства узнавания у Ростика отчаянно заколотилось сердце.

- Привет! - он приблизился к девочке и, покраснев от смущения - как хо-рошо, что она не может увидеть - робко отступал. - Лиза?

Тут же обругал себя: ну, как можно быть таким глупым. Конечно, это не она, мало ли, кого напоминает компьютерная картинка. Но фигурка на экране остановилась, словно замерла от неожиданности.

- Ростик? - и еще раз, с тремя восклицательными знаками. - Ростик!!!

- Лиза Ларина, из 35-й школы? Третий «б»?!

- Да! Да!!!

- Вот так встреча!

- Ага!

- Классная игра! А что здесь нужно делать?

«Как хорошо!», - ликовал Ростик. Он больше не чувствовал ни робости, ни стеснения, все получилось естественно и просто, как будто они в Лизой оставились поболтать на переменке.

Девочка приветливо поманила его рукой, увлекая вглубь переулка, и через пару шагов они очутились на набережной. Вдоль широкого променада горели леденцовые фонари, а внизу, по узкому вафельному руслу, перекачивался вязкий темно-малиновый поток. Сладко запахло клубничным сиропом. Это на кухне мама варила конфетюр.

- Смотри. Здесь можно зарабатывать таллеры и покупать одежду и мебель. Ты видел свою квартиру?

- Нет, а где? Я пока не разобрался.

- Тут каждому дают квартиру, ты можешь сам выбрать, потом покажу, как. Она пустая, ее надо самому обставить.

- Интересно...

- А еще можно переходить на другой уровень. Сейчас мы на первом, самом низком.

- А сколько их?

- Не знаю. Слышала только про второй - взрослый. У нас здесь в фонтанах мягкое мороженое, фанта и лимонад, а у них - шампанское и коньяк.

- Ой!

Ростик, конечно, знал, что детям нельзя пить алкоголь, но если шампанское виртуальное - то почему бы и нет? И мало ли что там еще, на «взрослом» уровне?

Для этого надо ловить желтых бабочек, - сказала Лиза. - За каждую бабочку получаешь повышение и сто таллеров впридачу.

- Но где они? - Ростик с недоумением огляделся. - Я до сих пор не видел ни одной.

- Желтые бабочки - очень редкие. Их мало, - прочел он Лизин ответ. - Но если встретишь - смотри, не упusti. Как увидишь, сразу вцепляйся - и не отпускай.

Стихотворение Ростик так и не выучил, более того, совсем про него забыл. Не вспомнил и вечером, ложась спать, потому что в мыслях крутилось совсем другое: сказочный городок, пряники и леденцы, обрывки разговора с Лизой и ее тонкие рыжие косички, которыми она так смешно встряхивала. Не в игре, в школе. Каждый раз, выходя к доске, девочка задорно вскидывала голову, словно хотела показать, что ей все нипочем. Косички подпрыгивали на плечах, а пушистая челка просеивала солнечный свет, окропляя золотыми брызгами первые парты... Как Ростик жалел, что сидит в третьем ряду!

Но ведь это та же самая Лиза. В голове у Ростика все смешалось. Мальчик заснул только после полуночи, но и во сне его пальцы продолжали дергаться, словно надавливая на кнопки джойстика.

В «пряничном городе» можно было ходить в кафе и магазины, играть, соревноваться, покупать и продавать. Постепенно Ростик научился зарабатывать таллеры: варил мармелад на кондитерской фабрике, строил дом из брусочков пастилы, вскапывал клумбы в городском парке. Он трудился в поте лица, до судорог в среднем и указательном пальцах, уставших от однообразных, точных движений.

Лиза все время была рядом с ним, помогала, объясняла. На первую зарплату Ростик купил ей огромный букет красных марципановых роз.

- Ростик, ты уроки сделал?

- Бабуль, я отдохну немного. Мне только слова переписать в словарик... И природоведение. Я быстро.

- А по-математике? - продолжала наседать бабушка. - Ростислав, ты меня слышишь? Математика!

Он не слышал. Слабое чувство вины шевельнулось назойливым червячком и тут же сникло.

«Спасибо! Мои любимые цветы, - поблагодарила девочка и надкусила темно-зеленый стебелек. - Хочешь, Ростик?»

«Это - тебе», - ответил он великодушно и, вслепую пошарив рукой по столу, положил в рот сочный ломтик яблока. Мальчик каждый раз ставил рядом с компьютером тарелку с чем-нибудь вкусным. Впрочем, и без того, стоило на экране появиться знакомой заставке с дворцом, как на языке сама собой растекалась клейкая сладость.

«У меня осталось два таллера, - отстучал он, дивясь собственной смелости. В игре все гораздо проще, чем в жизни. - Давай потанцуем сегодня?»

Тонкая фигурка Лизы застыла с недоеденным букетом в протянутой руке. Ростик нетерпеливо поерзал на стуле и низко склонился к монитору, ожидая ответа. Сделает он уроки. Потом.

«Скоро праздник, - возразила девочка. - На балах и на праздниках можно танцевать бесплатно.»

У Ростика загорелись глаза. Праздник в «пряничном городе»! Бал!

Он предвкушал красивое и необычное зрелище, музыку, конфеты и конфетти, медленный танец с Лизой... вдвоем... в полутьме огромного зала, в окружении свечей и зеркал.

«Ух ты! Когда?»

«Через три недели.»

Ничего себе скоро! В виртуале три недели равны целой жизни. Но Ростик не хотел показаться навязчивым, если надо ждать – он будет ждать.

Как-то очень быстро в «пряничном домике» наступила зима. Листья из тонкого, прозрачного мармелада пожелтели и хрустящим печеньем осыпались с деревьев на марципановые газоны. Улицы городка укутались разноцветной са-

харной ватой, сироп в реке замерз и превратился в клубничное мороженое, тротуары покрылись искристой корочкой карамели. Ростик и Лиза без усталости катались на санках и коньках - вниз по горкам, по склонам, по залитой скользкой глазурью набережной. О желтых бабочках мальчик и думать забыл, да и в правду сказать, какие бабочки в мороз? Только иногда сквозь сладкое многоцветье, сквозь сказочную фееричность зимы проступало что-то другое, настоящее, темное, как подтаявший снег. Непредсказуемое и сложное, как будто все уровни разом вдруг становились видны, втиснутые друг в друга, подобно матрешкам.

Ростик купил себе дубленку за сто шестьдесят таллеров, теплую, на кроличьей подпушке, а Лиза связала ему длинный трехполосный шарф, который можно было обмотать три раза вокруг шеи, чтобы холодный ветер не задувал под воротник. В благодарность мальчик подарил ей красные рукавички, которые очень шли к ее махеровой шапочке и шубке из серебристой чернобурки. Дети гуляли по фантастическому городу, впитывая краски, запахи и звуки: тягучее благоухание карамели, удушливый аромат зефира и халвы, апельсиновый пожар заката, легкое позвякивание каблучков по леденцовым мостовым.

Мир игры разворачивался перед ними – яркий, тревожный и манящий. Его не хотелось покидать, в нем хотелось жить всегда, исследовать, радоваться, созидать.

Ростик очень много играет на компьютере, – вторгались в гармоничную реальность жесткие, злые голоса. Резкий, визгливый – мамы и кудахчущий – бабушки. – Надо его как-то ограничить... совсем школу запустил.

Есть плохо, похудел, осунулся... Не дозовешься его... все время думает о чем-то своем...

Об этой игре дурацкой. Откуда она, вообще, взялась?

Кто-то из ребят подарил, на день рождения...

Не в игре дело, - взял слово папа. - Все игры одинаковые, стрелялки, догонялки, они все вредно действуют на психику. У Ростислава компьютерная зависимость. Я поставлю специальную программу...

Ростик нагнулся - мокрая челка, выбившись из-под шапки, упала ему на глаза - зачерпнул в ладонь сахарной ваты и скатал зеленый снежок.

«Мадам, защищайтесь! Вызываю вас на поединок.»

«Вот как? Вызов принят! Берегитесь, сэр!»

Не успел он распрямиться, как фиолетовым снежком ему снесло с головы шапку, скулу словно ошпарило кипятком.

«Ой, Ростик! Извини, - девочка подбежала и принялась рукавичкой смахивать с его лица и волос острые кристаллики сахара. - Я не хотела.»

«Ерунда. Уже все прошло.»

Ростика беспокоили долетавшие из кухни обрывки разговора. Мама, папа, бабушка... они же ничего не понимают. Лезут в его жизнь, все время пытаются что-то запретить. Если их слушать и жить так, как они хотят - помрешь со скуки.

«Слушай, тебе предки тоже запрещают долго играть?»

«Не-а».

«Везет тебе».

«Ростик, догоняй!» - крикнула девочка и пустилась наутек, увязая по щиколотку в снегу. По сугробам, по разноцветным проталинам рассыпался ее серебристый смех...

Как ни странно, в школе они почти не разговаривали - им хватало прогулок по «пряничному городу» - только обменивались на уроках многозначительными взглядами. Но Ростик видел, что как только он входил в класс, Лизины глаза теплели, а лицо затуманивалось, окутываясь легким облачком тайны. «Мы знаем кое-что, чего не знают другие», - словно хотела она сказать, и мальчик благодарил ее чуть заметным кивком... и все. Не то, чтобы они что-то скрывали, а как будто копили силы, чтобы прийти домой, зашвырнуть в угол постылые ранцы, быстренько проглотить что-нибудь на кухне, под неодобрительное ворчание бабушек... и снова встретиться, по-настоящему. Болтать, играть в снежки, хохотать и резвиться до темноты, до первых фонарей, а потом брести, взявшись за руки, по уснувшему городу, сквозь печальный хоровод снежинок.

Ростик и не заметил, как пронеслись три недели. На покрытом сладким глянцем асфальте стали появляться черные проплешины. Днем с оттаявших деревьев капал кленовый сироп, такой приторный, что челюсти сводило и к горлу подкатывала тошнота. Но Лизе он почему-то нравился. Она останавливалась, запрокидывала голову и, крепко зажмурившись, высовывала язык... Липкая влага собиралась в трещинах и неровностях коры, стекала по веткам и срывалась вниз крупными сверкающими каплями.

«Ростик, ты не забыл про бал? - напомнила Лиза, довольно облизываясь. - Завтра, в шесть, форма одежды - парадная».

«Парадная - это как?»

«Строгий костюм, галстук-бабочка... Будет лучшее общество. У тебя есть таллеры? У меня много, могу одолжить».

При слове «бабочка» Ростик почему-то вздрогнул, словно пестрокрылое насекомое тонким хоботком кольнуло его в сердце.

«Да, есть, - ответил он быстро. - Сделаю, как надо. То есть, хотел сказать... я приду.»

Бальный зал выглядел, как в его мечтах: витые свечи в серебряных канделябрах, зеркальные полы и высокие зеркала на стенах, глубокие и позеленевшие от времени, вычурные тени танцующих и смутный, как шелест ветра, рокот голосов. Ростик даже подумал, а не угодил ли он на второй уровень, потому что мальчишки щеголяли во фраках, а девочки - в вечерних платьях. Красивее всех была Лиза, в чем-то светло-голубом, воздушном, отороченным кружевами и мехом, очень похожая на фею из доброй сказки. Распущенные и перевитые сте-

бельками хмеля волосы густым медом стекали по белым обнаженным плечам. В огромных зрачках томно переливались отблески свечей.

Вот только «Пряничный домик» - сказка не добрая. Или..? Ростик забыл все сказки на свете. Хотел сделать девочке комплимент, но язык словно присох к гортани, шуршал и трепыхался во рту, как осенний лист. Пальцы онемели.

«Мои друзья» - представила Лиза молодых людей, стоящих с бокалами в руках у задернутого тяжелыми гардинами окна. - Это Хосе, он живет в Уругвае. Пауль, из Германии. А это Джейк из Лондона».

Удивительная все-таки вещь - интернет. Ростик, вытаращив глаза, уставился на иностранцев.

«Хосе, Пауль, Джейк, это - Ростислав. Мой одноклассник».

Последнюю фразу девочка произнесла громко, и по залу поземкой зашелестело: «Ростислав, ее избранник».

Ерунда какая-то... Она ведь сказала «одноклассник»!

Англичанин церемонно поклонился, а немец отсалютовал Ростика бокалом. Уругваец, тощий, с неряшливой копной курчавых волос и грязными манжетами, никак не отреагировал. Только все качал и качал головой, будто китайский болванчик.

«Давно ли вы знакомы с Хозяйкой? - спросил Пауль, и прежде, чем Ростик успел ответить, прежде, чем он успел хотя бы сообразить, о ком речь, добавил. - Вы будете красивой парой. Когда же мы, наконец...»

Лиза схватила Ростика за руку и выволокла на середину зала. Музыка стихла, танцующие пары замерли. Мгновенное замешательство, и публика разразилась шквалом приветствий.

«Ура Хозяйке Пряничного Домика!» - кричали гости.

Хозяйка, значит. Не Гретель, дочка бедного дровосека, отважная и находчивая сестра Гензеля, а сама Хозяйка? От блеска зеркал, шарканья туфель по паркету, переглядывания и перешептывания, и тяжелого аромата дамских духов у мальчика все сильнее кружилась голова.

«Когда мы, наконец, потанцуем на вашей свадьбе?» - закончил вопрос Пауль и хитро подмигнул Ростика.

Свадьба? Какая свадьба? Ах, да, в игре... но все равно, так не годится, это нехорошая игра. Ведь Ростик еще маленький, и Лиза - маленькая. Им надо учиться в школе.

Если только он чего-то не забыл... Ростик, как в полусне, вспоминал последний звонок и первоклашек с маленькими колокольчиками, выпускной бал, и как танцевал с Лизой... Только тогда на ней были розовая плиссированная юбка и кофточка с вышивкой на груди, а волосы девушка собрала на затылке в тугий огненный хвост и завязала узлом.

- Ростик! Ростислав! - встревоженно звал откуда-то мамин голос. Мама... он хотел рвануться навстречу, но ступни как будто выросли в пол и пустили корни.

Рука судорожно шарила в воздухе, натываясь только на гладкий шелк платья и никак... ну, никак не могла нащупать кнопку «escape».

- Все, хватит!

Яркий свет ударил ему в глаза. С горохотом захлопнулась крышка ноута.

- Целыми днями играешь, ничего по дому не делаешь, учебу забросил...

Ростик виновато опустил голову.

- Никаких игр, - резко сказала мама. - Больше не будет никаких игр. Отключаю тебе интернет, и пока не возьмешься за ум - за компьютер не сядешь! Когда справишься, разрешу, но не больше получаса в день.

- Да, - произнес Ростик дрожащим голосом. - Хорошо.

Время тянулось, скучное и пресное, как пережеванная жвачка, и нечем было его заполнить. Мальчик уныло приходил домой, слонялся из угла в угол, бросая тоскливые взгляды на мертвый ноут, потом нехотя садился за уроки... но сосредоточиться не мог, ответы в задачках не сходились, стихи не запоминались, мысли блуждали незнамо где.

Прошла неделя. Ростик снова начал гулять, учиться, нахваливать бабушкины обеды. Десять дней. Получил в школе первую - за два месяца - четверку. «Пряничный домик» забывался, как кошмарный сон. Только иногда на мальчика вдруг накатывала странная, болезненная грусть, и тогда он садился к компьютеру, смахивал пылинки с клавиатуры, осторожно гладил крышку, но включить не решался.

Тринадцать дней. На перемене он подошел, наконец, к Лизе, извинился:

Больше не могу выходить в интернет. Предки не дают.

Девочка подняла на него изумленные глаза:

- Что?

Трехминутного разговора оказалось достаточно, чтобы выяснить: Лиза слыхом не слыхала ни о каком «Пряничном домике». У нее и компьютера-то дома нет.

Ростик был ошеломлен. Если так, то кто же она такая, таинственная Хозяйка? - не находил он себе покоя. Незнакомая девочка? Кто-то из его класса? Мальчик перебирал в памяти всех, кто мог над ним подшутить.

Или все-таки компьютерный симулякр?

Дома Ростик первым делом перерыл все вещи в детской и, наконец, извлек на свет сборник сказок. «Пряничный домик», увесистая книга с дворцом на обложке, при одном только взгляде на который мальчика захлестнуло сладкое отвращение. Кто мог ее подсунуть, может быть, на титульной странице есть дарственная надпись? На самой первой, с аннотацией и годом издания, или на последней, где оглавление?

Надписи Ростик не обнаружил, оглавления тоже. Он сидел на диване и листал книгу, сначала рассеянно пробегая глазами по строчкам, потом все внимательнее и внимательнее вчитываясь в текст. Никакой это не сборник, и сказка

братьев Гримм тут ни при чем. «Пряничный домик» оказался мрачной фантасмагорией, запутанным лабиринтом авторских ходов, сюжетных линий, аллюзий, метафор. Все это странным образом переплеталось и действовало, подобно гипнозу. После двухчасового чтения Ростик стало плохо. По стенам плавали разноцветные пятна, в голове клубился черный туман.

Медленно, очень медленно мальчик встал и двинулся к письменному столу. Он забыл про отключенный модем. Забыл о том, что его испугало. Забыл о запретах мамы, папы и бабушки... И включил компьютер.

«Добро пожаловать в игру «Пряничный домик», - торжественно засветился экран. - Добро пожаловать, Гензель!»

«Нет, не хочу, - затрепыхалась в сознании отчаянная мысль. - Не хочу туда!» - но призывно распахнулись ворота сказочного дворца, и Ростик затянуло в картинку.

Он брел по длинной, полутемной аллее, под руку с виртуальной Лизой, а над их головами низко смыкались заснеженные кроны старых лип. Было жарко, так жарко, что мальчик едва дышал. Горячий пот заливал глаза.

Почему не тает бутафорский снег? - удивлялся Ростик. - А, ну да, это ведь сахар. Сахар от жары не тает.

- Так, и от кого ты хотел скрыться? - спросила Лиза неожиданно низким, грудным голосом, и мальчик вздрогнул.

- Я... не хотел, - растерянно забормотал он. - Это родители...

Смешное словечко «предки» застряло у него в горле. Со знатной дамой не пристало говорить на детском жаргоне.

- Какие еще родители? - презрительно засмеялась женщина. - Мы на втором уровне. Ты думал это игра, Ростик? - она сильно и зло стиснула его руку, чуть повыше локтя. - Нет, милый, это - жизнь.

Когда в комнату вошла бабушка, она увидела внука сидящим перед раскрытым ноутбуком. Лицо мальчика застыло, взгляд остекленел, пальцы бессильно лежали на клавиатуре. Компьютер уже переключился в режим stand-by, и на экране мерцала заставка: о стекло монитора билась, пытаясь вырваться на свободу, желтая бабочка.

Глупая желтая бабочка.

МИНИАТЮРЫ

Девочка и степь

Сизый свет люминесцентных ламп свивался узкими колечками и, пачкаясь о грязные стены, осыпался на линолеум мертвой шелухой. «В некоторых местах концентрация боли настолько высока, - думала Яна, - что воздух кажется жалящим и злым, точно рой голодных пчел.»

Девочку положили в больницу насильно. Как Яна ни умоляла, как ни плакала... от ее слез отгораживались осторожным «все будет хорошо» и спокойно готовились совершить над ней еще большее надругательство, чем то, которому она подверглась несколько недель назад. Что она могла сделать? Несовершеннолетний человек - игрушка в руках сурового мира взрослых.

Она почти ничего не помнила. Только грубые руки, хватающие ее, обротившуюся в беспомощный комочек страха... бессилие и боль. Все казалось гнусным эпизодом из чьей-то чужой жизни, подсмотренным ненароком в замочную скважину.

Бывает, что случайно увиденное становится твоим, ранит память, жестоко и остро, как вспарывает горло проглоченный осколок стекла. И тогда сознание срысается в пустоту.

Яне стали сниться сны, в которые все настойчивее вторгались не ее переживания. Болезненные и грязные, они пронзали, как молния, выжигающая траву до серого пепла и похищающая краски у луговых цветов.

Как-то раз девочка проснулась посреди ночи. Окно было распахнуто в утыканную горошинами звезд пустоту, из него тянуло сквозняком. А на подоконнике сидела крупная, взъерошенная птица. Яне померещилось – белая ворона, но, приглядевшись, она поняла, что голубь. Огромный голубь, окутанный светом.

Ее вдруг бросило в жар. Стало горячо и душно, звезды сухо вспыхнули, точно бенгальские огни. А окружавшая птицу световая аура отделилась от нее и устремила к Яне, охватила ее нежным объятием, мягко затекла под тонкое одеяло. Девочка ощутила тепло и тяжесть внизу живота, и еще что-то неувлимо яркое, как будто в глубине ее тела поселился крошечный огонек, похожий на заблудившееся в черных водорослях отражение звезды. А странный голубь вспорхнул и растворился в слабо серебрящемся небе.

После той ночи сон Яны сделался спокойным и легким, в него больше не вползали уродливые кошмары. Потому что теперь у нее внутри горел свет, а все черное и злое бежит от настоящего света.

И вот это у нее хотели отнять! Слово «аборт» прозвучало, как смертный приговор. Взрослые не соизволили ее даже выслушать. Что?! Родить в четырнадцать лет? От подонка-соседа, изнасиловавшего ее в подъезде? Да все понятно,

от шока у девчонки помутился рассудок. Она забыла, кто она, где и что произошло, и бредит библейскими легендами.

Яна боялась, что операцию ей сделают сразу, но вот уже молочно-золотые сумерки сгустились за окнами палаты, а к растерзанной страхом девочке так никто и не приходил. Больница окунулась в тишину, такую плотную, что казалось, будто уши заложило ватой.

А когда совсем стемнело, зажглись слабо гудящие лампы, одна под потолком, другая - над умывальником, у зеркала. Зеркало - расколовшееся от времени - было похоже на омут с мутно-желтой водой, и лампочка упала в него блеклой тенью искусственной луны.

Яна накинула халат поверх длинной ночной рубашки и выскользнула в коридор. Густо-красный полумрак смотрел на нее глазами неродившихся детей. Стены, впитавшие в себя призраки убитых, выгибались от ненависти, грозя обрушиться и отрезать путь к бегству. Если бы дверь больничного корпуса оказалась заперта, Яна вылетела бы цикадой в окно или юрким муравьем просочилась сквозь неплотно замазанные щели.

Больница находилась на вершине холма. С одной стороны лежал город в ожерелье хрустальных огней, золотыми змеями извивались широкие ленты дорог, глуповато поблескивали зеленые маячки уличных фонарей. Манили ласковым человеческим теплом.

Но вернуться к людям Яна не могла, по крайней мере до тех пор, пока не родится «он» - ее сын. Как странно было произносить это слово, даже мысленно. Давно ли она баюкала на руках кукол, писала в школьной тетрадке наивные девчачьи сочинения о любви? Сейчас любовь лилась на нее прозрачным потоком с разлинованного яркими клеточками созвездий неба, теплым паром поднималась от медленно остывающей земли.

Есть в мире вещи, о которых не следует задумываться, потому что они не стоят ни единой нашей мысли. К таким вещам относится будущее.

Яна спустилась с холма с другой стороны. Ее обутые в больничные тапочки ноги утонули в жесткой траве. Голова закружилась от влажного запаха цветов, от холодного ветра, от пьянящего ощущения падения и полета. До самого горизонта простиралась степь, пустая и черная, грозная, как ночной океан.

Может ли девочка выжить в открытом море? Способен ли выжить человек, не построивший вокруг себя стен, не отгородившийся от неба хитроумными конструкциями из черепицы, дерева и бетона?

Яна знала, что до рассвета ей нужно уйти как можно дальше... но она устала, выбилась из сил. На что она надеялась? Здесь негде спрятаться. Через несколько часов взойдет солнце и ее найдут. Ей хотелось исчезнуть, раствориться в темных, с тусклыми серебряными барашками волнах. Лечь навзничь, и пусть ее тело прорастет травой, заколосится метелочками ковыля, затуманится облаками белых анемонов.

Но, стать землей - это все равно, что умереть. Может ли мертвое выносить в себе живое? Под тонким слоем мягкого дерна, среди сплетения корней спят семена растений. Крепко спят, чтобы когда-нибудь пробудиться, прорасти, потянуться к солнцу. Но не из такого семени взращивает Яна свое дитя.

В степного зверька - вот в кого она желала бы превратиться. Человеческий зародыш должна омывать теплая кровь, а не холодные соки земли.

Яна опустилась на четвереньки, чувствуя, как покрываются пушистым золотым мехом ее руки, нет, не руки - лапы. Как грациозно и хищно выгибается спина, а вокруг острым частоколом стремительно растут вверх черные стебли травы.

Маленький зверек, отдаленно напоминающий ласку, в мерцающей шубке из тонкого лунного волокна жил в норе под большим валуном, у самого края степи. Питался полевками и саранчой и знал... нет, знала, что совсем рядом, за поросшим желтыми свечками зверобоя холмом есть город людей, в который ей однажды предстоит вернуться. Но вернуться не одной.

Конечно, Яну искали. С собаками и с вертолетов. И в городе разыскивали, и в степи. Объявляли по радио, расклеивали портреты пропавшей девочки на фонарных столбах, прочесывали тупиковые переулочки, подвалы и подворотни. Но никто не искал похожего на ласку хищного зверька, под золотисто-бежевой шкуркой которого билось человеческое сердце.

Прошло семь месяцев. Степь перезимовала под снегом. Впитала талые воды, зазеленела хрупкими всходами. Просыхая от весенней сырости, клубился белесым паром старый валун. И та, что нашла под ним кров, нежилась в теплых лучах мартовского солнца. Лениво охотилась на жирных ящериц, а после заката забиралась под камень и спала, свернувшись клубочком на сухой подстилке из душистых трав.

Так и жила, пока однажды жестокая боль не выбросила ее из уютной норки, снова превратив в девочку Яну. Ее человеческое тело оказалось обессиленным и истощенным, исцарапанным степными колючками и продрогшим от ночной росы. Изорванная одежда висела на нем клочьями.

Молодая трава сонно серебрилась, точно облитая ртутью. Что это было? Комета или вспышка сверхновой? Мертвое ночное солнце стояло в зените, заливая степь жестким белым сиянием.

Яна корчилась от боли, слабея с каждым часом, нет, с каждой минутой. Что-то пошло не так. У нее темнело в глазах, серебряный воздух дробился на липкие фрагменты и рассыпался кровавой мозаикой.

А как же свет, который она хотела принести людям? Ее мальчик... сын... он мог бы спасти этот несчастный мир.

Ребенок рвался наружу, бился, как плененная птица, ломая прутья своей клетки, отчаянно боролся за жизнь.

Если бы рядом находился хоть кто-нибудь, акушерка, врач... они, наверное, сумели бы помочь. И тогда все могло закончиться по-другому. Но вокруг не было

никого и ничего, кроме мокрой травы, и холодной земли, и стеклянного неба над головой.

За изогнутый горизонт, пробитый неровными всполохами рассвета, закатилась большая белая звезда.

Кошка сдохла, хвост облез...

За окнами сгустилась теплая вечерняя тишина. С крыши соседской террасы стайкой вспорхнули крошечные серебряные звездочки и, весело чирикавая, расселись по проводам. Бледно-лиловый месяц по самые рожки увяз в липком мазуте темнеющего неба. Маленький мальчик сидел на поросшем солнечными весенними цветами ковре и играл.

Родители собирались в гости. У тети Розы сегодня день рождения, и она пригласила всех-всех-всех. И дядю Антона, и бабушку Софи, и кузена Ференца с Эрикой, и маму, и папу, и сестру Лиз, и Йонаса... и еще полпоселка. Но Йонас, как на беду, подхватил скарлатину, и теперь ему придется остаться дома. Одному.

- Почему одному? - возмутилась толстая кошка Лика, лениво растянувшаяся на пуховике у газовой печи. - А я?

- Толку от тебя, лежебока, - презрительно отозвался папа. - За собой последить не можешь, как тебе ребенка доверить?

- Сынок, мы скоро вернемся, только поздравим тетю Розу, - сказала мама. - Не будешь бояться? Как горло, болит?

Йонас сглотнул. Болит, конечно, но терпеть можно. Ничего, справится, он уже большой.

- Мам, идите. Я не боюсь.

- Я за ним присмотрю, - заявил резной дубовый шкаф. Он был в доме самым старшим, и родители знали, что на него можно положиться.

- Да? Ну, хорошо, - папа грузно опустился на диван, так, что тот даже крикнул от неожиданности. - Извини, пожалуйста, - папа погладил диван по плюшевой шерстке. - Не хотел сделать тебе больно. Так мы идем или нет? Лиз?

Они опаздывали на сорок минут. Сестра непременно хотела взять с собой куклу Генриетту. Но кукла слишком долго крутилась перед зеркалом, расчесывала золотые локоны, красила губы, завивала щипчиками длинные пластмассовые ресницы, примеряла то одни, то другие стеклянные бусы.

- Неудобно как, - пожаловалась мама. - Мы всегда приходим последними.

- Да красивая, красивая, - поторопило куклу зеркало. - Хватит наряжаться, Люди сердятся.

Папа все выразительнее поглядывал на стенные часы, которые только смущенно моргали и беспомощно разводили стрелками.

- А я красивая? - подскочила к зеркалу Лиз. - Тебе нравится моя кофточка? - она картинно обернулась через плечо, расправляя кружевной воротничок. - Новая!

- Человек всегда красив, - ответило зеркало, почтительно скопировав ее огненные мышинные хвостики, растрепанную челку, острые скулы и чуть вздернутый, усыпанный нежными, как топленое молоко, веснушками нос.

- Лиз, завяжи мне бантик, - попросила кукла.

Наконец, все собрались. Сестра взяла Генриетту за руку, папа закутал в полиэтилен огромный букет красных гладиолусов, мама поцеловала Йонаса в лоб, и они ушли.

Как только дверь за родителями захлопнулась, дом пришел в движение. Вещи наперебой пытались успокоить и развлечь больного мальчика.

- Йонас, милый, - закудаhtала кухонная плита. Она была квадратной, неповоротливой и немножко глуповатой, зато очень доброй, и все время стряпала что-нибудь вкусное. - Сейчас я тебе молочка согрею. С медом.

- Молока нет, - сказал холодильник.

- О чем же ты думал? - возмутилась плита. - Тогда чаю заварю, - пообещала она Йонасу, и уже через пять минут на кухне тоненько, как обиженный щенок, заскулил закипающий чайник.

Йонас полулежал, рассеянно поглаживая ладонью бархатистые травинки ковра, и ждал, когда на том созреет, наконец, земляника. Чай с земляникой – это так вкусно! Но в белых цветочках только-только завязались твердые зеленые ягоды. Пока они поспеют, пройдет час или два.

- А я умею прыгать на одной ноге! - похвастался стул и лихо проскакал через всю комнату, но споткнулся, ножки у него разъехались, как у олененка Бэмби на льду, и он грохнулся на пол.

- Ой! - испугался Йонас. - Ты не ушибся?

- Все в порядке, - храбро ответил стул, хотя видно было, что он хорохорится, и, прихрамывая, заковылял к стене.

Мальчику стало скучно. Он встал, постоял у письменного стола, на полированной поверхности которого резвился целый выводок новорожденных настольных лампочек. Смешные и неуклюжие, лампочки-малыши напоминали пушистых утят с фонарями в клювиках. Йонас окунул руку в темное лакированное озеро, и тут же по пальцам забегали радостные пятнышки лимонного света.

И тут мальчика осенило. Он придумал, как можно интересно и весело провести время до возвращения родителей.

- А давайте играть в такую игру, - предложил Йонас, и столпившиеся вокруг него предметы с готовностью закивали. - Называется молчанка. Кто первый что-нибудь скажет или пошевелится - проиграл. Ну?

Конечно, все хотели играть: шкаф, стулья, зеркало в коридоре, письменный стол и настольная лампа, кровать и этажерка с книгами. Только ленивая кошка Лика скептически жмурилась.

- Начинаем, - торжественно провозгласил Йонас. - «Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. Раз, два, три!»

Он обвел взглядом притихшую комнату. Вещи молчали и не шевелились. Выгнув жесткие металлические спинки, застыли стулья, попрятались за занавеску лампочки-утята, съезжился и завял зеленый ковер на полу.

Мальчик прошелся по квартире: все играли честно. На кухне его ждала чашка горячего чая с лимоном и на блюде — кусок пирога с малиной и со взбитыми сливками. Плита постаралась. Йонас сел за неподвижный стол, и стол не пожелал ему приятного аппетита. Буфет не смеялся и не шутил, а холодильник не предлагал попробовать новый йогурт или охлажденный апельсиновый сок. Мальчик быстро управился с пирогом и по привычке сказал плите «спасибо», но та не ответила. Никто не хотел съесть «дохлую кошку».

То-то удивится сестра, когда ее болтушка и модница Генриетта вдруг перестанет краситься, выклянчивать платица и заколочки, хвастаться новыми прическами. А плюшевый мишка не будет больше перед сном рассказывать сказки. Надо все объяснить Лиз, а то она, чего доброго, испугается.

«Интересно, сколько они выдержат? - размышлял Йонас. - Кто первым заговорит? Уж точно не шкаф и не письменный стол, они важные и серьезные. Может быть, плита? Сервант? Хрустальная люстра в гостиной? Генриетта? Интересно, кто проиграет?»

Мальчику нравилась игра. Она нравилась ему с каждым днем все больше и больше.

- Деда, сделай мне голубя, - попросила Аника, бойкая голубоглазая девочка, вылитая Лиз в детстве, с такими же пламенеющими, как вечернее солнце, косичками и россыпью золотых конопушек по всему лицу.

- А мне черепашку! - подхватил четырехлетний Тоби.

- Мне китайский фонарик!

- Кораблик с двумя трубами!

- Бабочку!

Йонас неловко приподнялся, держась за подлокотник кресла, и кряхтя потянулся за листом бумаги.

- Сейчас, ребята, давайте по очереди. Кому первому?

- Мне!

- Мне!!

- Мне!!!

- Сделай сначала Тоби, он самый маленький, - рассудительно предложила Аника.

- Хорошо, - Йонас ласково улыбнулся девочке и начал сворачивать из листка черепашку.

На самом деле ни Аника, ни Тобиас его внуками не были, так же как и Мариус, Герда, Лук и Петер. Бог не дал Йонасу детей, но ребятишки троих дочерей Лиз называли его «дедом».

Раньше старик мастерил для них птички и кроличьи домики, выстругивал садовых гномиков из мягкого смолистого дерева, из фанеры выпиливал фигурки для театра теней. Но после перенесенного инсульта правая рука плохо действовала и не могла удерживать молоток или лобзик. Йонасу оставалось только складывать оригами, и исполнял он это виртуозно, приводя маленьких гостей в восторг каждой новой бумажной веточкой, корабликом или зверюшкой. Аника и Герда потом составляли из его поделок аппликации, наклеивали их на картон и раскрашивали в разные цвета.

Ходить тоже стало трудно. Правую ногу Йонас приволакивал, а левая почти все время болела. Поэтому большую часть дня он сидел в соломенном кресле у окна, глядел на облитую густым янтарным блеском улицу, грелся на солнце, думал, вспоминал. Старики живут прошлым или настоящим, но никогда – будущим.

Он не жаловался. Да, жизнь такая. Не плохая и не хорошая, скорее даже хорошая, чем плохая. Только бессмысленная. Вырастить сына – не получилось, а они так хотели малыша, несколько раз пытались, но после пяти выкидышей жена сказала «все, хватит». Потом собирались взять сиротку из приюта, но жена заболела и стало не до того.

Дом он, Йонас, не построил. Дом – это ведь не четыре стены, а место где тебя по-настоящему любят. А кто любит Йонаса? Детишки вот, племянники... Сестра не забывает, навещает иногда. Но они – не часть дома. Прийдут и уйдут.

Ему смутно представлялось что-то полузабытое, приснившееся или нафантазированное. Воспоминание о доме, где даже самая крохотная вещичка любила его, Йонаса. Его собственная живая и разумная вселенная, которую он умертвил глупым заклинанием. «Кошка сдохла, хвост облез...». Йонас улыбался через силу, хотя на душе было невесело. И где-то на задворках сознания, как жучок-короед, копошилась страшная догадка, что все это не сон и не выдумка, что одной нелепой фразой можно сломать прекрасный, гармоничный мир.

- Ну, кто у нас еще остался? - спросил Йонас.

Без подарка осталась Герда, его любимица. Тихая бледная девочка, читает с трех лет, полная противоположность своей рыжеволосой кузине.

Он бережно усадил ребенка себе на колени и принялся за последнюю бумажную фигурку – бабочку. Коварно заныла нога, не парализованная, другая. Но Йонас не шелохнулся и продолжал складывать листок, аккуратно разглаживая его на сгибах, а девочка завороченно смотрела, как под узловатыми пальцами деда из простого листа бумаги рождается крылатое волшебство.

- Готово.

Герда легко соскользнула с его колен.

- Дед, пока! Не скучай!

Он видел, как ребятня пригоршней разноцветных конфетти высыпала во двор. Скучать Йонас не собирался. Вечером обещала зайти Лиз, надо испечь ее

любимый пирог с черной смородиной. Сестра неплохо готовила, но печь так и не научилась. А Йонас научился. Зря не попросил Анику купить сливки, ну ничего, можно и без них. А ягоды он соберет в саду.

Йонас поднялся с кресла, сделал шаг, но... нога, на которой сидела девочка, стала как ватная, подогнулась, и старик, не удержав равновесия, тяжело рухнул на пол. Лодыжку обожгла такая острая боль, что из глаз Йонаса потекли слезы.

Он попытался встать, но не смог. И до телефона не дотянуться, он высоко, на полочке. Если не станет легче, придется лежать до прихода сестры... Он вдруг вспомнил, что Лиз хотела зайти не сегодня, а завтра. Не валяться же на полу целые сутки? И голова кружится... только бы не еще один инсульт. Разве что постараться доползти до входной двери, позвать на помощь соседей. Унизительно, стыдно, но ничего не поделать. Йонас стыдился собственной беспомощности, страха, жалких стариковских слез. Жену хоронил — не плакал, а тут... Хорошо хоть, что не видит никто.

Но его видели.

- Эй, мы так не договаривались! - возмутился шкаф. - Чего ревешь-то? Это же игра!

- Шкаф, ты съел «кошкин хвост»! - хихикнула настольная лампа.

- Да погоди ты... Ну вас всех. Человека до слез довели!

Обеспокоенные вещи сгрудились вокруг Йонаса, лампа изогнула длинную лебединую шею и посветила ему в лицо, ковер робко пощекотал травинкой босую пятку.

- Игра... игра... - недовольно бубнил письменный стол. - Так и заиграться недолго!

Посреди комнаты на зеленом ковре сидел маленький мальчик и горько плакал.

Я расту

Я перестал расти лет в шесть или в семь. Должно быть, в первый школьный день, после того, как учительница ффрау Шмидт ударила меня линейкой по рукам. Ее потом уволили из школы за то, что она била детей, а у меня пальцы неделю не сгибались и очень сильно болели.

Или в тот момент, когда моя мама переехала на машине бродячую собаку. Бог ее знает, откуда она взялась - шавка эта, выскочила из подворотни прямо под колеса. Раздавленные в жидкую кашицу собачьи внутренности напоминали вишневый мусс, который я раньше любил есть на завтрак, вместе с йогуртом. До сих пор не могу вспоминать о нем без тошноты.

Или когда я стоял у доски и, как девчонка, комкал в кармане носовой платок. Слова выходили такими же скомканными, сопливыми и бессмысленными, а я казался себе глупым и неуклюжим и от стыда готов был спрятаться под учительский стол.

А может быть, ранним февральским утром, когда отец упаковал большой, пахнущий кожей и канцелярским клеем чемодан и, даже не кивнув мне, хотя я таращился на него спросонья во все глаза, шагнул за порог в мелкую злую поземку. Мама говорила потом, что он умер, и я верил ей. Для того чтобы уйти, даже не сказав «прощайте» самым близким людям, надо по меньшей мере умереть.

Или когда Ханс из третьего «в» порезал бритвой мои новые резиновые сапожки. В их гладких боках отражались осенние лужи и пронзительная желтизна запаркованных в паре метров от нашего подъезда почтовых машин.

Не знаю, когда и отчего. Стресс, мутация или гормональный сбой. Но с первого класса я не вырос ни на дюйм. Мои сверстники вытягивались, крепчая, точно молодые дубки. Днем их влекло солнце, а вечером - луна. На школьных праздниках я чувствовал себя заблудившимся в дремучем лесу и вставал на цыпочки, пытаюсь хоть что-то разглядеть за спинами одноклассников. Не скажу, что ребята меня сильно обижали, и не думаю, что они принимали мою беду всерьез, но мне было страшно среди них - забытому и маленькому. Само время презрительно оттолкнуло меня, обронило с повозки, точно бесполезную вещь.

Мне так хотелось хоть немного, хоть чуть-чуть подрасти. По утрам у зеркала я за уши, за волосы, за что попало тащил себя вверх. Выше, выше... и постепенно у меня начало получаться. Просыпаясь до зари, я за полчаса - час выращивал себя настолько, что в школе почти не отличался от других. Потом научился делать это в постели, в полудреме, щурясь на тусклое окно, из которого сочилась по капле, оседая туманом на занавесках, влажная рассветная серость. Выстраивал, удлинял, вытягивал сантиметр за сантиметром собственное тело, а затем лежал, рас-

слабившись, на спине, привыкал и осваивался в нем, как рука в новой перчатке. Целый день я представлял себя большим и сильным. Что бы ни делал, я не переставал думать о себе как о высоком, физически развитом мальчишке, подростке, молодом человеке, ни на секунду не выпуская из сознания образ-мысль. Но во сне контроль ослабевал - и я снова становился щуплым первоклассником. Как я боялся, что кто-нибудь увидит меня таким!

Уже в старших классах я ходил в костюме, а на работу - при галстукe. Так усердно притворялся взрослым, что сумел обмануть даже маму.

- Каков жених вырос! - хвасталась она мной перед подругами. - Умный, ладный, да серьезный, всем на зависть. Жених...

У мамы глаза теплые и тягучие, словно янтарь, а у Алисы, как речные камешки - скользкие и прохладные, с жемчужной поволокой. Взгляд как будто слегка растерянный. Крашенная челка. Зато в профиль они с моей мамой невероятно похожи. Я познакомился с Алисой на поминках у шурина двоюродного дяди, и представили ее мне, как какую-то сестру, сколько-то там «юрoдную». Родство меня не испугало: если я жених, то лучше невесты не отыскать. Одно условие поставил я Алисе - засыпать будем в разных комнатах. Она его - удивленно - но приняла.

Первые три года жена мечтала о ребенке.

- Мы назовем его Марек, нашего мальчика. В честь моего брата, но похож он будет на тебя, - говорила она, улыбаясь и складывая кисти лодочкой, как будто крошечный Марек уже спал у нее на коленях. - У него будет ямочка на левой щеке, как у тебя, Паскаль, и волосы - золотые, будто сушеная трава.

Потом Алиса перестала мечтать и стала бегать по врачам. Осунулась и погрузилась, но еще на что-то надеялась и по вечерам, за ужином, рассказывала об анализах, о консультациях у профессоров, о зачатии в пробирке. Только я знал, что ни к чему все это. Что бы там ни болтали профессора, вина за бесплодный брак - на мне.

- Давай возьмем малыша из приюта? - молила Алиса. - Какая разница... не те отец и мать, кто родили. Паскаль, пожалуйста! Мы могли бы найти мальчика, похожего...

- Нет! - отвечал я твердо.

Нет, пока я в доме хозяин, чужого ребенка здесь не будет. Рядом со своим собственным сыном я мог бы снова начать расти - с ним вместе - ожить, как измученный зноем побег в тени молодого платана. Наконец-то потянуться к солнцу. Рядом с чужим ребенком я боялся опять ощутить себя потерянным и брошенным, заблудившимся в дремучем лесу.

Иногда я просыпался посреди ночи от громких рыданий Алисы. Разглядывал свои детские руки, скрещенные поверх одеяла, бледные и как будто насквозь просвеченные луной. Из комнаты жены доносились шаркающие, медленные шаги - поступь усталого, измученного жизнью человека.

«Ну вот, - думал я, - вот и Алиса состарилась. А я так и не повзрослел...»

Однажды я по рассеянности оставил дверь спальни незапертой. Очнулся от негромкого скрипа - совсем рядом, словно проседала под чьей-то тяжестью плохо закрепленная половица. Распахнул глаза и встретился взглядом с Алисой. Я чуть не вскрикнул от испуга, но жена смотрела отстраненно, словно не на меня даже, а вглубь себя, как будто я был частью ее сна.

Ее выстрадавшего, желанного, волшебного сна.

- Марек, - она, как подкошенная, опустилась на кровать, и обвила мою шею руками. Зажмурившись от удовольствия, гладила осторожными пальцами мои щеки, а зрачки ее в полутьме переливались тягучим янтарем.

- Мальчик, сынок, вот ты где... Я тебя искала. Мне приснилось... мне сейчас приснилось, что тебя нет.

Она баюкала меня бережно, как фарфорового пьеро, а я не смел вздохнуть, боясь разбудить ее ненароком.

- Спи, Марек, - прошептала Алиса и, поцеловав меня в лоб, вышла из комнаты. Шаги ее теперь были скользящими и легкими, словно она танцевала в обнимку с мечтой.

Я больше не запираю от Алисы дверь. Каждую ночь спящая жена приходит ко мне - не опустошенная, как днем, а сияющая и молодая, с лицом, озаренным радостью. Она гладит меня по голове, по русым вихрам, золотым, как скошенные стебельки, а я лежу в ее объятьях, наслаждаясь странным и незаслуженным счастьем.

Каменный цветок

С утра дул горячий ветер, сухой, жестокий. Такой сильный, что разметал и порвал в клочья облака, смел пыль с дорожек и, закрутив в маленькие смерчи, унес на восток, прочь от Каменного Цветка.

Вечером вся семья собралась на веранде за накрытым столом. Огоньки свечей порхали золотыми бабочками вокруг черных фитильков, отражались в граненом стекле стаканов, мельфиоре вилок и ножей, фаянсе тарелок. Мама подавала салаты, напитки и нарезанный прозрачными ломтиками хлеб, папа и дядя Фердинанд говорили о политике, Алиса кормила с ложечки куклу, а маленький Тоби болтал под стулом ногами, мечтая, чтобы поскорее закончился скучный семейный ужин. В воздухе растекался острый запах разомлевших на солнце водорослей, рыбьей чешуи, йода и свежести. Это дядя Фердинанд обрызгал искусственный газон ароматизатором «морской бриз». Мама считала искусственные газоны практичными. Их не надо было перекапывать, поливать и подстригать, они не выгорали летом и не желтели зимой. Только у самого крыльца сохранился островок настоящей травы, по нему Тоби и Алиса следили за сменой времен года.

- То, что сейчас происходит в обществе, - разглагольствовал папа, жестикулируя вилок, - это полный крах социальной системы. Особенно страдают семьи с детьми. Значит, резко упадет рождаемость, вернее уже упала. В детском саду, куда ходит Алиса, осталось три группы, а еще два года назад было четыре. А теперь посмотри, что хотят сделать: убрать налоговые льготы - раз...

- Ханс, ты сейчас кому-нибудь глаз выколешь, - заметила мама. - Что тебе налить, Алиса? Фанты больше нет. Холодный чай будешь?

- Два - больничная страховка. Если вместо семейного взноса станут брать по двести евро с человека, то семья с одним работающим и двумя маленькими детьми...

- Буду, - сказала Алиса. - Только с лимоном, персиковый не люблю.

- ... окажется за чертой бедности...

- Ты же его вчера пила? - удивилась мама.

- А сегодня не люблю!

Из темноты за крыльцом выпрыгнул крупный - около пяти сантиметров длиной - кузнечик и, спланировав над столом, цепко приземлился Тоби на палец. Малыш от неожиданности чуть не опрокинул стакан с яблочным соком.

- Ты кто? - спросил Тоби и осторожно погладил насекомое по узорчатой спинке. Кузнечик в ответ шевельнул усами, тонкими и прямыми, как антенны. - Хочешь со мной дружить?

- Тоби, выброси эту гадость! - возмутилась Алиса. - Сейчас же! Ма-а-ма-а, у него жук!

- Да, - тучный дядя Фердинанд шумно выдохнул и слегка отодвинул от себя тарелку. - Уф... спасибо, Сюзанна, очень вкусно. Понимаешь, Ханс, правительству выгодно, чтобы богатые становились богаче, таким образом можно привлечь в страну иностранный капитал. А что до рождаемости, так эта проблема даст о себе знать через несколько лет, когда к власти придет другая партия.

- Это не жук, - возразила мама, нагибаясь к сыну через стол, - это саранча. Пусть поиграет, ничего. На здоровье, Ферди. Мальчики, не расслабляйтесь, сейчас будет картошка с бараниной.

Тоби с восторгом разглядывал доверчиво прильнувшего к его пальцу кузнечика, трогал пальцем сложенные крылышки и длинные, согнутые в колене лапки, но насекомое терпело - не улетало. Вдруг Алиса сильно и резко толкнула брата ногой.

- Смотри! Да не на жука своего. На небо!

В небе взрывались звезды. Они надувались, как воздушные шарiki, становясь огромными и яркими, а потом лопались с тихим хлопком, словно гигантские мыльные пузыри. Пуф... пуф... в полной тишине... даже ветер стих, и пламя свечей перестало метаться, вытянулось ровными столбиками. Веранда озарялась разноцветными вспышками. Зеленый, желтый, фиолетовый, красный свет стекал по крыше и по белой стене дома, по рукам и лицам людей, и в свете гнущихся звезд Тоби увидел, как съежилась и почернела трава у крыльца, а кузнечик на пальце дернулся, скорчился и поник, а потом рассыпался серой трухой. Но с искусственным газоном ничего не случилось.

- Мама, - взвизгнула Алиса, - мне в тарелку упал кусок звезды.

- Тише, девочка, - строго сказал дядя Фердинанд, - не надо кричать.

Ярко-красный осколок крутился по тарелке, шипел и разбрасывал искры, обращая в пепел остатки салата.

- Боже мой, Ханс! - всплеснула руками мама. - Она сейчас обожжется, и вообще, вдруг он заразный? Вдруг это какая-нибудь инфекция? Ханс, убери!

Папа вскочил, подхватил тарелку со звездой и убежал в дом. Через три минуты вернулся, сел за стол и продолжал есть.

- Куда ты его дел? - подозрительно спросила мама.

- Спустил в унитаз, куда же еще, - ответил папа с набитым ртом. - Что, по-твоему, я должен был с ним сделать?

- Ты что, хочешь засорить канализацию? Только этого не хватало, - расстроилась мама. - За воду и электричество нечем платить, а тут...

Последняя вспышка, и над их головами разлился холодный мрак. Только одна, самая крохотная, слишком маленькая, чтобы раздуться, бледно-лиловая звездочка теплилась у горизонта. Ее сил не хватило, чтобы исцелить мир, и небо

смялось, пожухло, точно кленовый лист, сложилось вдвое, а потом вчетверо. Под ним открылось жуткое черное нечто, липкое и тягучее, грозящее высосать душу - то, чему нет названия ни в одном человеческом языке. И тогда, спасая людей от страшной безымянной пустоты, Каменный Цветок закрылся, сомкнул лепестки - и они превратились в новое небо. Не такое высокое, как раньше, но если встать в полный рост, головой не стукнешься.

Под каменным небом задохнулось живое пламя свечей, засохло и опало с витых парафиновых палочек.

- Однако, - проворчал дядя Фердинанд, пытаясь нащупать на стене выключатель.

В ту же минуту на проводах вспыхнули яркие разноцветные фонарики, и стало еще светлее, чем от свечей и звезд.

- Смотри-ка, - заметил папа, - а мир-то умер. Не соврали чертовы астрологи.

- Астрологи остались без работы, - хохотнул дядя Фердинанд. - Умер... что ж... Но мы-то живы. Сюзанна, можно мне еще салатику? Да, вон того, с яблоками.

Просто так

Опять в ванной не включается газовая колонка. Я стискиваю зубы и залезаю под холодный душ. Вода впивается в тело ледяными струями, мышцы сводит судорогой, желудок сворачивается в тугую клубок и давит на диафрагму. С трудом перевожу дыхание. Ничего, зато потом станет жарко. Закрываю кран и, брезгливо отшвырнув ногой скомканную одежду, заворачиваюсь в махровое полотенце. Ну, вот, теперь я чувствую себя человеком. Почти. Чтобы чувствовать себя человеком по-настоящему, надо иметь достойную работу и приличную зарплату и жить в квартире с горячей водой, электричеством и дорогими обоями на стенах, а не в чердачной каморке, лицемерно именуемой красивым словом мансарда, в которой ни хрена не работает, побелка со скошенного потолка осыпается и крыша течет. Сейчас еще ничего, а когда я только въехал сюда, в потолке была дырка, и повсюду валялся голубиный помет. Помню, как долго бродил по свалке, пока не нашел металлическую сетку, которой и заделал дыру, а потом заштукатурил.

Выхожу из ванной и, босиком прошлепав по комнате, сажусь за письменный стол. Вытягиваю из разлохмаченной стопки чистый лист. Ну, относительно чистый. Какая разница, все равно черновик. Пытаюсь сосредоточиться, но мысли разбегаются. Даже не так - валяются в глубоком обмороке, точно оглушенные тапком тараканы. Надо быть извращенцем или чокнутым на всю голову, чтобы возвращаться домой под утро, как нагулявшийся мартовский кот, и тут же садиться писать эротическую прозу. И вообще какая, к черту, эротика, когда не на что купить пива? Но я не извращенец, мне просто нужны деньги, я весь в долгах, а зарабатывать не умею. Я ничего не умею, только давать себя трахать, а потом писать о том, как меня трахали. В разных позах и в разных декорациях. На самом деле простор для фантазии не велик. Как говорит один мой знакомый, у человека всего три естественных отверстия. Что тут можно придумать нового? Три отверстия - это у женщины. Я мужчина, у меня и того меньше, то есть два. Куда мне можно всунуть, кроме как... сами понимаете.

Выдержать грань между пошлостью и эротикой не просто. Для этого нужны вкус и мастерство. У меня нет ни того, ни другого, и я пишу откровенную пошлость. В гей-журналах такое берут охотно, а главное - платят... не сказать, что много, но у меня каждый цент на счету. Цент к центру - вот и набирается на завтрак, на квартплату, электричество, газ, вывоз мусора, уборку улицы, телефон, налоги, долговые проценты, медицинскую страховку. Теперь еще газовую колонку надо чинить, пока совсем не загнулся без горячей воды. Сам не могу, значит, придется приглашать мастера. И где взять деньги?

Делаю еще одну попытку сконцентрироваться на рассказе. Потребители эротического чтива довольно-таки всеядны, главное, чтобы перцу было побольше, а

так, съедят, что угодно. Не достаточно тупо описать свой рабочий день, надо расцветить его так, чтобы он стал похож на эротический сон, непристойный, яркий и заманчивый. Но мне не снятся по ночам эротические сны. Мне снятся кошмары. Из кошмара тоже можно сделать иногда неплохой рассказец. На прошлой неделе я написал историю о том, как пришел устраиваться на работу - на нормальную работу - а шеф узнал меня, бывшего штрихера и автора эротических рассказиков, возбудился и тут же, в своем кабинете, поставил раком. А я... ну, понятно ведь, что там было дальше.

Не знаю, хороша ли получилась история, но это на самом деле мой кошмар - что меня узнают. Причем именно тогда, когда я получу, наконец, образование, устроюсь в какую-нибудь фирму и заживу жизнью достойного, уважаемого человека. Ведь должно это когда-нибудь случиться? И вот тогда меня снова окунут в грязь. Прошное никогда не станет прошлым, пока в мире есть хоть кто-то, кто может тебя узнать и попрекнуть им. Я эротично посасываю карандаш и думаю о том, что даже если уеду в другой город, где никто из бывших клиентов не встретит меня на улице, мое имя все равно уже опозорено. У меня нет литературного псевдонима, я всегда подписываюсь своей - не очень-то распространенной в Германии - фамилией. Не знаю, для чего. Не спрашивайте. Наверное, хочу насолить самому себе или, наоборот, продемонстрировать всем и каждому собственную смелость. Вот он - я! Смотрите! Я вас не боюсь и плевать хотел на ваше мнение. Когда я держу в руках журнал с очередным рассказом, мне кажется, что меня имеет весь мир. По-всякому. Безостановочно. Жестко. Пусть я не порногерой, не парень с фигурой атлета, и голова у меня кружится от постоянного недоедания, но я знаю, что сотни геев, а может быть, и не только геев читают мой опус и представляют, что со мной можно сделать что-то такое эдакое. Можно, конечно, за дополнительную плату. Хотя «такого эдакого» я не люблю. Только на бумаге. Бумага все стерпит, а я живой, мне больно.

Иногда хочется написать что-нибудь другое или то же самое, но по-другому. Рассказать про неловкость и молчание. За молчанием скрывается что угодно: презрение, равнодушие, страх, желание близости, угроза. Не люблю, когда молчат. Уж лучше пустой треп. Да, погода дрянь. Я тоже обожаю море, сливовый шнапс, китайскую кухню, трахаться с парнями вдвое старше себя, качков, дождь, мюзикл Notre Dame de Paris. Да, и мне иногда хочется выть от одиночества, а если честно, хочется всегда. Вы правы, все можно купить за деньги, кроме доверия, любви, верности, таланта, здоровья, душевного покоя, чистой совести, молодости, потенции, везения, счастья, хорошей погоды, уверенности в завтрашнем дне... а все остальное, да, можно.

Это никому не интересно? Ну, конечно, нет. Ладно, проехали. Я должен писать эротическую прозу, то, что покупают, а не всякую муть, вроде того, что вчера я гулял целый день по городу, и было промозгло, я кутался в легкую синтепоновую куртку и дрожал на влажном ветру. Март, а зима все никак не кончится - думал лениво. Под холодным дождем таяли островки снега. Дождь

отражался в разноцветных лужах. Наверное, я все-таки мазохист, потому что на последние пятьдесят центов купил мороженое и ел маленькими глоточками. По языку растекалась приторная сладость, липкой патокой просачиваясь в горло. Губы онемели и ничего не чувствовали, и сам я как будто онемел, превратился в фигуру из музея мадам Тиссо, только ходячую. Бродил по пустым улицам, редкие прохожие попадались навстречу, тоскливо жались к обглоданным сыростью стенам, поблескивали мне в глаза глянцевыми боками зонтов.

Замечтался, засмотрелся... и на перекрестке Кайзер и Банхоффштрассе чуть не налетел на девушку в темной юбке и кофточке, в деревянных башмаках и с корзинкой тюльпанов в руке. Тюльпаны, в марте? Уж не перенесся ли я каким-то чудом в Амстердам? Впрочем, в Амстердаме я ни разу не был, хотя всегда мечтал его увидеть и знал, что никогда не увижу. Город моей мечты, а мечту нельзя убивать реальностью. На мокрых волосах девушки переливались тусклые пылинки солнца. Золушка или Гретель? А не попроситься ли к ней в сказку? Это только со стороны кажется, что я взрослый. На самом деле я по-прежнему маленький мальчик с удивленными глазами. Я не виноват с том, что сделал со мной этот страшный мир.

Я робко приблизился, и застыл, охваченный жестоким январским ветром. Белое небо потемнело и сгустилось, снежные змеи, шипя, обвилились вокруг моих ног. А тюльпаны в корзинке превратились в подснежники, и я потянулся озябшими пальцами к их живому и яркому голубому пламени. Уведи меня в свою сказку, о чем бы она ни была. Сказка - это всегда победа добра над злом, а большего мне не надо.

«Полтора евро», - сказала девушка, протягивая мне букетик. Баснословно дешево. Я стоял под дождем и рылся в карманах, искал мелкую монетку. Не нашел.

Мне нечем заплатить за весну. Я раздраженно комкаю листок и выбрасываю в мусорную корзину. Эротический рассказ не получился. Не то настроение.

Танец осенних исчезновений

«Если положить в чай немного сосновых иголок и пару крупинок янтаря, сочного, как спелая морошка... потом перемешать и капнуть чуть-чуть солнца...»

- Лу? Лу, ты меня слушаешь?

Она с трудом разлепила отяжелевшие веки и сонно завозилась под теплым шерстяным пледом.

- Прости, я задремала... Мне снилось, что ты хочешь приготовить напиток из солнца и янтаря.

- Янтарь - это и есть охлажденный морем солнечный свет. Красиво, - улыбнулся Кларк. - Но для нас бесполезно.

- Я знаю, - Лу вздохнула. - Вообще, глупости. На тебя вся надежда.

- Но все равно красиво.

Лу любила, когда Кларк смотрит вот так, слегка прищурившись, любила его улыбку и ласковое обращение «маленькая», и не могла представить себе, как будет просыпаться по утрам одна или рядом с кем-нибудь другим. Но год подходил к концу, а это означало, что скоро им придется расстаться.

Разве что случится чудо, но в чудеса Лу не верила. Это только в дешевых сериалах бывает, что после Исчезновения любовники оказываются в одном и том же мире и, ошеломленные, рыдая от счастья, падают друг другу в объятия. Или неожиданная прихоть судьбы сталкивает их после многолетней разлуки. А если это происходит за пару дней до нового Исчезновения, то концовка получается особенно возвышенной и трагичной.

Но в жизни все не так. Исчезновения сводят людей, чтобы уже через год раскидать их по разным мирам, и миров этих не счесть. Вселенная бесконечна не в пространстве и не во времени, она бесконечна в каждой точке времени и пространства, а значит, встретить кого-то снова, столь же невероятно, как два раза выловить из океана одну и ту же рыбку.

Об Осенних Исчезновениях сложено много красивых легенд, странных и неправдоподобных, затягивающих, как тот миг, когда реальность вокруг тебя мутнеет, подергивается легкой рябью... и ты закрываешь глаза, потому что знаешь, что сейчас им станет горячо и больно. Ватная тишина, порыв ветра, блеск. И ты видишь, что все изменилось. Вроде бы, все то же самое: деревья, роняющие золотой свет, и шелковая синева над головой, но того, кто еще секунду назад держался за твою руку - уже нет. И дома твоего тоже нет, и города, в котором ты жила. А есть другие дома, другие города, другие люди. И кому-то из них суждено стать твоим другом или любимым... до следующего Исчезновения.

Говорят, что раньше все было по-другому, а потом вдруг сделалось так. Почему - никто не знает.

И Лу не знала, но верила, что в загадочном явлении природы есть некий тайный смысл. Ей нравились трогательно-прозрачные осенние вечера, когда

каждое мгновение пьешь, как дорогое вино, зная, что оно может оказаться последним по эту сторону черты и первым - по ту. Сам момент перехода виделся ей чем-то вроде подарка в разноцветной обертке. Ярко, броско, и не узнаешь, что внутри, пока не развернешь. Ерунда, пустышка, а может быть - чудо. И сердце замирало в предвкушении волшебства.

Но так продолжалось лишь до тех пор, пока в ее жизни не появился Кларк. А сейчас Лу с тоской и страхом наблюдала, как сохнет трава на горячем ветру, как наливаются мутной росой облака, как густая зелень тополей и лип выгорает до желтизны.

Когда с деревьев упадет первый лист, по планете прокатится волна Исчезновений. Одни люди пропадут бесследно, другие займут их место. Новоприбывшие станут слоняться по улицам, заселять опустевшие дома, искать работу, заводить друзей, будут тыкаться повсюду, как слепые котята, начнется суeta и неразбериха. Осень - самое сумбурное и бестолковое время в году. Едва все более или менее вернется в привычную колею, как в середине октября придет вторая волна. А в начале ноября - третья.

Какая из трех волн захватит их с Кларком - неизвестно, значит, надо торопиться. Надо спешить наслаждаться, жить, любить друг друга, пока неведомая сила не разомкнет их объятия. Потому что противостоять ей невозможно... или возможно?

Кларк считал, что раньше люди знали секрет, потому что древняя мифология буквально кишела сказаниями о «вечных любовниках». Конечно, все старые книги не просмотришь, на это не хватило бы и двенадцати месяцев, от осени до осени. А до первой волны оставалась пара недель, но если очень повезет... Ведь может же им повезти?

Все свободные вечера Лу и Кларк проводили в городской библиотеке – огромном черном здании, увенчанном двумя острыми башнями-близнецами, придававшими ему сходство с рыцарским замком со старинных гравюр. Окруженное аккуратными желтенькими коттеджами, оно выглядело нелепо, как ворона, приблудившаяся к стайке канареек.

Обычно Кларк сидел за столом и читал, а Лу стояла у окна, глядя на погружающийся в переливчатое озеро огней город или неторопливо прогуливалась вдоль стеллажей. Она не могла заставить себя прикоснуться к книгам – массивным томам в наглухо застегнутых кожаных чехлах – и только бормотала вполголоса странные названия, смысла которых до конца не понимала. Что-то неприятное чудилось ей в древних фолиантах, пугающее, восстающее против законов природы, словно люди, их написавшие не были людьми в привычном значении этого слова. «Наши предки» - их называли, с уважением и некоторой опаской, а Лу казалось, что по улицам до сих пор бродят их липкие призраки, прячутся в подвалах и водостоках, ревниво и завистливо следя за беспечной жизнью ничего не подозревающих горожан.

Но Кларк верил в мудрость древних, и рылся в оставленных ими письменах, и искал ответы.

Лу закрыла глаза и почувствовала, что ее снова затягивает в сон. Нет, надо вставать. Кларк отодвинул шторы и бледно-зеленый дымчатый свет затопил комнату. В прозрачном, как бутылочное стекло, небе поблескивали острые осколки звезд, влажные и чистые, отмытые ночным дождем. По мостовой сухой поземкой крутились мелкие бумажки, травинки и отломленные с деревьев веточки, быстро вращаясь, пронеслись четыре шара перекасти-поля. По утрам здесь всегда дул сильный соленый ветер с океана.

Лу сползла с кровати, натянула длинную футболку и босиком поплелась в ванную. Долго искала зубную щетку, разворошила весь шкафчик, но та как сквозь землю провалилась. Из кухни вкусно запахло жареным хлебом и яичницей.

- Лу? - Кларк возник в дверях с металлическим кофейником в руке. - А ведь ты меня не дослушала.

- Я заснула, - Лу продолжала рыться в шкафчике. - Ты говорил что-то о древних, и о каком-то магическом зелье.

- Я говорил, что узнал, почему начались Исчезновения.

- Вот как? Кларк, этого никто не знает.

- Я прочитал вчера, - упрямо продолжал Кларк, - что Бог проклял людей за то, что они копили всякие вещи.

- Какие вещи? - удивилась Лу. - Полотенца, зубные щетки? Шампунь?

- Понятия не имею, - пожал плечами Кларк. - Но думаю, что есть кое-что поинтереснее шампуней и зубных щеток.

Но Лу в тот момент ничего интереснее в голову не приходило, она даже находила смысл в том, чтобы иметь не одну зубную щетку, а две или три. По крайней мере не придется искать ее по утрам, а можно спокойно почистить зубы. Но четыре? Пятьдесят? Сто? Сколько зубных щеток способен накопить человек и зачем они ему? Наверное, дома предков были завалены хламом.

- Да, - подтвердил Кларк. - Знаешь, как там было написано? «Неодушевленные предметы стали для них важнее самой жизни».

- Это как?

- А кто ж их разберет? Видно, свои вещи они любили больше, чем друг друга.

За завтраком Лу размышляла о причудах древних и о превратностях судьбы. Почему-то получалось так, что из-за чьей-то глупой привычки замусоривать свое жизненное пространство они с Кларком должны расстаться, и не когда-нибудь, а совсем скоро. Обидно и несправедливо.

- Ну как, положить тебе солнца в кофе? - загадочно улыбнулся Кларк, намазывая хлеб тонким слоем маргарина.

- Что? - рассеянно отозвалась Лу. - Постой. Ты сказал вчера, что нашел какой-то рецепт, да? Или это мне тоже приснилось?

- Сказал. Но надо все проверить... Пойдем в библиотеку, и я еще раз внимательно прочитаю. А потом нам понадобятся корни красного папоротника, их нужно мелко нарезать, залить кипятком и три часа настаивать в темноте. Сначала можно будет напоить Лисичку, и если на нее подействует...

- При чем тут Лисичка? - перебила его Лу. - Животные не исчезают.

- Не важно, подействовать должно все равно. Потерпи до вечера, маленькая. Если хочешь, выкопай пока на пустыре пару корешков, а там решим, что делать.

- Сколько? - серьезно спросила Лу.

- Я думаю, двух кустиков хватит.

Красный папоротник, строго говоря, никаким папоротником не был. Так называлось низкорослое травянистое растение с чуть красноватыми перистыми листьями и блестящими темно-бордовыми ягодами. Росло оно на пустырях, по обочинам дорог и на прогретых солнцем песчаных косогорах и входило в список из двадцати семи «представителей местной флоры, запрещенных к употреблению в пищу». Но Лу это не смущало. Они ведь с Кларком не собирались его есть, а выпить полстакана отвара - даже невкусного - совсем не трудно. Поможет ли им древняя магия, Лу не знала, но вот повредит - вряд ли.

Корни у красного папоротника оказались длинными и неприятными на вид, похожими на жирных белесых червей. Зыбкий песок осыпался под лопатой, и чудилось, что их покрытые короткими ворсинками туловища шевелятся и пытаются зарыться глубже в почву. Лу не удивилась бы, если бы они ее укусили, но этого, конечно, не случилось. Только от брызнувшего на руки мутно-серого сока слегка онемели пальцы.

Она отряхнула корни от песчинок, а дома тщательно вымыла и оставила на столе, накрытые салфеткой. И стала ждать Кларка.

Вечером, по пути в библиотеку, они держались за руки, чувствуя себя соучастниками некоего таинственного преступления. Небо над их головами приторно розовело, а ближе к горизонту расслаивалось на оранжевые полосы, и черные башенки-близнецы торчали вверх, как гигантские, растопыренные буквой «V» пальцы. Проколотое одним из шпилей солнце трепыхалось, словно насаженная на булавку бабочка, истекало закатной кровью, покрывая мостовую блестящей красной глазурью.

- Интересно, а почему, здание библиотеки во всех мирах одинаковое? - спросила Лу. - Что бы ни находилось вокруг, оно всегда большое, черное, с двумя башнями. Не знаю, как внутри, но снаружи похоже, что это одно и то же строение.

- Я тоже об этом думал, - признался Кларк. - Оно и внутри не меняется. Да, странно.

- Ты что, и раньше бывал в библиотеках? - удивилась Лу. - Не только последний год?

- Да... иногда. То есть, если честно, то довольно часто. Я люблю книги.

«Вот что он имел в виду, - говорила себе Лу, вступая под тусклые, стрельчатые своды. - Любовь к неживым вещам. К книгам. Древних за это наказали, не накажут ли нас? Нет, не может быть, те люди ненавидели друг друга, а мы друг друга любим.»

- Подожди немного, маленькая, я прочту еще раз, - сказал Кларк, извлекая из чехла лохматый том с бронзовым тиснением на темно-синем переплете. - Или хочешь, читаем вместе? Это важно. Вдруг заметишь что-то такое, чего не замечу я?

Неожиданно для самой себя, Лу согласилась.

Она стояла за спиной Кларка, заглядывая ему через плечо, и торопливо пробегала глазами строчку за строчкой. Шрифт был готический, трудный для чтения, а сам текст пестрел непонятными терминами и ссылками на научные труды. Лу едва понимала, о чем речь.

- Что такое «нейротоксин»? - спросила она недоверчиво, тщетно пытаясь прорваться сквозь нагромождение незнакомых слов.

- Вещество, которое проникает в мозг и разрушает его, - пояснил Кларк. - В отваре из корней красного папоротника этого самого нейротоксина очень много. И когда мы с тобой его выпьем, то сначала перестанем ощущать прикосновения и слышать звуки... как при обычном Исчезновении, а потом наступит паралич дыхательных мышц и остановка сердца.

- И что тогда? - глаза у Лу сделались совсем большими, как у испуганного ребенка. Хотя ребенком она себя давно уже не помнила. В прошлом остались времена, когда на планете кто-то умирал или рождался. Все ходили из осени в осень, как из комнаты в комнату, нигде не задерживаясь надолго, ни к чему не привыкая и по-настоящему не привязываясь.

- Тогда наши тела... - Кларк запнулся, подыскивая подходящее слово, но не было больше в человеческом языке глагола «умереть», - ... выключатся и станут непригодными для жизни. И мы оба исчезнем в другой мир. Вместе.

- Да, но... как же мы сможем жить без тел? - жалобно спросила Лу.

- Конечно, сможем, - успокоил ее Кларк. - Как по-твоему люди путешествуют во сне? Помнишь, как сегодня ночью мы купались в море, а наши тела остались дома и спокойно спали?

Да, против такого довода не возразишь. Лу ничего не оставалось, как согласиться, хотя ночного купания она припомнить не могла. Она часто забывала сны, почему-то в момент пробуждения все сминалось, перемешивалось, оставались только отдельные картины, рваные, как клочья соленого тумана над водой.

Гладкошерстная рыжая кошка по кличке Лисичка жила в подвале соседнего пустующего дома, но столоваться приходила к Лу и Кларку на веранду. Отвар из красного папоротника, для вида и запаха слегка забеленный молоком, Лисичка вылакала за три минуты, а потом вылизала шершавым языком миску. Распушила огненный хвост и благодарно потерлась головой о плюшевый угол дивана.

Лу и Кларк, затаив дыхание, наблюдали за ней, но с кошкой ничего особенного не происходило. Она погуляла немного по веранде, а затем забралась Лу на колени и замурлыкала.

- Ну, и? - Лу рассеянно поглаживала рыжую спинку, а Лисичка щурила глаза цвета темного янтаря и урчала от удовольствия.

- Подождем, - прошептал Кларк.

Урчание прекратилось, по телу кошки прошла легкая судорога, оно неестественно вытянулось и застыло.

- Дай мне, - он взял Лисичку из рук Лу и внимательно изучил. Мышечные рефлексy отсутствовали, зрачки не реагировали на свет. - Подействовало, - заключил Кларк.

- Ну что, теперь мы? - Лу задумчиво разглядывала бутылочку с темно-коричневой жидкостью. Посмотрела сквозь нее на солнце, поднесла к лицу. Помедлила. Напиток приятно пах мятным чаем и еще чем-то свежим и острым, но тоже приятным. - Здесь или пойдем куда-нибудь? - ей не хотелось, чтобы их тела оставались в доме, наверное, тем, кто придет в этот мир, будет неприятно их найти.

- Можно пойти к морю, - предложил Кларк.

- Нет, лучше в лес, там сейчас красиво.

Они шли по петляющей среди мшистых кочек тропинке, вдоль заросшего низенькими кустиками голубики оврага. Легкомысленные осины шуршали над ними сомкнутыми золотыми кронами, молодые лиственницы осыпали мягкие иголки к их ногам.

Лу почему-то было страшно. И грустно, словно им предстояло сломать что-то очень дорогое.

Дойдя до неширокой лесной просеки, Кларк остановился. Достал из кармана бутылочку, отпил ровно половину и протянул Лу. Отвар и по вкусу оказался похожим на мятный чай, разве что чуть-чуть горьковатый.

Они стояли и смотрели друг другу в глаза, и Кларк сказал:

- Ну, вот и все. Маленькая, мы будем первыми людьми, победившими Исчезновения.

Лу хотела ответить, но язык вдруг сделался непослушным, чужим. В висках зашумело, а ей казалось что это музыка - легкая, чистая мелодия, жалобная и странно-прекрасная. Она, точно в кино, звучала отовсюду, звала, манила, по-нуждала двигаться в такт.

Лу зашаталась и обхватила Кларка за плечи. Голова гудела, все вокруг стало нечетким и тягучим, менялось, плыло и кружилось... нет, это они с Кларком кружились, обнявшись, по припорошенному праздничным золотом осеннему лесу. Они не знали, что такое смерть, а, значит, смерти для них не существовало.

ЗИМНЯЯ СКАЗОЧКА

Пауль и Паула жили на краю поселка, в домике под остроконечной крышей. Летом ухаживали за садом, в котором росли астры, гвоздики, настурции, душистые травы и всякие овощи, а зимой катались на коньках по замерзшей реке. Снег выпадал редко - раза два или три за весь год - но зато столько, что дома укутывались им по самые карнизы, а от реки оставались только золотые верхушки ив, сиротливо торчавшие над гладкой сверкающей белизной.

Днем Пауль работал, а Паула оставалась дома и вязала из яркого мохера шапочки, свитера и длинные пестрые шарфы, которые потом раздаривала или продавала на рынке. Не то чтобы в семье не хватало денег. Как раз наоборот. Но Паула была художницей в душе и вязала так, словно писала маслом по холсту. Под ее тонкими спицами распускались цветы, вставало и заходило солнце, разлетались упругим веером разноцветные бабочки и осенние листья. В ее свитерах-картинах щеголяли все взрослые поселка, и - скажу вам правду - им завидовали даже столичные модники - а ребятишки никогда не простужались, потому что мохеровые солнца на шарфах грели не хуже настоящего.

Из остатков ниток Паула делала «цыплят», клубочки, к которым потом приделывала картонные ножки и клювики - и дарила их мужу на новый год и на рождество, а перед тем, как спрятать под елку, подолгу держала в руках и думала о Пауле, напивая талисманы любовью и теплом. Сам Пауль к «цыплятам» относился равнодушно, благодарил жену и ставил мягкие комочки на буфет, где их уже скопилось столько, что хватило бы на целую игрушечную птицеферму.

Он считал, что на праздники надо дарить что-то изысканное, в крайнем случае, полезное. Поэтому перед рождественской неделей ездил на пару дней в город и привозил оттуда то бижутерию в продолговатых бархатных пеналах, то свертки с атласным или шелковым бельем, то витые, пахнущие хвоей свечи. Однажды привез большого, в полчеловеческого роста гнома, Паула сначала подумала, что стеклянного. Очень красивого. Но от фигурки исходило такое пронзительное сияние, одновременно живое и недоброе, что Пауле стало зябко. Она прикоснулась к влажно блестящей косичке и словно обожглась - ладонь сразу зашипало. Пальцы онемели и намокли, под ними образовались крошечные лунки.

«Это лед, - сказал Пауль. - Он обработан специальным составом и не тает при комнатной температуре. Только не ставь его у камина, хорошо? Не знаю, доживет ли до весны, но хоть полюбуемся. Он фосфоризирует в темноте, погляди... вот, я сейчас погашу свет».

Любоваться гномом Пауле не хотелось. Она тихо скользнула в ванную, включила горячий душ. Вернее, хотела включить. Вода из трубы текла холодно-ватая и вялая, и не согрела, а только дразнила иллюзией тепла.

Пауль полулежал на диване в темной гостиной и, точно зачарованный, смотрел на странную сидячую скульптуру с желтыми волосами и в смешных тапочках. Разноцветный лед тягуче переливался в скользящих лучах единственного на всю улицу фонаря. Гном - вернее, это была гномиха - улыбался одним уголком рта, едва заметно, чуть-чуть. Другая половина лица оставалась серьезной. Пауль щурился на тусклое свечение, и в его голове сами собой, точно звезды в пустоте, вспыхивали слова. Яркие, отточенные, огранные, словно бриллианты, безупречно-правильные. Это были слова волшебства. Они складывались в строки, а затем - в стихотворные катрены. Пауль чувствовал себя оленем, которого ранили в сердце вишневой косточкой. Вернее, ранили давно, но только сейчас косточка неожиданно начала прорастать.

Под утро Паула проснулась от холода. Встала, дрожа, и попыталась растопить камин, но пламя едко дымило и шарахалось от ее рук. Наконец, тонкий золотисто-оранжевый росток пробился сквозь копоть и черноту, но выглядел болезненным и чахлым.

Гнома поставили между елкой и буфетом, подальше от открытого огня. Несмотря на чудо-состав, лед за ночь подтаял, желтые косички истончились, а лицо слегка оплыло, сделалось обиженным и злым. Полуулыбка превратилась в полуусмешку. Во всяком случае так казалось Пауле. В том месте, где разноцветная вода пропитала паркет, из пола выросла крошечная сосулька-сталагмит.

- Вот, просил тебя так сильно не топить, - недовольно сказал Пауль.

- Да я замерзла во сне, - оправдывалась Паула. - Холодно у нас. Посмотри на термометр, четырнадцать градусов.

- А тебе сколько надо? И что он показывает, висит на самом сквозняке. Вот, куда нужно, - и сорвав со стены стены пластиковую трубочку, поставил ее на полку над камином. Красный спиртовой столбик тут же пополз вверх. Пауль удовлетворенно кивнул. - Девятнадцать. А говоришь, замерзла.

Но Паула все равно тряслась от холода. Чем дальше - тем сильнее и мучительнее, до слез, до боли в суставах, до судорог в онемевших пальцах. Хотела связать себе шарф или свитер, но в доме, как назло, кончились нитки, а в магазине вместо теплого желтого мохера осталась только холодная синяя полушерсть.

Медленно тянулась рождественская неделя. Пауль большую часть дня проводил за письменным столом, сочинял стихи - длинные и завораживающие - и маленькие истории. Ему казалось, что его мысль обнимает весь мир, тогда как на самом деле она сжалась до размеров горчичного зерна. Удивительная иллюзия.

Он полюбил пустоту и тишину, и печальную красоту падающего снега. А снег теперь шел все чаще и чаще, почти каждый день. Даже в ясную погоду за окном плясали белые мухи, облепляли стекло, лунными блестками оседали на карниз. Их тянуло к домику под остроконечной крышей сильнее, чем железную крошку к магниту или мотыльков к горящему фонарю.

«Это все твой гном, - жаловалась Паула, робко ставя на край стола чашку горячего кофе. Но кофе тотчас остывал, и Пауль морщился, отхлебывая тошно-творно-прохладный напиток. - Твой ледяной идол. Совсем дом выморозил. Посмотри, как ухмыляется, как будто смеется над нами».

«Ну, что гном? При чем тут гном? - Пауль нервно передергивал плечами. - Ну, выкинь его, если хочешь... Я его тебе на рождество подарил. Подарки нельзя выбрасывать, это все равно, что плюнуть в лицо человеку. Но ты выкинь, если не нравится».

Паула молча кусала губы - не в ее правилах было плевать кому-то в лицо, а тем более любимому мужу - и незаметно подвигала гнома ближе к огню.

Ледяная скульптурка постепенно таяла и, точно злокачественная опухоль, расползалась по дому, прорастала метастазами то здесь, то там. Потолок в сверкающей бахrome сосулех, тоненькая корочка инея, забелившая скатерть ломкими снежными цветами, ледяная горка в углу, рядом с ящиком для обуви. Серебряные разводы на стенах и бриллиантовые подвески на люстре. Красиво до умопомрачения. Нытье Паулы раздражало, а хрусткая белизна комнат успокаивала, возвращала целостность, погружала в светлую, приятную задумчивость.

К новому году от гнома осталась желто-синяя лепешка, зато дом превратился в сказочный ледяной дворец. Только под елкой темнело незамерзшее пятно, да от горстки «цыплят» на буфете тянулась узкая черная проталинка.

«Я не могу растопить камин, дрова обледенели... И плита больше не греет, - голос Паулы с трудом пробился сквозь толстую подушку снега. - Не на чем приготовить обед».

«Не надо, - отмахнулся Пауль. - Сделай бутерброды или еще что-нибудь. Я не хочу есть. И вообще, оставь меня в покое».

Она заплакала, накинула старую меховую куртку и ушла. Навсегда, прочь от маленького домика с хрустальным потолком и заиндевевшими стенами. Обратилась в ледяной столп или растворилась в стылой слякоти облаков и крошечке вьюги. Говорят, ее видели на другом берегу реки. Может, врут. Пауль не искал жену. Он сидел за столом, у потухшего очага и, так как чернила в ручке застыли, писал осколками фиолетовой сосульки по снежному пространству листа. Ровные блестящие буквы стягивались в строчки, строчки - в морозные узоры. А потом льдинки выскользнули из его окоченевших пальцев и сложились в слово «любовь». Будто в насмешку.

Если Вам понравилась эта книга, Вы можете выразить свою благодарность автору в материальной форме, перечислив любую сумму, соразмерно полученному удовольствию, на электронный кошелек

WMR <не предоставлен>

WMZ <не предоставлен>

Спасибо!

***** *** *****

NORD VIND

Издано по инициативе и на средства библиотеки сайта «Nord Vind»
<http://nordvind.ucoz.net>



Авторство: Маверик Д. © 2009-2011

Компоновка: Nord Vind. © 2011

Оформление: Nord Vind © 2011

Верстка: Nord Vind © 2011

Сверстано при помощи свободного программного обеспечения OpenOffice, ScribusNG, GIMP.

Авторская орфография и пунктуация сохранены

Формат: PDF

191 стр.

UBBN 160005CE0M00152-0B80C